ВОСТОК

ЖУРНАЛ

КНИГА
4

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1924

ВОСТОК

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1924 г. — ЛЕНИНГРАД



Гиз. № 5614 Тираж 2000 Ленингублит № 8955

ОТРЫВКИ ИЗ АВЕСТЫ

ИЗ ГИМНА АРДВИСУРЕ АНАХИТЕ

(Ардвисур Яшт, 30)

Всегда можно узреть ее,
Ардвисуру Анахиту [1]),
Во образе прекрасной девушки,
Сильной, хорошего роста,
Высоко подпоясанной, стройной,
Знатного рода, благородной,
Облеченной в роскошную мантию
С обильными складками, золотую.
Держит она в руках барсман [2]) должной меры,
Похваляется серьгами,
Четырехгранными золотыми.
Ожерелье носит благородная
Ардвисура Анахита
На прекрасной шее.
Стягивает она стан свой,
Чтобы груди ее были прекрасной формы,
Чтобы были привлекательны.
На голову повязала она диадему
С сотнями драгоценных камней, золотую,
Из восьми частей, в виде колесницы,
Украшенную лентами, прекрасную,
С выдающимся кольцом, хорошо сделанную.
В бобровую шубу одета
Ардвисура Анахита

[1]) Имя женского божества, покровительницы влаги и плодородия.
[2]) Пучок трав, употребляемый при жертвоприношении.

Из трехсот бобров,
Сделанную в положенное время [1]).
Меха обильно изливают на смотрящего
Блеск золота и серебра.
И вот, добрая, могучая
Ардвисура Анахита,
Такую милость прошу я от тебя,
Чтобы я, будучи любимым,
Обширные царства завоевал:
Где много варят пищи, получают большие куски,
Где фыркают кони, звенят колеса,
Где взмахивают плетью, где много жуют,
Где припрятаны ароматные яства,
В кладовых по желанию хранят
В обилии все, что надо для покойной жизни.

ИЗ ГИМНА МИТРЕ

(Михр Яшт, 9)

Митре [2]), обладающему широкими пастбищами, поклоняемся мы,
Правдивому, красноречивому,
Тысячеухому, прекрасно сотворенному,
Десятитысячеглазому, высокому,
Обладающему широкими вышками, могучему,
Не знающему сна, бодрствующему,
Добывающему войско,
Тысячесилому, владычествующему.
Он разжигает битву,
Он стоит среди битвы,
Он, стоя среди битвы,
Разбивает ряды воинов.
Бушуют все края
Вышедших на бой рядов,
Колеблется ядро
Лютого войска.
Над ними властвуя,
Несет он беду и гибель,
Напрочь сносит головы
Враждебных Митре людей.

---

[1]) Т. е. бобры убиты в такое время года, когда мех их лучше всего.

[2]) Митра—древнеарийское божество, первоначально солнечный бог, перешедший и в Иран. Он—покровитель правосудия, блюститель договоров, помощник в борьбе с иноверцами.

Летят во все стороны головы
Враждебных Митре людей.
Опустошаются мрачные логовища,
Необитаемые дома,
Где живут враги Митры,
Убивающие истинно-верующих, злые.
Взятый с пастбища бык по страшному
Пути идет, взятый грабителем
В убежищах враждебных Митре людей;
Волокут они его за своей колесницей,
Проливает он слезы,
И текут они вдоль морды его.
А стрелы их, орлиными перьями украшенные,
С хорошо сделанного лука
Тетивой пущенные,
Не попадают в цель,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает
Митра, обладающий широкими пастбищами.
Копья их, хорошо заостренные, острые,
С длинным древком,
Пущенные руками,
Не попадают в цель,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает
Митра, обладающий широкими пастбищами.
Камни их, из пращи
Рукой пущенные,
Не попадают в цель,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает
Митра, обладающий широкими пастбищами.
Ножи их,
Хорошо сделанные, вонзаемые
В головы людям,
Не попадают в цель,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает
Митра, обладающий широкими пастбищами.
Булавы их,
Хорошо пущенные, обрушивающиеся
На головы людям,
Не попадают в цель,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает

Митра, обладающий широкими пастбищами.
Митра пригоняет (врагов),
Рашну [1]) отпугивает,
Сраоша [2]) праведный со всех
Сторон сгоняет
Навстречу язатам [3]) — хранителям,
А они предают ряды гибели,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает
Митра, обладающий широкими пастбищами.
Так говорят они Митре, обладающему широкими пастбищами:
О Митра, обладающий широкими пастбищами,
Быстрых коней наших эти (враги)
От нас, о Митра, уводят!
Эти — наши сильные руки
Ножами, о Митра, лишают мощи!
Потом повергает их ниц
Митра, обладающий широкими пастбищами,
Пятьюдесятью ударами и сотней ударов,
Сотней ударов и тысячью ударов,
Тысячью ударов и десятью тысячами,
Десятью тысячами и несметным множеством,
Когда разгневанным, яростным,
Непримиримым бывает
Митра, обладающий широкими пастбищами.

ИЗ ГИМНА ВЕРТРАГНЕ

(Бехрам Яшт, 1, 3, 4, 5 и 7)

Спросил Заратуштра Ахуру Мазду [4]): «Ахура Мазда, дух святейший, творец телесных миров, праведный! Кто из небесных язатов сильнейший?» И сказал Ахура Мазда: «Вертрагна [5]), Ахурой сотворенный, о Спитамид [6]) Заратуштра!» [7])

И в третий раз предстал ему Вертрагна
В образе белого коня,

---

[1]) Имя божества справедливости, спутника Митры.

[2]) Покорность, один из спутников Митры.

[3]) Буквально: «достойный поклонения»; так называются низшие божества, к числу которых принадлежит и Митра со спутниками.

[4]) Ахура Мазда (Ормузд) — доброе начало религии Заратуштры.

[5]) Божество победы, в религии древних арийцев персонификация грозы.

[6]) Из рода Спитама.

[7]) Далее пропускаю два явления Вертрагны в образе ветра и быка.

Прекрасного, златоухого,
Золотым чепраком покрытого,
Надо лбом которого виднелась
Мощь [1]), хорошо сотворенная рослая.
И в четвертый раз предстал ему Вертрагна
В образе верблюда, ищущего самку,
Яростного, на самку бросающегося,
Сильного, ногами брыкающегося,
Косматой шерстью людей одевающего,
Который из оплодотворяющих самцов
Наибольшей силой обладает,
Наибольшей мощью.
Идет он к верблюдицам,
И та из верблюдиц больше всех влечет его,
Верблюда, полного страстью,
У которой крепкие ноги, жирный горб,
Большие глаза, умная голова,
Прекрасная, высокая, сильная.
Его дальнозоркий глаз
Далеко сверкает,
Даже и темной ночью.
Пену плюет он
Белую на голову,
На крепкие колени и ноги.
Стоит, поглядывая во все стороны,
Как мощный правитель.
И в пятый раз предстал ему Вертрагна
В прекрасном образе кабана,
Устремляющегося вперед, с острыми зубами,
Мужественного, с острыми клыками,
Сразу ударяющего кабана,
К которому нельзя подойти, когда разъярен он,
С пестрой мордой, скорого,
Ловкого, сбивающего с ног.
И в седьмой раз предстал ему Вертрагна,
В образе птицы Варган [2]),
Хватающей снизу (добычу) когтями,
Клюющей ее сверху,
Из всех птиц быстрейшей,
Проворнейшей из летающих.
Она одна среди всех живых существ
Догоняет стрелу на лету

---

[1]) Божество, персонификация силы.
[2]) Какая-то порода хищных птиц.

Даже, когда хорошо она пущена.
Вылетает она, встряхивая перья,
На первой утренней заре,
В вечерние сумерки ищет ужин,
В утренней мгле ищет завтрак,
Касается горных ущелий,
Касается пропастей,
Касается глубоких долин,
Касается вершин деревьев,
Прислушиваясь к голосам птиц.

ИЗ ГИМНА ТИШТРЬЕ

(Тиштр Яшт, 26 — 29)

И идет, о Спитамид Заратуштра,
Тиштрья [1]) блестящий, сверкающий,
На озеро Воурукаша [2])
В образе белого коня,
Прекрасного, златоухого,
С золотым чепраком.
А навстречу ему выбегает
Дев [3]) Апаоша
В образе черной лошади,
Лысой, с лысыми ушами,
Лысой, с лысой шеей,
Лысой, с лысым хвостом,
Тощей, безобразием пугающей.
Вступают они в бой,
О Спитамид Заратуштра,
Тиштрья, блестящий, сверкающий,
И дев Апаоша.
Борются они, Заратуштра,
В полуденное время.
И побеждает его,
Одолевает его
Тиштрья, блестящий, сверкающий,
Дева Апаошу.
Прочь гонит его затем
От озера Воурукаши,

[1]) Обожествленная звезда Сириус. Он податель дождя и противник засухи.
[2]) Мифическое озеро, быть может, Каспийское море.
[3]) Апаоша — демон засухи; дев — злой дух.

На расстоянии в хатру [1]) пути.
Воспевает хвалебную песнь
Тиштрья, блестящий, сверкающий:
Благо мне, Ахура Мазда,
Благо, воды и растения,
Благо, вера поклонников Мазды,
Благо, вы страны!
Каналы вод вам
Да текут без помехи
К посевам с крупным зерном,
К травам с мелкими семенами,
Ко всем телесным мирам!

ИЗ ГИМНОВ ЗАРАТУШТРЫ

(Ясна, 46)

1. В какую землю бежать, куда бежать я пойду?
Удаляют меня от воинов и жрецов [2]),
Не утешает меня община,
Не принимают приверженные друджам тиранны в стране,
Как же мне удовлетворить тебя, Мазда?
2. Знаю я то, Мазда, от чего я бессилен:
Мало у меня стад и мало людей.
Взываю к тебе, взгляни же, Ахура!
Давая поддержку, как друг дает ее другу,
Научи чрез Закон [3]) обладанию Доброй Мыслью [4]).
3. Когда же, Мазда, быки дней [5])
Придут, дабы мир добыл закон,
Когда придут мудрые помощники с могучими речами?
Кому на помощь придет Добрая Мысль?
Верю я, завершишь ты все это меня ради, Ахура!
4. Тот сторонник друджей последователям Закона мешает
Разводить быка в стране и в области,
Мешает обладающий злою славой, мерзкий делами.
Кто лишит его царства, Мазда, или жизни,
Тот, шествуя впереди, да уготовит пути доброго учения.

---

[1]) Мера длины.

[2]) Две высшие касты в древнем Иране.

[3]) Закон-Аша — персонификация незыблемого правопорядка, на котором зиждется все благое.

[4]) Один из атрибутов Ахуры Мазды, действующий самостоятельно, как божество.

[5]) Утренняя заря.

7. Кого, о Мазда, дадут мне подобному в защитники,
Когда сторонник друдже́й сберется причинить мне насилие,
Кроме Огня твоего и Мысли твоей,
Делами которых созревает царство Закона?
Такое учение «я» моему возвести!
8. Кто сбирается нанести вред дому и двору моему,
Чрез дела того да не постигнет меня напасть!
На него же да обратятся они, терзая
Его, лишая покойной жизни,
Но не лишая жизни тяжелой, злые дела его, Мазда!
9. Кто тот верный, кто первый научил нас
Считать тебя лучшим помощником,
Святым праведным судией над всеми делами?
Что Закон, что Закон возвестил тв рцу быка,
Хотят они услышать чрез Добрую Мысль твою...
10. Кто мне, муж ли, жена ли, о Мазда Ахура,
Даст то, что ты считаешь лучшим для жизни,
Тому в награду за праведность дай царство чрез Добрую Мысль.
Их я буду убеждать вам поклоняться,
С ними всеми перейду чрез мост раздела [1]).
18. Кто заодно со мной, тому и я лучшее
Из того, чем обладаю, обещаю чрез Добрую Мысль,
Но вражду тем, кто с нами сбирается враждовать,
Следуя вашей воле, о Мазда и Закон!
Это — решение разума и духа моего...
19. Кто по Закону свершит мне то,
То свершит Заратуштре, что ближе всего к моим желаниям,
Тому, заслужившему будущую жизнь, в награду
Будет пара беременных коров со всем, чего он желает.
И это ты мне сделаешь, Мазда, ты это умеешь подать лучше всех.

Перевел с языка Авесты

Е. Бертельс

Когда создались священные книги древнего Прана, получившие название «Авесты» (буквально: «текст», «основной текст» — в противоположность «зенд» — комментариям), — нам неизвестно. Эпоха их возникновения и не могла бы быть точно фиксирована, ибо складывались они веками. Целые поколения жрецов работали над ними, вплетая туда мифологические предания, космогонические мифы и эсхатологию. Несомненно, что некоторые части Авесты, как это видно из языка, создались сравнительно поздно, вероятно в III веке по Р. Х., при дворе Сасанидов. С другой стороны, некоторые части, написанные мерной речью, восходят к седой древности, к самому основателю религии Спитамиду Заратуштре.

---

[1]) Мост, по которому должны пройти души после смерти и где их делят на добрые и злые.

По преданиям зороастрийцев Авеста когда-то представляла собой огромный свод в 21 том, обнимавший 1000 глав. Она была написана золотыми чернилами на особо препарированных бычьих кожах и хранилась в Персеполе, в книгохранилище царского Кремля. Но когда «еретик и нечестивец Александр Румский (Македонский)» сжег кремль Ахеменидов, Авеста погибла. При реставрации национально-персидского правительства Ирана Сасаниды, в значительной степени обязанные своей властью влиятельному жреческому сословию, приступили к собиранию и кодификации священных текстов, и Авеста, хотя и с пробелами, была восстановлена. Мусульманское завоевание оказалось для нее еще более гибельным: национальная религия сменилась новой и, в результате, до нас дошли только обломки, всего лишь около четверти полного текста.

В теперешнем своем виде Авеста распадается на четыре отдела: 1) г а т ы или стихотворные проповеди Заратуштры, наиболее древняя, безусловно восходящая к самому основателю религии часть; 2) я ш т ы — гимны, славословия отдельным божествам, прообраз православных акафистов, — часть, особенно интересная обилием бытовых и мифологических деталей; 3) В и д е в - д а т (против девов данный закон) — церковный судебник, обрисовывающий правовую психологию древнего Ирана, и 4) я с н а — молитвословия и песнопения.

Как видно из этого перечня, дошло лишь то, что было особенно необходимо жрецам в повседневной жизни: все, связанное с литургическими обрядами и каноническим правом.

В литературном отношении Авеста представляется чрезвычайно неравноценной. Новейшие ее части совершенно лишены какого бы то ни было значения — это безграмотное нелепое повторение обрывков старых формул, уже не понимаемых и чтимых лишь как самый звук священного языка. Но древнейшие части, в особенности написанные мерной речью, зачастую отличаются весьма большой красотой, если отвлечься от столь обычных для древнего Востока нескончаемых повторений отдельных формул.

Выбирая отрывки для перевода, я старался дать только то, что могло представить широкий интерес и притом относилось к древнейшему периоду. Поэтому приведены лишь те отрывки, которые дошли до нас в своей подлинной метрической форме. Размеры оригинала я удержать не стремился, ибо это лишило бы меня возможности дать точный и передающий стилистические особенности Авесты перевод. Однако порядок строчек и расположение слов в строке соответствует тексту, поскольку это было возможно без слишком сильных отступлений от русского синтаксиса.

Е. Б.

МУРАСАКИ-СИКИБУ

ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ, БЛИСТАТЕЛЬНОМ ПРИНЦЕ

(Гэндзи-моногатари)

Начало XI столетия по Р. Х. ознаменовано величайшим событием в истории литературной Японии: в 1004 году был закончен роман, ставший потом известным под наименованием: «Гэндзи-моногатари» — «Повесть о Гэндзи».

Выдающееся положение Гэндзи-моногатари объясняется тем, что он является центральным произведением той эпохи, которая признается для японской литературы классической. Это — эпоха Хэйан, IX — XII столетия по Р. Х., ознаменованные необычайным расцветом художественного творчества. Японская поэзия знает здесь свою знаменитую Антологию «Кокинвакасю» — огромное собрание известных японских «коротких стихотворений» — Танка; японская проза — гордится целым рядом романов, из которых Исэ-моногатари и эта «повесть о Гэндзи» становятся образцами для всех последующих времен. Эта литература Хэйанской эпохи связана с теми, кто ее порождал и кто ею наслаждался. Все эти столетия Япония представляла собою картину неограниченной гегемонии аристократического сословия, монополизировавшего всю культуру, обратившего себе на служение все то богатство цивилизации, которое представлял в то время Китай. Китай — эпохи Танской империи (618 — 907), сам переживавший полосу расцвета литературы и искусства, — вместе с государственными формами, правовыми институтами и философскими максимами передал своей подражательнице и наследнице по ту сторону японского моря и все богатство своей литературной эстетики. Японцы Хэйана воспитывались на знаменитых Ли-бо, Бо-Цзюй-и и других танских поэтах, великих повсюду, где живет и известен китайский иероглиф. Воспитывались и подражали. Но подражали так, что создали свою собственную, блестящую и во многом самобытную литературу. Художественно-литературный кодекс Китая способствовал изощрению их эстетических вкусов и требований, углублял и рафинировал их, — но во всем другом он предоставлял полную свободу. И Хэйанская литература поистине может быть названа в полном смысле этого слова национальной. — Впрочем, с одной лишь оговоркой: сфера ее жизни, ее действия и влияния ограничивалась в эпоху ее появления одним лишь сословием — аристократией и все ее содержание — зеркало души этой аристократии, зеркало ее вкусов, привычек и быта.

Из этого сословия явились и сами творцы. Почти принц по своему происхождению был автор Исэ-моногатари; придворной же дамой является и та, которая создала «Повесть о Гэндзи». Зовут ее Мурасаки-сикибу.

Собственно «Мурасаки» — было ее имя, или скорей даже прозвище. «Сикибу» — всего лишь титул, звание, — указывающее на связь ее с дворцовой «табелью о рангах». Происходя из знаменитого, первенствующего среди аристократии рода Фудзивара — хоть и из боковой его ветви, — она не могла не служить во дворце. И все, что она описывает в своем романе, что она так детально, с такой тщательностью воспроизводит, — все это — быт этого дворца и тех, кто с ним тесно соприкасался.

Сам герой — «Гэндзи, Хикару-ими», — Гэндзи, блистательный принц, не только из тех же кругов, но даже больше: он сын самого властителя страны от его любимой, рано умершей наложницы. Не неся официально, по обычаю тех времен, титула принца, он тем не менее для всех оставался именно им, — и если не по званию, то по своей красоте и блистательности.

Этим предопределяется и содержание романа. Все его 54 главы, большею частью солидных размеров каждая, повествуют о странствованиях этого Гэндзи, — конечно, по тропам нежной страсти. Хэйанский уклад, весь жизненный быт его сословия был насквозь пропитан любовной игрою, и на почве этой последней плелась причудливая ткань взаимоотношений. Хэйанская эпоха — своего рода «галантный век», век «кавалера и дамы».

Приводимый ниже отрывок должен дать первое на русском языке представление о романе Мурасаки. Ниже полностью переведена целая глава романа — именно третья по счету, носящая поэтическое название «Уцусэми» — цикада. Всеми своими элементами — содержанием, формою и духом, — она может явиться представительницей всех своих подруг — остальных глав. Течет прихотливо фабула, меняются положения, но основной характер остается один и тот же.

Первые две главы романа повествуют о первом периоде жизни героя — этого блистательного Гэндзи. Родившись во дворце, будучи сыном самого императора, он хоть и остался, после ранней кончины матери, один, без заботливых ее попечений, но благодаря своему нраву и поразительной красоте — скоро приобрел всеобщую любовь. Баловень всех во дворце, любимый и императором, он быстро развился в изящного кавалера и ступил на типичный «Хэйанский» путь: путь любовных приключений. В конце второй главы Гэндзи увлекается замужнею женщиной: женою одного провинциального администратора — старика, женившегося вторым браком на очень молодой девушке. Смелыми действиями он овладевает ею, но Уцусэми — так обозначается она в третьей главе — преисполнена скорби: уступив один раз блистательному любовнику, она решительно восстает против продолжения связи с ним, у нее не обычный для Хэйанских дам характер. Гэндзи ропщет, пишет, требует, — но она ни звука в ответ. Тогда он решается на хитрость: взяв к себе на службу маленького братца Уцусэми — Когими по прозвищу, и приблизив его к себе, как поверенного, он пытается действовать через него. И вот, в конце второй главы Гэндзи остается под удобным предлогом ночевать в доме, где живет эта жестокая дама; остается с тем, чтобы ночью тайком пробраться к ней, в надежде воздействовать на нее личным присутствием. Но каково его горе, возмущение и негодование, когда Уцусэми, предвидя все это, заблаговременно перебирается спать к служанкам, в общую спальню. Гэндзи, вне себя, принужден был вернуться в отведенную ему комнату вместе со своим верным поверенным — Когими. На этом заканчивается повествование второй главы.

«ЦИКАДА»

(Уцусэми)

Лежа в постели, Гэндзи говорил Когими:

«Я не привык к тому, чтобы меня так ненавидели. Сегодня вечером впервые я понял, как горька эта жизнь. Это — такой позор, что вряд ли я перенесу его». — И отрок, лежа рядом, заливался слезами.

«Какой он милый!» — подумал Гэндзи. Дотронулся рукою: его тонкое маленькое тело казалось ему как-то похожим на сестру, — на неё, с ее недлинными волосами.

Итти, насильно вторгаться к ней, было неудобно, и Гэндзи в горестных думах провел всю эту ночь. Он не вел, как обычно, ласковых речей с Когими, — и еще стояла глубокая ночь, как он ушел из этого дома.

А отрок остался один в грустных и печальных думах.

И у той также было не по себе на сердце. Никаких вестей от Гэндзи не получалось, и она решила: «Верно он так теперь досадует на меня»...

А в мыслях мелькало:

«Как грустно, если все так и закончится!—Не то это... Но с другой стороны, если он не оставит таких, несущих одни неприятности, действий—создастся совершенно безвыходное положение. Нет! Уж лучше во время порвать это все»—так размышляла она, а взор у самой так задумчиво-рассеянно уходил куда-то вдаль.

А Гэндзи,—зная хорошо, что не пристала ему эта любовь, все ж не мог расстаться с нею: все время на сердце у него была она, и томясь так, что даже было неловко перед другими, он не раз говорил Когими:

«Мне так горько, так грустно! Стараюсь насильно отвратить от неё свои мысли, но сердце не слушается и мучается, страждет оно. Найди удобный случай! Постарайся хоть обманным образом устроить так, чтоб я мог встретиться с нею!»

И отроку так радостна была эта ласковая просьба Гэндзи!—хоть и знал он, как это трудно,—хоть и касалось это все такого дела.

Своим детским сердцем следил он все время, не настанет ли как-нибудь этот удобный момент, и случилось, что муж этой женщины уехал в свою провинцию. В доме на свободе расположились одни только женщины.

«В сумраке вечернем—скрыт, утаен путь»...—говорится в стихотворении, и под покровом темноты Когими повез Гэндзи в своем собственном экипаже в дом сестры. «Ребенок он еще,—как бы не вышло чего-нибудь!»—размышлял Гэндзи, но не будучи в силах совладать со своими думами о ней, торопил отрока, чтобы поспеть к дому до закрытия ворот, и старался только, чтобы его не заметили.

Когими поставил экипаж в незаметном месте и помог Гэндзи сойти. Ввиду того, что он еще был ребенок, привратник не обратил на него особого внимания и не вышел к нему. Все обошлось благополучно. Поставив Гэндзи у входа на галлерею с восточной стороны, отрок стал громко звать и стучать в спущенные жалюзи с южной стороны и вошел внутрь дома.

«Почему это у вас спущены жалюзи, когда так жарко?»—спросил он и служанка ему возразила:

«Ведь отсюда ж все видно внутри»...—и прибавила:

«У нас сегодня гостья—госпожа из западного флигеля. Они сейчас играют в шашки».

Гэндзи очень захотелось посмотреть на этих двух женщин друг возле друга и, потихоньку пройдя в дом, он скрылся промеж спущенных занавесей.

Жалюзи, через которые прошел Когими, еще не были спущены, и сквозь открывшееся пространство он бросил взгляд в западную часть помещения.

Ширмы, стоявшие на том конце, также были с краю свернуты; занавески, могущие мешать взору, были подняты по случаю жаркой погоды,—и все было совершенно явственно видно.

Рядом с обеими женщинами горел светильник.

Та, что прислонилась к средней колонне этого центрального покоя в доме, — была она, — что лежала на сердце у Гэндзи. Он прежде всего обратил свой взор на неё: — на ней было надето легкое платье из лиловой кисейной материи, поверх которой было что-то накинуто; со своей изящной головкой и маленьким телом она не бросалась в глаза своим видом; и лицом своим, — при обращении к другим, она старалась держать себя так, чтобы не привлекать на себя внимание; руки ее были тонкие и худые, — и она всячески старалась их прятать.

Вторая женщина сидела, обратившись к востоку, и была вся отчетливо видна.

На ней было прозрачное платье, с кое-как наброшенной поверх виноградного цвета накидкой; весь облик её, с грудью, открытой до самого низу, где завязываются уж шнур и юбок, был исполнен непринужденности и небрежности; с красивой белой кожей, с округлым полным телом, довольно высокая ростом, со свежими очертаниями лица и овала щек, с миловидными глазами и устами, она представляла собою цветущую фигуру; густые пышные волоса были недлинны, но красиво ниспадали на плечи; она казалась прелестной во всем, без изъянов в чем бы то ни было.

Гэндзи с любопытством разглядывал её. «Родитель прав, что считает её единственной на свете!» — подумал он. Хотелось бы немножко спокойствия, мягкости, — но это вовсе не значило, что она была и так плоха. —

Игра шла к концу, и когда она быстрым жестом бралась за шашки, ее движеня были, казалось, немного резки и порывисты. Та же, другая спокойно и мягко проговорила: «Постой! Это же не та фигура»...

«На этот раз я проиграла! Начнем считать!»... — и гостья стала считать, сгибая пальцы:

«Десять! Двадцать! Тридцать! Сорок!»... — положительно, это было немножко не хорошо в ней.

Глаза у старшей как будто немного припухли, формы носа не были правильно очерчены, ничего выдающегося в ней не было; если бы разбирать все в подробности, она оказалась бы скорее даже просто некрасивой, но у нее были выдержка и манеры, — и облик ее, как проникнутый подлинным вкусом, останавливал на себе внимание даже более, чем той, которая превосходила ее красотою.

Впрочем, и у той — оживленной, очаровательной, красивой — свободно себя держащей, смеющейся — было много прелести; в своем роде и та была прекрасна.

«Что за взбалмошная особа!» — подумал Гэндзи и его легкомысленное сердце, казалось, не хотело уже упустить из вида и ее...

Все те женщины, которых встречал до сих пор Гэндзи, церемонно держались, были чинно разряжены, отворачивали скромно при разговоре свое лицо.

Он видел лишь одну внешнюю показную сторону их. Ему не приходилось наблюдать их вот так, украдкою, когда они чувствовали себя совершенно свободно.

«Бедняжки!» — подумал он: «ничего не подозревают и дают так себя разглядывать».

И хотелось ему долго-долго стоять так и смотреть.

Но послышались шаги Когими, и Гэндзи тихонько выскользнул оттуда и стал на свое прежнее место у галлереи.

«Это ужасно! Держать так господина...» — беспокоился отрок и, обратившись к Гэндзи, сказал:

«Сегодня против обыкновения у нас гостья. Мне не удалось и подойти близко к сестре!»

«Что же? Значит и сегодня вечером ты хочешь, чтоб я так и ушел обратно? Разве это не жестоко?»

«Нет, нет! Что вы... уйдет к себе гостья, а я уж как нибудь обойду сестру», — возразил тот.

«Однако, вид у него таков, что, пожалуй, он как нибудь сломит ее сопротивление. Ребенок еще, а есть уже уменье проникать в суть вещей и понимать человеческое сердце» — подумал Гэндзи.

В этот момент внутри, как-будто, закончилась игра в шашки. Послышалось движение, и, как-будто, стали расходиться.

Одна из служанок крикнула: «Молодой господин! Где вы там? Я сейчас буду закрывать эти жалюзи». — и Гэндзи обратившись к отроку, молвил:

«Все улеглись. Иди и постарайся сестру обойти!»

Когими знал, что сердце сестры непреклонно и твердо, и не зная, что ей и сказать, решил про себя просто ввести прямо к ней Гэндзи, улучив момент, когда вокруг никого не будет.

«Ведь здесь сестра Кинно-ками? Дай мне немножко взглянуть на нее!..» — обратился к отроку Гэндзи.

«Как же это сделать? Ведь там за жалюзи еще спущены и занавески...» — возразил тот.

«Так-то оно так, — и все ж я только что...» — засмеялся мысленно Гэндзи, но не сказал ему, что он все уже видел.

«Жалко бедняжку!» — подумал он.

«Неприятно только стоять и ждать так до ночи», — только заметил он вслух. — Постучав вновь, отрок вошел во внутренние помещения. Кругом было уже тихо, все улеглись.

«Я лягу здесь у входа. Ветерок! ты обвевай меня!» — проговорил он и, постелив себе постель, лег. Вся женская прислуга расположилась на ночь в восточных покоях дома; туда же ушла спать и девочка, открывавшая Когими дверь.

Некоторое время отрок притворялся спящим; потом встал, расставил у светильника ширму и в темноте потихоньку ввел Гэндзи.

«Как бы не вышло чего-нибудь!» — подумал Гэндзи и совесть его немножко колола.

Однако он последовал за Когими и, приподняв опущенные занавески, был готов проскользнуть уже в комнату женщины. Вокруг все мирно покоилось, и среди ночной тишины слышался только мягкий шелест одежд Гэндзи.

Женщина была даже рада тому, что Гэндзи, казалось уже забыл про нее. Однако, это дивное свидание, мелькнувшее как сон, не могло отойти от ее сердца.

Она не в силах была забыться «в спокойном, безоблачном сне»; «день весь в мечтаньях, а ночью лежу вся в думах одних»; «не весна ведь, а не знаю ни минуты я забвенья...» [1] — так вздыхала она.

Девушка, игравшая с ней в шашки, заявила: «Я здесь тоже с тобою!» — и бесцеремонно улеглась вместе с нею. Служанки спали крепко, ничем не волнуемые.

Аромат от надушенных одежд Гэндзи разнесся повсюду, и женщина приподняла от изголовья свою голову. Несмотря на окружающий мрак, сквозь отверстие занавесей частично приподнятых из-за жары, была явственно видна приближающаяся фигура. «Какой ужас!» — подумала она, и, не успев даже размыслить хорошенько, тихонько поднялась и в одной легкой ночной одежде выскользнула из постели и убежала из комнаты.

Гэндзи вошел и видя, что на постели лежит только одна женщина, успокоился.

Невдалеке, внизу, спали две прислужницы. Сдвинув покров он лег с нею рядом.

Ему сразу же бросилось в глаза, что она как будто бы несколько иная, чем при первом свидании, но он ничего еще не заметил.

Однако, ему показалось странным то, что она так крепко и безмятежно спит, — и, в конце концов, он открыл, что это не та.

Гэндзи почувствовал замешательство:

«Она сразу поймет, что я пришел не к ней и выйдет ужасно! А та!.. убежать так, когда я пришел только к ней, — это значит, что она лишена всякого чувства, считает меня за глупца!» — размышлял он.

«Это ведь та, что казалась такой красивой там при огне светильника. Как быть с нею?» — подумал он вновь, и в этом сказалась испорченность его сердца.

Наконец, открыла глаза и девушка, но от полной неожиданности совершенно оцепенела, и — не будучи в состоянии ничего сообразить, — не прибегла ни к чему...

Для женщины, еще не знавшей света, она оказалась довольно искусной, — не робела и не смущалась.

«Сейчас она ничего не скажет про меня», — подумал Гэндзи: «но потом, когда станет соображать, как это все могло произойти, несомненно догадается, в чем дело. Для меня это ничего не значит, но для той — жестокой, так заботливо старавшейся скрыть все от света, это будет очень

[1] Фразы из известных стихотворений того времени.

неприятно». — И Гэндзи повел искусную речь о том, что он уже несколько раз приходил сюда под предлогом временного приюта на ночь.

Опытный человек понял бы все сразу, но — она была очень еще молода, и как ни была сообразительна, все же уразуметь истину не могла.

Она не была неприятной Гэндзи, но все же у него было такое чувство, что в ней нет ничего, что могло бы привлечь его сердце. И даже в это мгновенье он с досадой и горечью помышлял о сердце той — жестокой:

«Ведь где-нибудь прячется тут и смеется: Вот, мол, глупое-то положение... Редко, где сыщется другая такая упрямица» — так размышлял Гэндзи, и образ той неотступно стоял перед ним.

Но все же и эта, с ее молодостью и доверчивостью, была мила ему, и он любовно повел с нею речь о дальнейших свиданиях:

«Не нужно, чтобы знали другие. Так лучше втайне... «Прелести больше» — как говорили в старину. И ты полюби меня. Мне же приходится считаться со светом и я не могу следовать одному лишь своему сердцу. Кроме того, если все разгласится, начнем волноваться, как бы тебе не запретили те, кто вправе, эти свиданья. Не забывай и поджидай меня вновь!» — говорил он обычные речи.

«Мне стыдно, что обо мне станут думать.. Поэтому я вам писать не буду», — могла сказать девушка все, что у нее было в мыслях.

«Если все об этом будут знать, — правда, нехорошо. Но мы можем пересылать друг другу через Когими. Ты же смотри, не подавай и вида ни в чем!» — закончил Гэндзи и захватив, с собою легкую одежду, сброшенную той, вышел из комнаты и стал будить отрока, здесь же поблизости лежавшего. Тот спал беспокойно и поэтому сейчас же испуганно открыл глаза.

Когда он стал осторожно открывать наружную дверь, вдруг послышался голос старой служанки, громко спросившей:

«Кто это там?»

«Это я!» — в досаде ответил отрок.

«Что это ты там ходишь по ночам?» — воскликнула та и, собираясь как бы проверить, вышла из комнаты.

«Ничего особенного! Вышел немножко сюда, — вот и все!» — и с этими словами Когими вытолкнул Гэндзи на галлерею.

Было уже близко к рассвету и на небе выступила яркая луна. При ее свете фигура Гэндзи сразу же стала заметной.

«Там еще кто-то... Кто это?» — спросила старушка: «А... это как будто ты — Минбу [1]). Ну и рост же у тебя, право!» — добавила она.

Над этой Минбу всегда потешались за ее высокий рост.

Думая, что отрок вышел вместе с этой Минбу, старушка заметила:

«Скоро, скоро и ты сравняешься с нею», — и с этими словами вышла наружу.

Гэндзи был в замешательстве: ведь нельзя же было втолкнуть ее обратно, — и стоял прижавшись к галлерее, стараясь быть как можно более незаметным.

---

[1]) Имя одной из служанок.

Старушка подошла к нему:

«Ты сегодня здесь на верху, с господами? А я с третьего дня не знаю, куда деваться от болей в животе, — вот и сидела там, на кухне. Вчера перебралась сюда наверх: сама госпожа позвала, — и народу здесь мало! — говорит... Но все еще болит прямо нестерпимо! — горевала и жаловалась она и, не дождавшись даже ответа Гэндзи, успев бросить ему только: Ой, ой! опять боли... Прости, пожалуйста!» — поспешно удалилась.

«Да, такие путешествия опасны!» — подумал Гэндзи.

С него было довольно. В сопровождении Когими он отправился к себе домой.

Рассказывая отроку обо всем случившемся, он выразил ему свое недовольство:

«Это ты — так по-детски не доглядел». Ломая пальцы свои, слал сердцу той укоры и упреки, и полный сочувствия к нему отрок не мог произнести ни слова.

«Она так ненавидит меня, что я сам себе стал противен! Но почему же она — пусть сторонится встречи со мной! — не пришлет мне хоть приветливый ответ? Значит я хуже даже этого Ие-но-сукэ?» [1] — говорил он вне себя, и, положив себе под одежду платье той жестокой, захваченное с собою, улегся на постель. Уложив рядом с собою Когими, он то упрекал его, то снова говорил ему ласковые слова.

«Ты — милый мальчик, но выходит так, что я не смогу тебя долго любить», — говорил убежденно Гэндзи, и отрок не знал, куда деваться от горя.

Гэндзи полежал некоторое время, но уснуть был не в силах. Придвинув к себе тушечницу, он на листке бумаги — не то, чтоб письмо, но так просто, как будто бы упражняясь — написал:

Одежду сменила
Цикада свою...
Под деревьями здесь —
«Эта скорлупка пустая
Так дорога мне!» [2]

Так написал он, и отрок спрятал эти стихи себе за пазуху.

«Что-то делает теперь та, эта девушка...» — побеспокоился Гэндзи, но, хорошенько поразмыслив, не велел ничего ей передавать.

Легкое платье было все пропитано благоуханием дорогой женщины и Гэндзи неустанно прижимал его к себе. —

Когда Когими явился домой, сестра его поджидала и стала ему выговаривать:

---

[1] Имя мужа Уцусэми.

[2] Японская цикада в определенный момент лета сменяет свою верхнюю кожицу на новую. Старая сохраняет вполне форму цикады, и такие пустые скорлупки можно во множестве находить под деревьями. Гэндзи здесь, говоря о скорлупке, имеет ввиду одежду, сброшенную Уцусэми и захваченную им к себе домой.

«Это ужасно, что произошло! Я его кое-как обманула, но толков нам не избежать. Положение безысходное. И о тебе самом-то, — что подумает Гэндзи?» стыдила его сестра.

Когими страдал и от одной стороны, и от другой, но все же вытащил записку, набросанную Гэндзи, и та всетаки взяла и прочла.

«Что он подумает теперь об этой пустой скорлупке — о моем платье? Верно скажет, что оно так же загрязнено, как одежда ребенка с побережья Исэ» — и ужасно сердилась.

Та, младшая, также все время чувствовала себя в смущении. Никто ничего не знал, и она тайком от всех погружена была в рассеянную задумчивость.

При виде проходившего Когими, у нее захватило в груди, — но вести от Гэндзи — не было.

«Значит, не любит!» — должна была бы подумать она, но по своей доверчивости только печалилась этому.

Та же — жестокая, хоть и успокоилась уже, все же — видя такую глубокую любовь Гэндзи, не могла вполне совладать с собою, хоть и не была она той, о которой поется:

«Если б той я была, что раньше...» «Если б смогла переменить себя самое я!»

На том же листке бумаги она написала:

«Та роса, что лежит
У цикады на крыльях,
Таится в ветвях...
И таятся те слезы,
Что увлажняют рукав».

Перевел с японского

Н. Конрад

ИЗ КНИГИ EDINNA USAGGA

Двумя переведенными отрывками начинаются первая и четвертая таблицы сборника обрядовых песен, озаглавленного Edinna usagga «Вышла она на простор», Сборник содержал, в аккадском переводе и шумерийском подлиннике, выборки из плача по Таммузе, исполнявшегося в последние дни второго Адара [2], накануне воскресения бога; кажется, он заключал и песни, учрежденные для праздников, справлявшихся в другое время года [3].

В этих песнях композиционно связаны два элемента: цикл «зеленых жалоб» и трагическое «козлопение», плач по козленке, — связь, в избытке засвидетельствованная глиптикой. На печатях особенно любили представлять минуту торжества весеннего солнца, изображая или бога, побеждающего зимних супостатов, или козленка, иногда ягненка и оленя, наслаждающегося достигшей полной мощи листвой и зреющими плодами. Я надеюсь вернуться к обоснованию типологического генезиса этих композиций, к их распространению в не-вавилонском мире и к некоторым вытекающим отсюда следствиям. Пока замечу, что, как позволяет заключить стих II, 7, эти заплачки пелись двумя солистами, поддержанными хором.

I

Вышла она на простор, припала к супругу:
вышла Иштар на простор, припала к супругу;

Горе, витязь Владычицы чар,
горе, жених мой, супруг мой,
горе, дитя Нингишзиды!

Горе, строитель сетей,
горе, жалостный дружка невестин,
горе, праведник, лик опустивший!

---

[1]) K. 4950 (= IV R 27 n °1), K. 4903 + Sm. 2148 (= IV R 30 n °2) и VAT 402 = Reisner Hymnen n° 37) ср. H. Zimmern, Berichte etc. der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Phil. - hist. Klasse, 1. IX SS. 204 — 221; M. Witzel, Nene Übersetzungsversuche sumerisch-babylonischee Tamuzlieder, Révue d'Assyriliogie, X, №3, pp. 173 — 176; работа Ленгдона об этом сборнике мне недоступна.

[2]) См. II, 19—20: «месяц сверх счета в году» и прозрачная игра слов idirtun-Adaru.

[3]) Отрывок II, 29 — 42 принадлежит, мне кажется, июньским проводам Таммуза.

Горе, оплаканный мой,
горе, чадо Небесного Змея,
горе, брат Гештинанны родимый!

Пастырь, царевич Таммуз, жених Иштар,
государь Преисподней, владыка могилы!

* * *

Не испил тамариск в вертограде воды,
Не дала его купа на воле цвета;
у пруда не наплакалась ива,
с корнем вырвана ива!
Не испил цветок в вертограде воды,
. . . . . .

(Остальное разбито).

II

Схвачены там овца и ягненок,
скручены там коза и козленок;
и овца и ягненок осилены,
и коза и козленок осилены;
и овца и ягненок заколоты,
и коза и козленок заколоты.
«Ухожу я, жених, безвозвратным путем»...

Горе, витязь Владычицы чар,
горе, жених мой, супруг мой,
горе, дитя Нингишзиды!

Горе, строитель сетей,
горе, жалостный дружка невестин,
горе, праведник, лик опустивший!

Горе, оплаканный мой,
горе, чадо Небесного Змея,
горе, брат Гештинанны родимый!

Он идет, он уходит в земную грудь,
наклоняется он к земле мертвецов,
полный жалобы, в скорбь повергнутый,

в среди года нечислимом месяце,
путем, человеков смиряющим,
ради плача по господу,
в землю дальнюю, князь, в несусветную.

Доколе, доколе задержан плод,
доколе, доколе связана зелень?

Доколе закон запрещен,
доколе в погибели пастырь,
заповедана доля земная?

* * *

Он покинул зеленую кущу,
он покинул, жених, зеленую кущу.

Горе, витязь Владычицы чар,
горе, жених мой, супруг мой,
горе, дитя Нингишзиды!

Горе, строитель сетей,
горе, жалостный дружка невестин,
горе, праведник, лик опустивший!

Горе, оплаканный мой,
горе, чадо Небесного Змея,
горе, брат Гештинанны родимый!

Малый, в тонущем челне лежит он,
зрелый, в колосе никнет, лежит он,
в непогоде, в буре лежит он.

(Остатки нескольких строк).

Перевел с вавилонского
В. Шилейко

1 июля 1923 г.

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

(Из поэмы об Этане)

Поэма об Этане, сохранившаяся ассирийская редакция которой записана «по Авель-Наннару», как значится в кусочке каталога библиотеки Ашурбанипала [1], состоит из четырех отдельных эпизодов: сошествия с небес единоличной власти, дружбы и вражды змеи с орлом, полета Этаны на орле «за травой рождения» и страшного падения Этаны. В цитированном каталоге эта поэма значится вслед за поэмой о Гильгамеше, записанной «со слов Син-лики-унинни»; список царей, правивших после потопа [2], предпосылает 635-летнее правление Этаны в Кише 126 урукским царским годам Гильгамеша.

В легендах, окруживших имена обоих героев, общим является мотив полета на орле.

«История животных» Элиана [3] рассказывает о полете Гильгамеша так. Вавилонскому царю Соккару маги предсказали, что у его дочери родится сын, который свергнет деда с престола. Испуганный словами магов, Соккар заключил дочь в башню. Дитя однако родилось, и царь распорядился сбросить внука с башни. Ребенка подхватил на крылья орел и снес его в далекий сад. Садовник усыновил и воспитал дитя, которое он назвал Гильгамос.

Впоследствии, как предсказали маги, Гильгамос лишил Соккара власти и правил вавилонянами сам.

Этана совершает свой полет, чтобы добыть «траву рождения», без которой ничто в его царстве не может появиться на свет. Я думаю, что оба варианта выросли на почве мифа о царе-орле, о власти Солнца, слетевшей с неба в орлином образе для воплощения в царе.

Орлы трех исчезнувших на наших глазах империй восходят к одному источнику с орлом богов и государей Шумера, и в шумерийской глиптике еще прозрачен солнечный характер этого орла.

Легенда Гильгамеша начинается полетом на орле. В легенде Этаны этому полету предпосылается, в порядке цепи причинностей, повествование о дружбе змеи с орлом (I, 4), о данных ими перед Шамашем взаимных клятвах в верности (I, 12—15), о вероломстве орла и мстительной змеиной хитрости. Как это заключенное в себе

---

[1]) P. Haupt, Das babylonische Nimrodepos S. 90 f., Sm. 669—K. 9717.

[2]) B. Meissner, Babylonien und Assyrien I S. 23.

[3]) XII, 21.

повествование соединялось с судьбой Этаны, явствует из маленького древне-вавилонского фрагмента, изданного Шейлем [1]): по велению Шамаша, Этана выкормил и вылечил заброшенного в яму, искусанного и голодного орла. Трагический полет был совершен героем по совету благодарной птицы.

I

(Орел говорит):

«Хочу я дружбу [вести с тобою]».
[Змея] раскрыла уста [обратилась к орлу] [2]):
«Свиреп ты в злобе [. . . . .],
«демонов сильных и бесов [ешь ты].
«Давай, взберемся [с тобою на гору],
«клянемся оба [оставить] долы!»
И пред сильным Шамашем изрекли они клятву;
а того, кто [приступит] стезю Шамаша,
Шамаш карает жестокой дланью.
[Тот, кто приступит] стезю Шамаша,
да будет вырван [. . . . .]
пусть губительный меч на него [обратится],
сеть Шамашевой клятвы упадет и [покроет].
Так клялись они клятвой — и [оставили] долы,
поднялись на гору, взошли [к вершине].
День за днем, повседневно блюдут они клятву:
онагра-ль, тура орел изловит —
ест змея до отвала, и едят [ее] дети;
газель, оленя змея изловит —
ест орел до отвала, и едят [его] дети;
козла-ли, серну орел изловит —
ест змея до отвала, и едят [ея] дети;
[. . . . .] змея изловит —
ест орел до отвала, и едят [его] дети [3]),
и орлиные дети подросли и окрепли.

А затем, как орлята подросли и окрепли [. . . . .],
орлиное сердце задумало злое,
его сердце задумало злое,
детей у друга пожрать р[ешил он].
И открыл он уста, говорит [своим детям]:
«Детей змеиных пожрать хочу я,

---

[1]) Recueil de Travaux XXIII p. 5 f., ср. Journal of the American Oriental Society XXX pp. 101 — 131.

[2]) Следующий стих не сохранился.

[3]) Следующий стих не сохранился.

«змеиное сердце [. . . . .].
«Полечу я на небо, [взгляну оттуда],
«опущусь я на дерево, с'ем мал[юток]!»
Маленький птенчик, весьма разумный,
к отцу-орлу обращает слово:
«Не ешь, отец мой! Сети Шамаша тебя покроют,
«сеть Шамашевой клятвы на тебя упадет, тебя покроет!
«Переступивших стези Шамаша
«Шамаш [карает] жестокой дланью!»
«Не слыхал он, не выслушал [слов малютки],
пожрал, спустившись, детей [змеиных].

II

И змея, по[дошедши, обратилась к Шамашу]:
«Я несу тебе весть [об орлином злодействе],
«на орла [с челобитной к тебе пришла я].
«Вот, гнездо мое [было . . . . .],
«он гнездо мое высмотрел, [. . . . .];
«расползлись мои детки, [меня] не [было с ними],
«он низринулся долу, пожрал [моих деток];
«о Шамаш, [возмести ему] злое дело!
«Твои сети, Шамаш, [. . . . .] землю,
«небеса твоя сеть . . . . .].
«Избежал ли когда нибудь кто твоей сети?
«Злоумышленный Зу, [. . . . .]!»
И, к змеиной мольбе [преклонивши слух свой],
Шамаш уста растворил, к [змее обратился]:
«Ступай в дорогу, взой[ди на гору],
«я тебе приготовил биз[онью тушу],
«ты раскрой ее брюхо, [проникни в утробу],
«устрой жилище [себе в утробе].
«Всякие птицы небес [слетятся],
«[чтобы отведать бизоньего мяса];
«[и опустится] с ними орел,
«не угадает [он твоих козней],
«будет искать он входа в тушу,
«пробиваться к брюху, глядеть в утробу.
«А как войдет он в утробу —
«ты тогда ухвати его за крылья,
«ощипи ему крылья и перья и пух,
«истерзай ты его и брось его в яму,
«чтобы умер он жадной и голодною смертью».

По слову Шамаша-героя
змея пошла, взобралась на гору;
и достигла змея бизоньего [трупа],
ему брюхо раскрыла, проникла в утробу,
основала жилище [себе в утробе].
Всякие птицы небес слетелись отведать мяса;
а орел угадает ли козни,
вместе с племенем птичьим мясо будет ли есть он?
Орел уста растворил, обращается к детям:
«Слетим, давайте, пойдем отведать бизоньей туши!»
Маленький птенчик, весьма разумный,
к [орлу-отцу] обращает слово:
«Не спускайся отец! Может, в туше бизоньей змея укрылась!»
Но орел обращает слова в своем сердце,
говорит в своем [сердце]: «как бы [. . . . .]!»
Он не слышал, не выслушал слов малютки,
он спустился, уселся на туше бизоньей.
Клюнет мясо орел, кругом оглядится,
снова клюнет он мясо, кругом оглядится,
пробирается к брюху, глядит в утробу.
А как вошел он в утробу —
ухватила змея его за крылья [1])
Орел уста растворил, к змее обратился:
«Сжалься! Все, что захочешь, дам тебе я в подарок!»
Змея уста растворила, к орлу обратилась:
«Если дам тебе волю — как тогда я отвечу перед вышним Шамашем?
«На меня обратится тогда твоя кара,
«кара, которой я тебя подвергаю».
И она ему крылья, перья, пух общипала,
истерзала его и бросила в яму,
чтобы умер он жадной и голодною смертью.

Перевел с вавилонского

Вл. Шилейко

[1]) Выпущен непонятный стих.

О ТОМ КАК ЮЙ БО-Я, ЛЮТНЮ РАЗБИВ, ПРОСТИЛСЯ С «ПОНЯВШИМ ЗВУК».

(Новелла из сборника «Цзинь-Гу Ци-Гуань)

Новеллы из сборника Цзинь-гу ци-гуань — «Удивительные картины людей в древности и теперь», в количестве 40 рассказов, насчитывают более 600 страниц убористого китайского шрифта; время написания и первые издания их относятся к концу XV века. Автор этого популярного произведения неизвестен.

Сборник рисует нам быт Китая в разные эпохи его исторической жизни. Он написан особым компромиссом литературного языка с разговорным. Язык этот с полной свободой, как в сторону классических намеков и цитат, так и в сторону простых разговорных форм, придает рассказам особенный, живой колорит.

Переводов на европейские языки из данного сборника делалось немало, и такие знатоки, как Abel Rémusat, St. Julien, Hervey de Saint-Denys, W. Grube, и др. ставили под ними свои фамилии. На русском языке существует, кажется, только три перевода, данный же рассказ не появлялся в переводе вовсе.

Автор его позволяет себе как ряд анахронизмов, вроде «чая», который не был известен в эпоху рассказа, так и употребление особых форм вежливой речи, которые при своей поздне-конфуцианской форме не могли еще существовать в то время.

Эта вежливая речь, характерная для традиционной конфуцианской культуры Китая, изобилует такой массой оттенков, которую невозможно пересаживать буквально на русскую почву без ущерба для литературности перевода.

Что же касается стихов, вкрапленных в текст, то они отличаются безыскусственностью, иной раз сохраняя фактически форму классических стихов, завещанных великой эпохой Тан, но по внутреннему духу и выбору слов опять таки представляют нечто живое, порой сбиваясь даже и в размере до «разговорных» стихов, особенно ярко выраженных в Китае ныне.

Принцип перевода — возможная дословность в прозаических частях и передача китайских размеров в стихах путем русского размера равностопного китайскому.

* * *

Как деньги Бао-шу делил, расскажу вам я...
Напев и лютню Юй Бо-Я кто сумел понять?
Теперь в общении людей — лукавство духов злых?
и безответно средь морей сердце Юй Бо-Я.

Из древних рассказов о крепкой дружбе нет лучше рассказа о Гуане и Бао. Гуань — это Гуань И-у, а Бао — это Бао-шу-Я [1]). Оба они занимались торговлей, а полученную прибыль делили между собой. Но в то время, как Гуань И-у брал себе много, Бао-шу-Я не считал это за жадность, зная, что тот беден.

Затем случилось, что Гуань И-у попал в тюрьму. Тогда Шу-я освободил его и по своей протекции сделал министром в царстве Ци.

Такого рода друг и есть настоящий друг, тот, который тебя понимает.

Есть несколько родов такого понимания:
когда людей соединит благородство, назовем это так: «тебя оценили»,
когда сердца озарят друг друга, назовем это: «понимать сердце»,
а когда соединят людей звуки, это назовем: «понимать звуки».

В наши дни все это вообще называется «понять друг друга».

Итак, слушая старую историю Юй Бо-я, те из вас, уважаемые мои читатели, которые желают слушать, приблизьте уши и внимайте, а кто не желает, может поступать, как ему будет угодно, ибо ведь:

Говорит «понимающий звук» и ему «понимающий звуки» внимает,
но не стоит совсем говорить тому, кто звуков не понимает.

Приступим к рассказу.

Во времена «Борьбы царств» [2]) был один знаменитый человек, по фамилии Юй, по имени Дуань, по прозванию Бо-я, родом из Ин, столицы царства Чу, что в нынешнем округе Цзин-чжоу, в Ху-гуан'е [3]). Но, хотя этот Юй Бо-я и был из Чу, служебная звезда его пала на царство Цзинь [4]), где он и служил, достигнув должности советника. Поэтому он удостоился повеления цзиньского властителя отправиться в царство Чу, с поручением к Чу'сскому царю. Бо-я добивался этого назначения во-первых потому, что при своих больших талантах он мог не уронить достоинства своего государя в этом деле, а во-вторых потому, что он хотел кстати взглянуть на свои родные места, и, таким образом, как говорится, «за-раз достичь того и другого».

И вот, отправившись сухим путем, он прибыл в столицу Ин, представился Чу'сскому царю и доложил ему о деле своего государя. Чу'сский царь устроил в честь его пир и щедро наградил. Так как город Ин был

его родиной, «землей тутовых деревьев», как говорят, то он не мог не взглянуть на могилы родных своих, не навестить и друзей.

Однако, каждый служит своему господину и потом, ведь, на него возложено было дело государя; не смел он медлить и оставаться. И вот, покончив со своими делами, он откланялся Чу'сскому царю. Тот одарил его золотом, парчей и высокой колесницей с четверкой лошадей. Бо-я, который 10—20 лет не видел царства Чу, помнил реки и горы своей родной страны и ему захотелось вволю налюбоваться ими, без стеснения сделав крюк. Поэтому он позволил себе обратиться к Чу'сскому царю с такими словами:

— Ваш слуга к несчастью нездоров и не вынесет быстрого бега коней в повозке. Прошу одолжить вашему слуге лодку и весла; это будет лучшим для него лекарством!..

Чу'сский царь позволил и велел начальнику речных путей отпустить два больших судна; одно главное, другое вспомогательное. В главном судне должен был помещаться посол Цзинь'ского государства, во втором же должны были разместиться слуги с багажом. На обеих этих лодках были орхидейные расписные весла, парчевые палатки и высокие паруса; все в полной исправности.

Затем придворные толпой проводили его до реки и здесь простились.

Любуясь на природу, в поисках красот,
не думаешь о горной дали, шири вод!..

Бо-я был высоко-одаренным человеком, и красота тех гор и рек захватила его чувства. Распустив парус, уносясь по тысячам скатов лазурных волн, он смотрел без конца на сгущенную бирюзу далеких гор, на сверканье и блеск широких вод, и через несколько дней достиг устьев реки при слиянии ее с Ян-цзы около Хань-яна [5]).

В это время была ночь восьмого месяца, пятнадцатого числа «Средней Осени» [6]). Внезапно подул ветер, поднялись валы и полил дождь, так что лодки не могли двигаться вперед и пристали к берегу возле утеса. Немного времени спустя ветер утих, волны улеглись, дождь перестал, тучи разорвались и выплыла полная светлая луна. Блеск ее после дождя был сильнее обыкновенного.

Бо-я, одиноко грустя, сидел в каюте лодки. Он приказал мальчику-слуге возжечь благовония в курильнице и подать лютню, чтобы развеять печальные думы. Мальчик возжег куренья и, принеся лютню в футляре, положил ее на столик. Бо-я, открыв футляр, вынул лютню, настроил струны, подвернул колки и заиграл. Не успел он кончить, как под пальцами с резким звуком оборвалась струна. Бо-я, очень испуганный, приказал мальчику пойти и спросить капитана: «в каком месте находится наше судно?»

— Из-за внезапной непогоды, — ответил лодочник, — пристали мы к подножию утеса! Хоть здесь и есть немного трав, деревьев, но нет жилья людского!

«Ведь это пустынные горы», — подумал в страхе Бо-я, — «Если бы был здесь город иль поселок, то, конечно, нашелся бы умный, ученый

человек, тайком слушавший мою лютню, и тогда бы, конечно, звук ее мог вдруг измениться и струна так странно порваться. Но кто может у пустынного утеса слушать мою лютню?.. Ага! Знаю!.. Вероятно, это наемный убийца, подосланный врагами, иль, может быть, разбойник, ожидающий более позднего часа, чтобы проникнуть на судно и похитить мои богатства. Сейчас же позову моих слуг, чтоб вместе выйти на берег и обыскать. Он, если не в глухом месте, в ивах, то, наверно, в чаще камышей».

И вот, по его приказу созвали слуг и уже приготовились выскочить на берег, как вдруг Бо-я услыхал, что кто-то с берега сказал:

— Вам, сударь в лодке, не следовало бы проявлять подозрений. Ваш ничтожный слуга вовсе не из числа воров, а просто-на-просто дровосек. Уйдя за хворостом, возвращался я вечером, как вдруг меня захватил внезапный ливень и бешенный вихрь. А так как дождевое платье не могло защитить меня от непогоды, я спрятался под утесом, и тут, услыхав вашу красивую игру, сударь, решил немного задержаться и внять лютне!..

Бо-я расхохотался.

— Как, — сказал он, — человек, который рубит дрова в горах, смеет произносить слова «внимать лютне»?!. По ним я не могу судить правда это или вздор... да и считаться с ними не хочу!..

Слуги стали кричать тому человеку, чтоб он убирался, но тот не уходя, громко заявил с берега:

— Ваши слова, сударь, несправедливы! Разве вы не слыхали, что в селеньи из 10-ти домов всегда найдется преданный и честный, что «коль в доме благородный человек, — к нему извне придет такой же»?!. [7])

Если вы оскорбительно для нас думаете, что в горной глуши нет внимающего лютне человека, то в этот поздний ночной час, у пустынного берега вам бы тоже не следовало играть на лютне!

Бо-я, заметив, что человек этот говорит не просто, подумал: «а вдруг это действительно настоящий ценитель лютни, умеющий ее слушать», и, остановив слуг, велел им больше не кричать, сам же подошел к дверям каюты и, сменив гнев на радость, спросил:

— Господин, стоящий на берегу! Раз вы слушали лютню, то значит, стояли там долго и быть может, знаете, что за мелодию я только что здесь играл?

Человек тот ответил:

— Ваш ничтожный слуга, если бы не знал, то наверно бы не пришел слушать лютню. То, что вы, сударь, только что играли, это песнь «Конфуций вздохнул о Янь-Хой'е» [8]). Слова же песни гласят:

Как жаль, что Янь-Хой'ю суждён был от Неба увы! столь короткий век!
Ведь это при думе о нем заставит виски побелеть, как снег!
И только за то, что живя в закоулке, был рад он из тыквы пить...

Когда вы дошли до этой последней фразы, струна оборвалась и вы не успели начать четвертую строку. Ваш ничтожный слуга ее еще помнит:

навеки оставил потомству он славу, как мудрый святой человек.

Бо-я, услыхав эти слова, сильно обрадовался и сказал:

— Почтенный человек, да вы действительно не простой грамотей!.. Берег далёк, и трудно спрашивать и отвечать!..

И он приказал слугам перекинуть трап и попросить почтеннаго господина войти в лодку, чтобы можно было поговорить побольше.

Слуги спустили трап, и, когда тот человек поднялся на судно, то действительно оказался дровосеком. Голову его покрывала соломенная шляпа, на нем был травяной плащ, а в руках он держал коромысло с дровами. За поясом был топор, на ногах же—соломенные сандалии.

Слуги умели разговаривать и по хорошему и по дурному.

Увидав, что это дровосек, они отнеслись к нему презрительно, сверху вниз, и прикрикнули:

— Эй, ты, дровосек! Ступай в каюту представиться нашему господину! Когда он спросит тебя о чем-либо, отвечай осторожно! Он, ведь, очень важная персона!..

Дровосек оказался человеком серьезным.

— Милостивые государи, — сказал он, — не нужно быть такими грубыми. Дайте мне сначала привести себя в порядок и я пойду представиться.

Он снял свою соломенную шляпу, и на голове его оказалась повязка из синего холста, скинул дождевой плащ из травы, и на нем оказалась рубаха из грубой голубой ткани. Сняв пояс, он повесил его на шею, и показался низ холщевых штанов. Не смущаясь, не торопясь, собрав свои рогожи, корзины, коромысло и топор, он всё это сложил у дверей каюты, затем снял свои соломенные сандалии, отмыл приставшую грязь, и, снова надев их, не спеша вошел в каюту.

В каюте перед хозяином ярко горела свеча.

Дровосек с жестом привета, но не преклоняя колен, сказал:

— Приветствую вас, сударь!..

Юй Бо-я занимал весьма высокий пост в царстве Цзинь. Стал бы он обращать внимание на человека, одетого так просто! И он подумал, что если сойти с места и сделать ответное приветствие, то как бы не унизить своего сановного достоинства. Но, раз он сам просил гостя подняться в лодку, тем более не хорошо было прогнать его прочь. И Бо-я, не зная, что делать, чуть приподняв руки для приветствия, сказал:

— Оставим этикет, почтеннейший.

И он крикнул мальчику дать гостю сесть. Мальчик, взяв табурет, поставил у края стола. Бо-я, не церемонясь, обратился я дровосеку и натянуто сказал:

— Садись-ка!..

(«Ты» и «я»: [9]) видите сами, какая небрежность!)

Но дровосек, не ответив вежливым самоуничижением, чинно сел.

Бо-я, заметив, что тот уселся, не доложив ему об этом, был слегка изумлен и разгневан. Поэтому, не осведомляясь о фамилии и имени, не приказав слугам подать чаю, он долго сидел молча, пока, наконец, не спросил с удивлением:

— Так это действительно ты только что слушал с берега мою лютню?

— Смею ли... — ответил дровосек.

— В таком случае я тебя спрашиваю, — сказал Бо-я, — раз ты пришел слушать лютню, то, конечно, знаешь об ее происхождении: кто её сделал и что хорошего в игре на ней?..

Как раз на этом вопросе пришел рулевой с докладом.

— Погода стихла. Светло от луны, как днем. Можно отплывать, — сказал он.

Бо-я приказал немного подождать.

Но дровосек сказал:

— Господин соизволил снизойти до вопроса ко мне, ничтожному человеку. Однако, если подробно о нем толковать, то, пожалуй, я надоем и боюсь, что из-за этого вы пропустите плаванье с попутным ветром.

— Я боюсь только того, — насмешливо заметил Бо-я, — что ты не знаешь законов лютни. Если же в твоих суждениях будет смысл, то даже не идти на службу из-за этого, и то небольшая важность. А тем более отплыть, позже или раньше!..

— Раз так, — отвечал дровосек, — то позволю себе нескромность начать.

Эта лютня вырезана императором Фу-Си [10]). Он увидал, как живоносная сущность пяти планет упала на дерево «у-дун», и как фениксы «Фын» и «Хуан» [11]) явились к нему на поклон. Фын — царь среди птиц; не вкушает ничего кроме плодов бамбука, не сидит ни на чем, кроме дерева «у-дун» и пьет только из «Винного Источника». Так Фу-Си узнал, что «у-дун» — лучший материал, ибо дерево это овладело творческой силой природы и годилось для музыкального инструмента. И он повелел людям срубить это дерево. Высотой оно было в три «чжана» три «чи» [12]) сообразно с 33-мя небесами.

Фу-Си разделил его на три части, имея ввиду три мира: Небо, Землю и Человека. Взяв верхнюю часть, он ударил по ней. Звук был слишком чист, и, так как она была чрезмерно легка, то Фу-Си её отверг. Затем он взял нижнюю часть и ударил опять. Звук ее был слишком мутен, и, так как она была чрезмерно тяжела, он отверг и её. Тогда взял он среднюю часть и ударил по ней. Звук ее был в должном соответствии, легкость и тяжесть также сочетались в ней. Он положил этот кусок в вечнотекущую воду и вымачивал 72 дня, сообразуясь с 72-мя периодами года.

Потом он вынул его и высушил в тени. Выбрав счастливый день и час, с помощью высоко-искусного мастера Лю-Цзы-ци, он обтесал и сделал из него музыкальный инструмент. Музыка его была музыкой с Янтарного пруда [13]), и он назвал этот инструмент «Лютней Янтарной».

Длиной она была в три «чи» шесть «цуней» и один «фэнь», сообразно с 361 ступенью неба, передний конец был шириной в 8 «цуней», сообразно с восемью периодами года, ширина заднего конца была в 4 «цуня», сообразно четырем временам года, толщиной же была в два «цуня», сообразно с двумя ликами мира — Инь и Ян [14]). И был конец ее

в виде золотого отрока, середина в виде яшмовой женщины и основание в виде бессмертного гения.

И были на ней «Пруд Дракона», «Бассейн Феникса», яшмовые колки, золотые перекладины. Всего тех перекладин было 12, по числу двенадцати лун, и была еще одна средняя перекладина, соответствовавшая добавочной луне. Сначала на ней было 5 струн, внешне соответствуя пяти элементам: металлу, дереву, воде, огню и земле, а внутренне — пяти тонам: гун, шан, цзюэ, чжэн и юй. Позднее, во времена Яо и Шуня [15]), когда они играли на этой пятиструнной лютне и пели стихи о «Южном Ветре» [16]), — в Поднебесной царил великий порядок. Затем, когда Чжоу'сский князь «Вэнь» [17]) был заключен в тюрьму в Ю-ли, то он, оплакивая сына своего Бо-И-као, прибавил еще одну струну, для чистой, глубокой печали и ропота, и с тех пор назвали её «струной князя Просвещенного».

Потом, когда князь У [18]) разбил императора Чжоу-синя, то он для пения и пляски прибавил еще одну струну, выражавшую чувства доблести и отваги. С тех пор назвали её «струной князя Воинственного».

Сначала было пять струн на тоны гун, шан, цзюэ, чжэн и юй, а затем, с прибавлением еще двух струн, названа была эта лютня «Семиструнной Лютней князей Вэня и У».

У лютни этой есть шесть случаев запрета, семь — неигры, и восемь отменных свойств.

Что-же это за шесть запретов?

Первый случай — сильный холод,
а второй — жара большая.
Третий случай — сильный ветер,
а четвертый — сильный ливень.
Пятый случай — гром внезапный,
а шестой — обильный снег.

Что же это за семь случаев неигры?

Услыхав о смерти — не играет,
слыша лютню — не играет,
есть заботы — не играет,
не очистил тела — не играет,
если не одет пристойно — не играет,
не возжечь курений — не играет,
нет того, кто звуки знает — не играет.

Что ж это за восемь отменных свойств?
В общих словах, это музыка:

Нравственная, тайная, классическая, чистая,
томная, печальная, протяжная, торжественная.

Именно в этом высшая красота и высшее благо игры на лютне. Ревущий тигр, услышав её, замолкает, и тоскующие обезьяны, услыхав, перестают выть. В этом и есть прелесть настоящей классической музыки.

Когда Бо-я услыхал, что дровосек отвечает ему так гладко, он, всё-таки сомневаясь, не просто ли это человек, говорящий по наслышке, подумал:

«Если это так, попробую-ка еще раз испытать его!»

Но теперь уже не говоря с ним, как раньше, на «ты», спросил снова:

— Раз вы, уважаемый человек, понимаете толк в музыке, то скажите: В свое время Конфуций играл на лютне у себя в доме. Янь-хой входил снаружи и услыхал в лютне тайно-тяжелые звуки, как будто в играющем была жажда убийства. Удивленный, он спросил про это. Конфуций сказал: «Я только что играл на лютне, как вдруг заметил кошку, ловившую мышь. Желая, чтоб кошка ее схватила, я боялся, как бы она не упустила ее, и эта жажда убийства тотчас же проявилась в струнах и дереве инструмента». Из этого примера видно, насколько законы музыки в школе Совершенного Мудреца были утончены! Скажите, если бы ваш слуга стал играть на лютне и в сердце моем были бы думы, смогли бы вы, почтенный человек, на слух узнать их или нет?

Дровосек ответил:

— В Одах Мао [19]) сказано:

«Когда другой имеет думу,
отгадываю мысль его!»

Испытайте, сыграв мне что-либо, сударь, и ничтожный слуга ваш постарается всей душой отгадать. Если же не отгадаю верно, — простите!

Бо-я, сорвав старую струну, натянул новую, затем погрузился в думу и так сидел долго. Мысли его были в это время в высоких горах.

Он тронул лютню и заиграл. Дровосек похвалил.

— Как красиво! Безбрежно, бескрайно! Ваши мысли, сударь, в высоких горах, — сказал он. Бо-я, не отвечая, снова взял лютню, сосредоточил свой дух и снова заиграл. Мысли его были в это время в текучих водах.

Дровосек опять похвалил и сказал:

— Как красиво! Широко, просторно! Ваши мысли, сударь, в текущей воде.

Оба раза он выразил именно то, о чем думал Бо-я, и тот очень поразился. Отложив лютню и встав, он приветствовал его, как хозяин гостя, по этикету.

— Ах, простите, простите меня! — воскликнул он. — Среди каменных пород бывают залежи драгоценной яшмы. Если по платью принять человека, то разве нельзя обмануться по отношению к просвещеннейшему ученому в Поднебесной! Сударь, ваше высокое имя и ваша прекрасная фамилия?

Дровосек склонился и ответил:

— Фамилия вашего покорного слуги — Чжун, имя — Хой, а скромное прозвание — Цзы-ци.

Бо-я сложил руки для приветствия.

— Итак, вы — господин Чжун Цзы-ци, — сказал он.

В свою очередь Цзы-ци осведомился:

— А какова ваша высокая фамилия и где ваше славное место службы?

— Ваш слуга Юй Дуань, служит при Цзинь'ском дворе и приехал от государя с визитом в ваше высокое государство...

— Так значит вы — сановник Бо-я! — сказал Цзы-ци.

Бо-я пересадил его на почетное место гостя, а сам сел на месте для хозяина. Он приказал мальчику приготовить чаю, а после чаю велел подать вина.

— Позвольте удостоиться беседы с вами, — сказал Бо-я, — простите за мою простоту и домашнее угощение!..

— Смею ли... — возразил Цзы-ци.

Мальчик убрал лютню и оба они, сев за стол, стали пить вино.

Бо-я опять начал разговор, спросив:

— Вы, сударь, насколько я понял по говору, уроженец Чу? Не знаю только вашего почтенного местожительства.

— Оно неподалеку отсюда. Название местности — гора Ма-ань, деревня Цзи-сянь — «Собрание Талантов», очень глухое место.

Бо-я наклонил голову.

— Это поистине прекрасное собрание талантов!.. — польстил он, играя словами, и затем снова спросил, какого рода искусством Цзы-ци там занимается.

— Да только вот этой самой рубкой дров, — ответил Цзы-ци.

Бо-я незаметно улыбнулся.

— Господин Цзы-ци, ваш слуга не смеет надменно говорить о ваших целях, но почему же вы не добиваетесь ни славы, ни почестей, ни присутствия в Совете государя, ни того, чтобы имя ваше записано было в государственных анналах?.. Почему, наоборот, вы все свои мечты ограничили лесами и ручьями, смешав свои следы с дровосеками и пастухами?.. Вместе с травами и деревьями вы увядаете здесь. Позвольте на вашем месте, почтенный друг, считать это для себя неприемлемым!

— Не скрывая истины, — ответил Цзы-ци, — это потому, что во-первых в моей хижине живут двое престарелых родителей, во-вторых они уже не могут работать сами, и вот я коротаю свой век, собирая топливо, чтобы дать им возможность дожить свои последние годы. Хотя бы мне предложили пост министра, и то я не хотел бы сменять на него мои каждодневные заботы.

— Такую сыновнюю почтительность трудно сразу найти! — воскликнул Бо-я.

Оба они выпили по разу, один за другим. Цзы-ци, был ли он унижен со стороны Бо-я или почтен им, нисколько этому не удивлялся, и Бо-я все больше и больше чувствовал к нему симпатию.

— Сколько вам лет, Цзы-ци? — задал он снова вопрос.

— Их, попусту прожитых, двадцать семь, — ответил тот.

— Я старше вас на десять лет, — сказал Бо-я. — Если вы не откажетесь, то давайте побратаемся. Понимающим звуки нельзя не быть друзьями.

— Вы ошибаетесь, сударь, — улыбнувшись сказал Цзы-ци, — ведь вы — знаменитый вельможа в вашем высоком государстве, а я — ничтожный человек из бедной деревни. Безумием считаю смелость рассчитывать на ваше благосклонное внимание, и ощущаю стыд, когда вы снисходите ко мне.

Бо-я возразил:

Хоть полон целый свет знакомых,
но кто из них понять сумеет сердце?

Ведь ваш слуга хлопочет, мечется в суетном мире — и вот удостоился заключить дружбу с высоко-талантливым человеком. Это, действительно, величайшее счастье всей моей жизни! Ведь если бы я считался с богатством и бедностью, отличающими нас, то к какому же сорту людей тогда причислите вы меня, Юй Дуаня?

Затем он приказал мальчику зажечь свежую свечу, вновь воскурить лучшие ароматы, и вот, в каюте судна, вместе с Цзы-ци совершил он восемь поклонов по обряду братания. Бо-я, старший по летам, сделался старшим братом, а Цзы-ци — младшим; они решили отныне и впредь называться так и быть друзьями на жизнь и смерть.

Снова приказав подать теплого вина, Бо-я вновь налил, а Цзы-ци уступил ему свое почетное место. Бо-я же переместил их чарки и палочки [20], и Цзы-ци сел на его место. Называя друг друга старшим и младшим братьями, они стали разговаривать по душам.

Ведь:

Когда придет желанный гость, не устают сердца!..
Коль слушает «понявший звук», беседе нет конца!

Погрузившись в беседу, они не заметили, как побледнела луна, и поредели звезды, а на востоке стало светать.

Все матросы на судне уже поднялись, готовя паруса и снасти, приводя в порядок лодку. Цзы-ци встал и начал прощаться. Бо-я поднял еще одну чарку вина и, передав ее Цзы-ци, взял его за руку, вздохнул и сказал:

— Почему мы так поздно встретились с тобой, мой дорогой брат, и так рано должны расстаться?

Цзы-ци, услыхав эти слова, не заметил, как слеза-жемчужина капнула прямо в чарку. Он выпил ее до дна и в свою очередь, наполнив вином, почтил Бо-я. У каждого из них в душе были любовь и неразрывная привязанность.

— Твой старший брат еще слишком полон чувства, — сказал Бо-я, — и хочет во что бы то ни стало побыть еще несколько дней с тобою, путешествуя вместе, но не знаю, возможно это или нет?..

— Ваш младший брат, — ответил Цзы-ци, — тоже, конечно, хотел бы сопровождать вас, но как быть с моими родителями, которые так стары годами?

«Пока отец и мать мои живы, я не могу далеко уезжать от них!» [21]

— Раз эти два достойных человека находятся в твоем доме, — возразил Бо-я, так возвратись и доложи им, что ты хочешь отправиться в столицу царства Цзинь повидаться со своим старшим братом, и тогда такое путешествие в известное твоим родителям место будет дозволено.

— Ваш младший брат не смеет легкомысленно согласиться и не оправдать доверия, обещав моему брату тотчас же последовать за ним. Ведь, если я доложу об этом родителям, а они не согласятся, то заставив моего благородного брата ожидать там, за несколько тысяч «ли» [22]), я окажусь крайне виновным!..

— Мой дорогой брат, ты действительно человек благородства, самого настоящего, искреннего! Итак, в следующем году я сам опять вернусь повидать моего милого брата.

— А когда именно в будущем году прибудет мой благородный брат? я спрашиваю это для того, чтобы мне можно было хорошенько услужить вам...

Бо-я, загнув палец, сказал:

— Прошлая ночь была праздником Средней осени, и нынешний день, когда посветлеет, будет шестнадцатым числом восьмой луны. Дорогой брат мой, я приеду навестить тебя опять в Среднюю осень, дней за пять, за шесть. Если же пройдут дни с 10-го по 20-е число, и я запоздаю до начала последней осенней луны, то значит я обманул твое доверие и не благороден.

И он велел позвать писца, чтоб тот занес в календарь название места, где жил его младший брат а также срок свидания с ним.

— В таком случае, — сказал Цзы-ци, — ничтожный брат ваш в это именно время, в Среднюю осень будущего года, будет ждать вас на речном берегу. Не посмею обмануть вас! Однако, небо уже рассвело. Позвольте уведомить вас об уходе.

— Подожди немного, милый брат мой, — сказал Бо-я, и, приказав мальчику принести два слитка золота, без всякой обертки [23]), просто двумя руками, преподнес их своему брату.

— Вот мой ничтожный и обязательный для меня подарок, — добавил он. — Пусть пока это пойдет на что-нибудь вкусное для наших почтенных родителей. Ты — родной мне по духу человек, не считай это неприемлемым для себя и неудобным!

Цзы-ци не посмел отказаться и, сейчас же приняв золото, несколько раз откланялся. С глазами полными слез вышел он из каюты, взял опять свое коромысло, надел травяной плащ и соломенную шляпу, заткнул за пояс топор и перебрался по сходням на берег.

Бо-я проводил его до конца судна и здесь, оба они, обливаясь слезами, расстались. Не описывая, что случилось с Цзы-ци, когда он вернулся домой, расскажем лишь о том, как Юй Бо-я, ударив в гонг, дал сигнал к отплытию, но всю дорогу среди красот гор и рек он не мог уже созерцать и наслаждаться ими. В сердце своем с тоской вспоминал он «понимающего звуки». Еще через несколько дней плаванья Бо-я покинул

судно и перешел на берег. Где бы он ни проезжал, все знали, что это важный сановник из царства Цзинь, и не смели медлить, быстро предоставляя ему коней и повозки, посменно провожали его, так что вскоре он достиг Цзинь'ской столицы и вернулся к своему повелителю с исполненным поручением. Но это уже не входит в дальнейшее повествование. Неслось время, миновала осень, зима, не почувствовал он, как прошла весна и наступило лето. Бо-я все время думал о Цзы-ци и не было дня, когда бы он забывал о нем. Решив, что праздник Средней осени уже близок, он попросил у Цзинь'ского государя отпуска на родину.

Тот соизволил разрешить, и вот Бо-я, собрав дорожные вещи, попрежнему отправился кружным водным путем. Садясь на судно, он приказал старшему из команды на всех стоянках тотчас приходить и докладывать о названии места. Как раз настала 15-ая ночь восьмой луны, когда староста известил, что гора Ма-ань недалеко, и Бо-я как будто припоминал прошлогоднюю стоянку, место его свидания с Цзы-ци. Он приказал причалить судно. На дно реки забросили якорь, на берегу забили кол.

Ночь была ясная, светлая, и внутри каюты нить лунного блеска пронизывала красный занавес. Бо-я приказал мальчику поднять штору и тихо вышел из каюты. Встав на носу лодки, он закинул голову и посмотрел на рукоять Небесного Ковша. В глубине вод было сердце неба, а даль растилалась на тысячи «цин'»ов [24]). Светло было, как белым днем.

И он подумал о встрече в минувшем году с тем, кто понял его, с которым оба они сидели под светом луны. Этой ночью он снова приехал, и вот снова чудесная ночь. Но друг обещал ждать на берегу! Почему же нет ни шагов, ни тени? Уж не обманул ли он?

Подождав еще, Бо-я подумал: «Я заметил, что у берега здесь проплывает немало лодок, а нанятое мною теперь судно не похоже на прошлогоднее и брат мой может не узнать! Ведь в прошлом году игрой на лютне я привлек «понимавшего звуки». В эту ночь попробую тоже, как раньше, сыграть мелодию. Когда брат мой услышит ее, то, конечно, придет со мной повидаться».

И вот Бо-я приказал мальчику принести лютню и столик и поставить их на носу лодки, возжечь курения и приготовить место. Затем он открыл футляр, настроил струны, подвернул колки и только-что заиграл, как вдруг на тоне «шан» струна издала печальный, скорбный звук. Бо-я перестал играть и воскликнул в изумленьи:

— Струна на тоне «шан» сразила меня печальным звуком!.. Наверно брата моего постигла в доме печаль. В прошлом году он как-то сказал мне, что годы его родителей уже высоки. Если не отец его умер, то наверно погибла мать. А он, как человек отменного сыновочтения, служит родителям так усердно. Поэтому он решил лучше не исполнить долга по отношению ко мне, чем по отношению к родителям. Вот почему он не пришел! С наступлением дня, когда небо посветлеет, я непременно выйду на берег и разузнаю.

Кликнув мальчика, он приказал ему убрать лютню и столик, спустился к себе и лег в постель.

Всю ночь не спал Бо-я, с нетерпением ждал рассвета, но не рассветало, надеялся на утро, но не брезжило, и он все смотрел, как луна перемещала свой лик по шторе.

Как только солнце встало над горой, Бо-я поднялся, причесался, омылся, привел в порядок платье, повязал голову и приказал одному только мальчику сопровождать его и нести лютню. Взял он также с собой десять «и» [25]) золота. «На случай если брат мой в трауре», — подумал он, «можно будет сделать поминальный подарок».

Выйдя на берег, он направился к горе Ма-ань. Не пройдя и десяти «ли», они вышли к долине. Бо-я остановился.

— Почему вы не идете дальше, господин? — почтительно спросил мальчик.

— Горы разветвляются на север и юг, дорога расходится на восток и запад. По выходе из долины, обе эти дороги большие, проезжие, по обеим можно итти, и как знать, которая ведет в деревню Цзи-сянь — «Собрание талантов». Подождем здесь знающего дорогу человека и расспросим точнее. Потом можно будет итти дальше.

Бо-я подошел к камню и присел, а отрок поместился за ним. Немного времени спустя, слева на большой дороге, показался какой-то старик. Борода его свисала нитями белой яшмы и волосы завивались серебристым шелком. На нем была соломенная шляпа и грубое платье. В левой руке он держал посох из ротанга, в правой нес бамбуковую корзину. Понемногу он приблизился. Бо-я поднялся, оправил платье, повернулся к нему и приветствовал. Старик тот, не смущаясь, не торопясь, опустил правой рукой потихоньку корзину на землю и, обеими руками приподняв свою палку, возвратил приветствие, сказав:

— Что вы хотите узнать, сударь?

— Позвольте спросить вас, старичек, которая из этих двух дорог ведет в деревню Цзи-сянь?

— Обе эти дороги, — ответил старик, — идут на две деревни Цзи-сянь. По левую руку будет деревня «Верхняя Цзи-сянь», а по правую — «Нижняя Цзи-сянь». До обеих этих деревень тридцать «ли» большого проезжего пути. Вы, сударь, немного прошлись и находитесь теперь как раз на половине. К востоку отсюда будет пятнадцать «ли» к западу — тоже пятнадцать «ли». Не знаю, в какую из этих деревень вам угодно?..

Бо-я молчал и, не отвечая, подумал: «Ведь брат мой умный человек. Почему же он сказал такую несуразность? В день нашего знакомства он, ведь, знал, что здесь две деревни, одна — верхняя, другая — нижняя. Должен бы был сказать яснее!» При этом Бо-я бормотал про себя. Тогда старик тот сказал:

— Сударь, по вашему раздумью, я понял, что сказавший вам о дороге, не сделал разницы между верхней и нижней, а указал лишь

вообще деревню Цзи-сянь и поставил вас в положение, когда негде и не у кого спросить?..

— Да, это так, — ответил Бо-я.

— Видите ли, — начал старик, — в обеих деревнях Цзи-сянь имеется по десять — двадцать семейств и все они в общем, из тех, что ушли от света. Пожить мне еще несколько лет в этих горах и как раз можно будет сказать:

— Я прожил тридцать лет на этом месте,
и нет того, кто не был бы родным!

Среди этих семейств у меня найдется, если не родственник, то уж наверное, друг! Раз вы, сударь, идете в деревню Цзи-сянь, значит вы разыскиваете друга. Скажите только, как его фамилия и имя!.. Я, наверно, знаю, где он...

— Ваш ученик, — ответил Бо-я, — идет в дом Чжун'ов.

— Если вы, сударь, идете в дом Чжун'ов, то кого же именно вы разыскиваете там?

— Я ищу Цзы-ци, — отвечал Бо-я.

Когда старик услыхал эти два слова: «Цзы-ци», — то из тусклых старческих глаз его так и закапали слёзы.

— Увы, увы!.. — всхлипнул он, застонал и невольно громко зарыдал.

— Цзы-ци, Чжун-Хой — это мой сын, — говорил он, плача, — в прошлом году пятнадцатого числа восьмой луны он, собрав хворост, возвращался вечером домой, но повстречался с вельможей из царства Цзинь, господином Юй Бо-я. Во время долгой беседы мысли и души их пришли в единение. При расставаньи тот подарил ему три плитки золота, и сын наш, накупив книг, стал усиленно заниматься. Сам я, тупой неуч, никогда ему этого не запрещал. По утрам он рубил дрова и таскал ноши, а по вечерам читал и занимался со всем усердием. Но силы его истощались и он заболел. Прошло еще несколько месяцев — и его не стало...

Едва Бо-я услыхал эти слова, как все пять внутренних органов в нем как бы разом порвались, слёзы брызнули ключом и, с громким воплем склонился он к утесу, зашатался и без памяти упал на землю.

Старый Чжун очень испугался, сдержал свои слёзы, бросился поднимать его, и обернувшись к мальчику, спросил:

— Кто этот господин?..

— Да это и есть сам почтенный Юй Бо-я, — ответил ему на ухо отрок.

— Так вот он, лучший друг моего сына! — сказал старик и, подняв Бо-я, стал приводить его в чувство. Бо-я сидел на земле, отплевывая мокроту.

Ударяя в грудь руками, он горько плакал, не переставая, и говорил:

— О, мой благородный брат! Вчера ночью, на причале лодки я говорил, что ты обманул меня!.. Кто же мог знать, что ты уже стал бесплотным духом в недрах потоков земли?!. Ты был так одарен и так недолговечен!..

Старый Чжун, отирая слёзы, утешал его.

Кончив плакать, Бо-я встал и снова почтил старого Чжуна глубоким поклоном, не смея уже звать просто «старичком», как раньше, а величая «почтенным дядюшкой», чтобы показать родственные отношения, которые у него были с Цзы-ци.

— Почтенный дядюшка, — сказал он, — сын ваш всё еще находится в гробу дома, или же на кладбище?..

— Трудно рассказать обо всем сразу, — ответил старый Чжун. — Когда мой умерший ныне сын кончался, я с моей старухой сидел перед его постелью, и он падающим голосом сказал:

— «Долгий век и короткий — всё от Неба! Не мог я выполнить Путь служения родителям моим при жизни!.. Заройте же меня, прошу вас, по смерти около горы Ма-ань. У нас есть уговор с Цзинь'ским сановником Юй Бо-я и я хочу выполнить данное слово!» — Я не мог не исполнить последнего желания моего сына. И вот там, где вы проходили, справа от маленькой тропинки, есть холм свежей земли; это могила моего сына Чжун-Хой'я. Сегодня как раз сто дней его памяти, и я со связкой бумажных денег шел сжечь их перед его могилой. Мог ли я ожидать, что встречусь с вами, сударь?

— В таком случае прошу вас, почтенный дядюшка, позволить вместе с вами пойти и совершить поклонение перед его могилой, — сказал Бо-я и приказал мальчику взять у старца его бамбуковую корзину. И вот старый Чжун, с посохом в руке, показывал дорогу, а Бо-я следовал за ним, мальчик же шел по пятам. Так они вновь пришли ко входу в долину и там действительно оказался холм свежей земли слева от дороги. Бо-я оправил платье, поклонился и сказал:

— Достойный брат мой! В этом мире, ты был мудрым человеком, по смерти ты стал светлым духом, взирающим на меня. Твой ничтожный старший брат кланяется тебе сейчас — и это вечная разлука!

Кланяясь, он испустил вопль и снова заплакал.

Весь народ у гор и за горами, слева и справа, издали и вблизи, потревоженный этим плачем, отовсюду пришел узнать, в чем дело. А узнав, что это придворный сановник прибыл совершить поклонение Чжун'у Цзы-ци, они окружили могилу и наперебой старались первыми посмотреть.

Так как Бо-я не мог ничего предложить для жертвы, чтобы выразить свои чувства, он приказал мальчику подать янтарную лютню и вынуть её из футляра. И вот, положив её на жертвенный камень, он присел перед могилой и, вытерев две струи слёз, заиграл.

Когда все смотревшие услыхали мелодичный звон лютни, они захлопали в ладоши и с громким смехом рассеялись.

— Почтенный дядюшка, — сказал Бо-я, — игрой на лютне, ничтожный слуга ваш хотел оплакать вашего сына, моего брата, потому что скорби моей нет конца. Почему же все они засмеялись?

— Люди из деревенской глуши не понимают законов и смысла мелодии. Услыхав звуки лютни, они сочли это за веселую музыку. Вот откуда этот сильный смех, — объяснил старый Чжун.

— В таком случае, — сказал Бо-я, — быть может вы, почтенный дядюшка, знаете, какую я сыграл мелодию?

Старый Чжун ответил:

— Когда я был молод, я тоже хорошо умел играть, но теперь все пять моих чувств наполовину притупились и я давно уж ничего не смыслю.

— Я только что играл, следуя сердцу и руке, — сказал Бо-я. — Этой небольшой мелодией я оплакал вашего умершего сына. Я спою теперь её вам, а вы послушайте, почтенный дядюшка!..

— Хочу её услышать, — ответил старый Чжун.

И Бо-я запел.

... И припомнилось мне: осенью в прошлом году
встретился я с тобой на речном берегу.
Вот: в сегодняшний день снова пришел я к тебе,
но, увы! не видать «звук понимавшего» друга!..
Только видна насыпь могильной земли...
Горькая боль!.. Сердце сражает мне мука!..
Рана на сердце, рана на сердце, рана в сердце моем!..
Нет, не стерпеть! Слезы обильно текут...
Радость придет и уйдет; с кем поделюсь?
Разве лишь с тучами, что над рекою встают.
Друг мой Цзы-ци, друг мой Цзы-ци! Дружба ценнее, чем злато. Связаны ею мы
Пусть я пройду до края небес! — Не с кем уже говорить!
Эта мелодия кончена. Ах, больше не буду играть...
Лютня «Яо» в три «чи» длиной ради тебя умрет!

Затем он достал из под платья нож и разрезал струны лютни. Обеими руками подняв её, он изо всех сил ударил о жертвенный камень на могиле, и от удара раздробились яшмовые колки, соскочили золотые подставки. Старый Чжун в испуге спросил:

— Зачем же вы сломали эту лютню, сударь?!

И Бо-я ответил:

Лютню «Яо» я сломал; «Фын»'у [26]) — холодать!
Если нет Цзы-ци со мной, для кого играть?
Все лицо в осеннем ветре... все мне здесь друзья!
«Понимающего звук» трудно отыскать.

— Как все это грустно, как грустно... — сказал старый Чжун.

— Ваш высокочтимый дом находится в Верхней или Нижней Цзи-сянь? — спросил Бо-я.

— Моя лачуга в деревне Верхняя Цзи-сянь, восьмой дом, как раз... Но зачем вы, сударь, спрашиваете об этом?

Тогда Бо-я сказал:

— Ваш слуга ранен горем в сердце... Сейчас не смею последовать за вами, почтенный дядюшка, в ваше высокое жилище. Но при мне есть

десять «и» золота. Половину этих денег я истрачу за вашего сына на расходы по вашему столу, а на другую половину надо купить несколько «му» [27]) жертвенной земли для покрытия расходов по ежегодному приведению в порядок могилы. Когда я возвращусь к нашему двору, то доложу моему государю о выходе в отставку, о «возвращении на родину», как говорят, и затем приеду в вашу деревню. Я встречу вас с тетушкой, чтобы привести вас обоих в мой скромный дом, где вы и скоротаете положенные вам от неба годы. Я — это Цзы-ци, Цзы-ци — это я! Не считайте же меня, почтенный дядюшка, за постороннего и не отказывайтесь!

Затем Бо-я приказал мальчику достать золото, преподнес его собственноручно старому Чжуну и, рыдая, поклонился до земли. Старый Чжун, растроганно плача, ответил поклоном, и после этого, проведя еще с пол-дня, они расстались.

Записав этот рассказ, я назвал его: «Юй Бо-я, лютню разбив, простился с «понявшим звук». Впоследствии кто-то написал по этому поводу следующие стихи:

В дружбе из выгоды — деньги и сила, вот что заманчиво в ней!
так думал вторично о «звук понимавшем» кто из ученых людей?
Больше играть Юй Бо-я не стал. Ведь умер Чжун Цзы-ци!..
Навеки заставил людей говорить о лютне разбитой своей.

Перевел с китайского

Б. А. Васильев

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1]) В VII веке до Р. Х., Бао-шу Я, уроженец Ци, будучи канцлером в этом уделе, поставил на пост министра своего друга Гуань И-у, знаменитого философа-законника, человека из простой семьи. В своей автобиографии последний говорит:

«Вначале, в тяжелые времена, я дружил с Бао-шу-Я. Когда при разделе богатств, я уделял себе больше, он не считал меня корыстным, зная мою бедность.

Я трижды сражался и трижды бежал, но Бао-шу не считал меня за труса, зная, что у меня старуха-мать. Когда мой князь, которому я служил, был разбит, я попал в тюрьму и был опозорен, но Бао-шу не считал меня опозоренным, зная, что я не стыжусь мелочей, а стыжусь того, что ничего не дал еще миру. Произвели меня на свет родители, понимает же меня — Бао-шу».

[2]) «Борьба царств», — период с 481 по 221 г. до Р. Х, когда Китай был разбит на множество уделов, враждовавших между собой.

[3]) В нынешней провинции Ху-Бэй.

[4]) В нынешней провинции Шань-Си.

[5]) На месте нынешнего города Хань-Коу, в провинции Ху-Бэй.

[6]) Каждый из 4 периодов года делится в Китае на 3 части, т. е. напр. осенний период в 3 месяца распадается на Начальную, Среднюю и Последнюю Осень.

[7]) Слова Конфуция, сказанные им в своих «Суждениях и Беседах», гл. 5 § 27.

[8]) Янь-Хой, любимый ученик Конфуция, умерший в раннем возрасте.

[9]) В Китае принято в вежливом разговоре употреблять уничижительные местоимения для 1-го лица и восхвалительные для 2-го.

[10]) Фу Си — легендарный император, живший в 3-м тысячелетии до Р. Х., изобретатель искусства письма и музыки.

[11]) Пара бессмертных птиц, появление которых знаменует мир и счастье.

[12]) Китайские меры длины: чжан, чи, цунь и фэнь приблизительно соответствуют нашим понятиям: сажень, аршин, дюйм и линия.

[13]) Легендарный пруд на вершине горы Гунь-Лунь, в царстве бессмертной царицы Сиванму.

[14]) Инь и Ян — первопричины мира в космологии китайцев.

[15]) Император Яо (2356 — 2297 до Р. Х.) и император Шунь (2297 — 2208 до Р. Х.) — примеры правопорядка и разумной власти.

[16]) Эти стихи о Южном Ветре, сочиненные императором Шунем, которые он пел, играя на лютне, гласили:

«Аромат Южного Ветра может развеять ропот нашего народа,
При Южном Ветре можно увеличить богатства нашего народа».

Южный Ветер — это дыхание мягкосердечности и благородства.

[17]) и [18]) Князь Вэнь — «просвещенный», был отцом князя У — «Воинственного», свергшего последнего развратного императора Шан'ской династии Чжоу-Синя и основавшего новую династию Чжоу (1122 — 255 до Р. Х.).

[19]) Оды Мао — т. е. древняя Книга Стихов.

[20]) В знак побратимства.

[21]) Завет Конфуция, высказанный им в своих «Суждениях и Беседах», гл. IV, § 19.

[22]) «Ли» — китайская верста.

[23]) Т. е. без церемонии.

[24]) «Цин» — квадратная мера, равная 5 десятинам.

[25]) «И» — мера веса, равная 20 «лан»'ам, основной денежной единице.

[26]) Фын — павлинье опахало над дорогой лютней.

[27]) «Му» — китайская десятина.

ИЗ ОБЛАСТИ ВЕДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

1

Риг-Веда — у нас глухое, почти безвестное имя. Мы должны восстановить свое право на арийское наследье. С Библией — настольной книгой — жили почти тысячу лет русские люди. Веды — а р и й с к а я библия — и должны бы больше значить и лучше помниться у нас, чем семитическая библия. Но они не имели достойной славы на Западе и у нас; в старину оттого, что индийский мир с доисторических пор совсем разобщился с европейским, а в новое время потому, что сами индусы утратили очень много из преданий той далекой поры, когда слагались старшие гимны Риг-Веды (не позже средины 2-го тысячелетия до Р. Х.). Оттого она остается запечатленной книгой для масс, а немногие посвященные знают не все и не так, чтоб побеждать мир ведийским словом. Не бледней и не мертвей северное сиянье, оттого что играет в безлюдьи над ледяными просторами; — не мертва и не скучна Риг-Веда, хоть и не изучают ее, хоть и передают ее в ледяных, — тусклых и недостойных переводах. Пусть непереступной грядой залегли века и великие перемены между поэтами Риг-Веды и нами, пусть стали таинственны и невещественны словесные создания тех дней, — есть для непреклонных искателей часы, когда они «в новой красе оживают». Индийская эра в ходе нашей культуры, если она настанет за дружными усильями какого-нибудь поколенья ученых, — будет высоким ее подъемом. Так германская культура XIX века сложилась под индийским влиянием, так итальянское Возрождение имело опору в античности. В России покуда не наберется и десятка индианистов, работают они поодиночке, как забойщики в шахтах, — едва слыша друг друга.

2

Риг-Веда загадочный памятник, местами навсегда потемневший, необъяснимый. Но не исчерпать нам его содержательности.

Пока останется благородная страсть кочевать мыслью в заисторические, заморские и недоступные края, страсть исследовать бесполезное, почти никому не заманчивое, — все будет открываться в Риг-Веде новая и новая значительность.

«Шьрути», т. е. Внушенная—называют ее индусы. Символы Р.-В. — почти иероглифы, но не раз уже европейцы признавали в этой поэзии вдохновенное озаренье.

Нет гимна в Р.-В., который бы считался совсем непонятным. Довольно много отдельных стихов — без разгадки для нас. Прямая традиция была нарушена у индусов очень рано. И нельзя даже вполне уяснить, когда и как произошел ее разрыв.

Катастрофы политического порядка едва ли могли быть тому причиной. Мусульманское нашествие не было гибельным для ведийского преданья. Религиозные смуты имели скорей живительное значение. Именно распространение «ереси» буддизма и вызвало к жизни первый коментарий к Р.-В., надписанный именем Яски (относимый ведистами к V в. до Р. Х.), а полный упадок и затемнение «веры отцов» в суеверном сектанстве позднего времени — побудили к самому тщательному и полному исследованию и интерпретации Р.-В. в XIV веке после Р. Хр., — т. наз. коментарий Саяны и Мадавы.

Я назвал два туземных толкования Р.-В. Достоверно известны только эти два критических момента в ее традиции. Они разделены двумя тысячелетиями. Все пред-

шествующее и промежуточное поглощено этими двумя трактатами или исчезло, как ненужное после них в глазах индусов.

Невнятность вед, большая трудность изучения браминской науки о них, как указал еще Эжен Бюрнуф, обусловила зарождение и распространение скептических, рационалистических толков, обусловила успех проповеди Будды. В массе браминов — те, кому не по силам было изучение сложной системы Веданта, охотно становились его сторонниками. С другой стороны «вольнодумцы» — хулители вед — заговорили после Будды смелее и уверенней.

Так, один из противников Яска — Каутса отказывается исследовать Р.-В., т. к. смысл ее канонически предопределен брахманами и весь приурочен к культу. Но не стоило бы труда, полагает он, разгадывать значение ведийских мантр [1]), даже если б свобода исследования не была ограничена, т. к. в Р.-В. много противоречивого и невероятного. «То сказано: Один бог — Рудра и нет другого бога, — то: несчетны сонмы Рудр над землей. Есть наконец полная бессмыслица в некоторых стихах».

Нирукта, трактат Яски, служит показателем того, что в V веке до Р. Х. язык Р.-В. уже так отличался от тогдашнего литературного языка Индии (санскрита) что понимание ее зависело только от большей или меньшей верности и полноты преемственного толкования в браминских кругах. Замечания Каутсы свидетельствуют, что ритуальное приурочение всех гимнов Р.-В. было позднейшим и заметно (даже для индусов V в. до Р. Хр.) искажало преемство понимания их.

Яска ответил Каутсе знаменитым изречением: «Не виновата перекладина, коли слепой о нее лоб расшибет». Но при всей этой самоуверенности ортодоксального апологета он обнаруживает отсутствие непосредственного понимания в целом ряде случаев.

Если бы Яска составил полный коментарий к Р.-В., то мы силою современных научных методов объяснили бы ее всю в исторической перспективе, но Яске казалась загадочной только малая часть слов, немногие стихи. В основе его труда — старинные короткие перечни темных и устарелых оборотов речи в Р.-В. Его толкования имеют два базиса: языковое чутье тогдашнего санскрита (этимологические толкования) и брахманическая система мировоззрения (литургические толкования). Оба были шатки и превратны, но относительно ценны, — и мы были бы рады, если б он оставил больше своих замечаний.

В XIV в. нашей эры для той браминской академии, которую собрал для интерпретации вед Саяна, уже не отдельные стихи, а каждое слово Р.-В. требовало пространных объяснений, и многие места вызывали столько споров, что, перечислив ряд высказанных догадок, эта академия не находила и не указывала выхода из недоумения.

Сопоставление трактатов Яски и Саяны позволяет думать, что забвение смысла вед происходило незаметно и постепенно.

Какие-то домыслы всегда были, но с каждым веком они все более теряли свою языковую почву, преданье искажалось браминским церковничеством.

Только обаяние святости, величия Шрути уберегло немногие смутные древние идеи, т. к. в среднем — содержание Р.-В. для каждого поколения определялось семантикой живой речи, а за 3000 лет — ко временам Саяны — едва ли половина речевых элементов Р.-В. имела хотя бы параллельные рефлексы в санскрите. Полных совпадений вовсе не было.

Академия Саяны силилась отрешиться от этой семантической модернизации вед, но далеко не всегда могла это сделать.

3

Восстановление Р.-В. в ее начальном виде и смысле, — раскрытие истории ее образования, канонизации и позднейшей судьбы — одно из великих дел европейской науки.

Здесь не место рассказывать о ходе развития ведийской филологии, — укажу только на двух ученых, которые силой мысли, изумительными достижениями затмевают всех остальных.

Это Рудольф Рот и Абель Бэргэнь.

Рот блестяще начал историческое освещение Р.-В., с несравненным тактом использовал и данные сравнительного языкознания и методы классической филологии для составления толкового словаря к ведам, открыл смелой мыслью превратность туземных коментариев и выделил — что было ценно в них, наконец в переводах поздних своих лет дал образцы научной интуиции и поэтического мастерства.

---

[1]) Т. е. двустиший; почти что с тех пор Р.-В. заучивалась не гимнами, а отдельными двустишиями.

Абель Бэргэнь был единственным конгениальным критиком и продолжателем дела Рота. Он превосходно доказал сложность, замысловатость, утонченность ведийской идеологии и указывал на изысканность формы. Примитивистическому толкованию Р.-В., как памятника натуральной мифологии, он противопоставил утверждение, что «литургический элемент в гимнах является наиболее важной стороной для их экзегезы». (La Religion Védique. t. III. p. 227).

В его научных построениях немало преувеличений, излишней (почти индусской) симметрической схематизации, но он умел разгадывать тайны Р.-В. больше и лучше, чем позднейшие его немедкие противники.

Наиболее известный среди них, Герман Ольденберг, много написал о Р.-В., но лишь заглушил славу предшественников и задержал развитие ведийской филологии, остановившись на позиции шестидесятников, не усвоив прозорливых суждений Бэргэня, не имея его власти и удачи в распоряжении ведийским материалом для научных реконструкций. Р.-В. осталась Ольденбергу роковым образом чужда и глуха, а работы его мало плодотворными.

Из сказанного можно заключить, что научным призванием нынешнего поколения ведистов надо считать разработку вед теми методами и с таким общим пониманием, которое будет близко к Бэргэню; с другой стороны необходимо дать русскому читателю переводы из вед в роде тех, какие дали Германии Рот и его школа, т. е. переводы, достойно отражающие богатую поэтическую содержательность ведийских гимнов, их строгую величавость и вещую простоту.

ВАТА

(Ветер). Риг-Веда, X. 168.

1 Гул Ветра слышен — колесница мчится,
Грохочет в небе, словно тверди рушит,

Багряный отблеск облака колышет,
Земля окутана клубами пыли.

2 За Ветром — вихрем пролетают тени,
То духи свиты понеслись за Бурным,

Так на свиданье пробегают девы...
— Умчался грозный повелитель мира.

3 В путях небесных кругобежный Ветер
Ни днем, ни ночью не замедлит лёта;

Перворожденный — он лелеет воды...
Но где родился и пришел откуда?

4 Богов дыханье и всей твари лоно —
Где хочет веет этот дух привольный.

Раскаты слышим, — но не видим лика.
В Огонь мы Ветру проливаем жертву.

МАРУТЫ

(Демоны бури). Р. В., I. 85.

1 Как женщины они красно́ разубраны,
Кудесники — конями мчатся по́ небу.

В созданьи мира помогали Ма́руты,
У алтарей теперь пируют весело.

2 Вот близятся все выше, выше по́ небу,
Престол себе поставят дети Ру́дровы,

Разбудят песнями отвагу ярую...
Родила их от Рудры Туча-Радуга.

3 Сияют в темных облаках доспехами,
Надевши латы, в грозный бой проносятся;

Победно гонят тьмы своих противников,
А вслед струится дождь, как дар на жертвенник.

4 Могучие бойцы сверкают копьями,
— Недвижные вершины гор колеблются;

Впрягают ланей в колесницы быстрые
И мчатся вихрем с буйным стадом облачным.

[illegible] Сюда скорей неситесь, правьте ланями,
— Пусть мечут выше крыльями-копытами...

Спускайтесь, ба́ргиш [2]) вам разостлан ковриком,
Испейте тут медвяной браги, Ма́руты.

7 Вот выросли в громады необ'ятные,
Все небо заняли твердыней грозною.

За ними Ви́шну — в помощь Индре ярому...
Как стадо птиц, на ба́ргиш опускаются.

---

[1]) 5-я строфа представляется нам вставкой (как еще 9-я и 12-я); по содержанию она не вносит ничего нового, по размеру инородна:

Когда впрягли вы пестроцветных ланей,
Шатнулись в битве грозовые скалы,
И ливни на-земь из багряной тучи
Струятся, словно бурдюки развязались.

[2]) Ба́ргиш — трава, которой устилали жертвенник.

8 Богатырям они подобны удалью
— Так ищут славы боевой отвагою.

В испуге вся земная тварь от Ма́рутов,
Не смеем глаз поднять пред ликом царственным.

10 [1]) Родник ударом мощным в небе высекли,
Незыблемую гору там порушили.

Звучат в грозе свирели щедрых Ма́рутов,
Хмельные в бой они выходят с пиршества.

11 Извилистый ручей внезапно выбежал,
Вы воду пролили пред жадным Го́тамой,

На зов его явились лучезарные
И жизнь спасли певцу изнемогавшему.

[12 [2]) Кто жертву правит — под охраной вашей,
Блюдете праведных и в третьем мире,
И нам покров свой над землей прострите,
Пошлите счастье — многочадье дому].

СУРЬЯ

(Солнце). Р. — В., I. 115.

1 Восходит светлый, богоданный облик,
— То око Митры, Ва́руны и А́гни.

Земля и Небо и простор меж ними
Полны от Солнца благодатью жизни.

2 За Девой Утра — лучезарной Ушас —
Проходит Солнце, как жених к невесте.

---

[1]) 9-я строфа — вставка:

Как сделал Тва́штар мо́лонью из золота,
Ей тысячу зубцов искусник выточил,
Схватил могучий Индра эту палицу,
Убил дракона Вритру, воды выпустил.

[2]) 12-я строфа — шаблонная концовка, едва ли принадлежит архетипу: здесь снова (как 5-я строфа) перемена ритма.

Там сонмы духов и святые риши
Коней впрягают, совершают службу.

3 Помчались в гору золотые кони,
В хмельном разбеге с крутизны сверкают.

— В притине медлят, — это час намаза,
Но путь двумирный пробегут сегодня.

4 Свой полог черный не доткала ночка,
Могучий Сурья недотканный сбросил.

Но вот помчались от притина кони,
И ночь покров свой простирает снова.

5 Прекрасно Солнце в предзакатной славе
Все Трое Вечных созерцают землю:

И рдяный пламень, и сиянье неба,
И темный отблеск на конях светила.

6 Сегодня также появитесь боги,
От бед и чар обороните верных!

О Митра — Варуна, подайте помощь,
Земля и Небо, Океан и Вечность!

РАТРИ

(Ночь). Р. В., X. 127.

1 Подходит ночь, глядит на нас
Несметными зеницами,
— Надела бусы — жéмчуги.

2 Тобою полны, Вечная,
Долины все и глубь небес,
— Рассеешь мрак мерцаньями.

3 Под вечер багряницею
Сестру — Зарю одела ты,
— Тьма налетала óпрометь.

4 Всё та же ты, не в первый раз
С полей зовешь работников,
— Как птицы в лес слетаются.

5 Село гурьбой наполнилось,
Бредут коровы, гуси тут,
— На скалах в гнездах беркуты.

6 Волков от стад отваживай,
Блюди нас от разбойников,
— Будь матерью колышащей.

7 Нависла темень черная,
Узоры блещут звездные,
— Приди, Заря желанная!

8 Как стадо, победившему,
— Хвалебный гимн пропели мы.
О Дочь небес, прими его!

ВИШНУ

(Мпроздатель). Р. В., I. 154.

1 Деянья Вишну я хочу прославить,
Он смерил солнцем над землей просторы,

Он твердь уставил для второго неба,
Тремя шагами он весь мир обходит.

2 Так пусть же Вишну величают люди,
Как зверь нагорный он неслышно бродит.

Лишь трижды ступит — и весь круг вселенной,
И всё живое в трёх шагах вместилось.

3 И пусть несется это пенье к Вишну,
Что в горнем небе далеко проходит,

Что в трех стояньях золотою меркой
Измерил длинную земную область.

4. Полны три мира благодатным мёдом,
Не иссякают в них услады Вишну;

Два светлых неба и просторы дола
Один он держит, — Вседержитель мира.

5. Прими в блаженную обитель неба,
Где предков радостью поишь нездешней,

Ведь там — в последнем занебесном шаге
Родник медовый — вечный брат твой, Вишну.

6. К тебе и солнцу вознесётся дух мой,
Там круторогие быки бушуют,

Там горний шаг твой, Дальнолетный Буйвол,
Сияет ярко — в запредельной выси.

ВАРУНА

(Всевидящее око ночного неба). Р. В., VII 87.

1. Солнцу путь открыл ты в небесном поле,
Всем рекам бурливым пробил дорогу,

Правишь резвым бегом потоков к морю,
Русло дней предвечное ты размерил.

2. Дух твой — Ветер — в темном лугу бушует
Словно стадо по выгону бродит с рёвом...

Все миры меж граней — земли и неба —
Тешат взоры Варуны красотою.

3. Звёзд отряды Варуне верно служат,
Оба мира звёзды пройдут дозором,

Мудрых Риши светлые души в небе,
Тех, что пели гимны святые богу.

4. Мне поведал Варуна тайну веры:
Трижды семь имен Заповедной было.

Кто волшебные тайны слов постигнет,
— Пусть хранит от всех — и в ученьи скроет.

5. Три незримых неба вверху над сводом,
Три земли внизу шестигранных знаем,

Бог — художник, Варуна сделал это:
Двух светил золотых в синеве качели.

6. В тёмном Инде словно все небо тонет,
Светлой каплей канул летун могучий...

В безднах вод и на небе — ты, Владыка,
Славно царствуешь в этом зримом мире.

7. Он прощает грех преступившим правду.
Будем ныне мы перед ним безгрешны!

Верны воле Адиты — вы блаженны.
Счастьем нас всегда одаряйте, Деды [1]).

К ВАРУНЕ

(Небесному Судье). Р. В., VII. 89 [2]

1. Не дай погибнуть, Ва́руна,
Сойти в могилу темную, —
Помилуй, боже, смилуйся.

2. Едва бреду — шатаюсь я,
— Бурдюк надутый с брагою —
Помилуй, Горный, смилуйся.

3. Затмился верно разумом,
— Твою забыл я заповедь —
Помилуй, боже, смилуйся.

4. Средь вод стою бес помощи,
Сгораю, мучим жаждою —
Помилуй, боже, смилуйся.

5. Когда мы, смертные, что-нибудь грешное
Противно промыслу божьего племени
В безумьи делаем, нару́шив запове́дь,
— Не дай погибнуть за грех этот, Варуна!

ПУШАН

(Сельский скотий гений. Кочевое и земледельческое божество). Р. В., I. 42.

1. Исходи дороги, Пу́шан,
Отведи беду, Спаситель,
— Впереди нас ты пройди!

---

[1]) Последний стих — шаблон, встреч. в Р. В. 80 раз, как концовка.

[2]) Вопреки обычному комментарию немецких ученых, я полагаю, что это гимн бражника, а не «молитва больного водянкой». Доказать это возможно.

2. Там Нечистый — волком, Пушан,
Нам грозит, — подстерегает,
— Ты столкни его с дороги!

3. И разбойника, что копит
Грабежом бесчестным прибыль,
— Угони с пути подальше!

4. Всех лукавых козней вражьих
Отврати лихую силу,
— Затопчи ты стрел их пламень!

5. Просим той твоей защиты,
Что спасала наших дедов.
— Чародей ты славный, Пушан.

6. Ты богат, всегда с победой
Золотой бердыш твой в битвах.
— Дай и нам добычи легкой.

7 Мимо всех засад, погони,
Дай счастливо нам пробиться,
— Вразуми нас, мудрый Пушан.

8 По кочевьям плодородным,
Где не бродят лихорадки,
— Проведи нас, мудрый Пушан.

9 Помогай рукою щедрой,
Дай в обильи хлеб насущный,
— Вразуми нас, мудрый Пушан.

10 Да не гневается Пушан,
Величаем громко гимном,
— О сокровищах мы молим.

ПУШАН

Р. В., VI, 54.

1 Приведи нас к тароватым,
Пусть обучат всем ремеслам,
— Пусть покажут: Делай так!

2 Встретить Пушана хотели б,
Он починки [1]) назначает,
— Скажет: В этих поселяйтесь!

3 Слому нет его колесам,
Крепко он приладит кузов,
— Не вихляются ободья.

4 Кто ему приносит жертву,
Пушаном забыт не будет.
— Первый он собрал богатства.

5 Пусть обходит Пушан стадо,
Пусть табун постережет нам,
— Даст отраду и питанье.

6 Кто на жертвенную брагу
Не жалел своих достатков,
— Тех блюди, и нас—жрецов.

7 Чтоб скотина не пропала,
Чтоб в ущелье не сорвалась,
— Приведи нам целым стадо.

8 Ты услышал зов наш, Пушан,
Всех достатков охранитель,
— Пред тобой мы, щедрый бог.

9 Мы блюдем твои заветы,
Сохрани нас от напастей,
— Здесь хвалы твоей певцы.

10 Лишь протянешь ты десницу,
Запредельного достигнешь,
— Нам ушедших возвратишь.

ИЗ АТАРВА-ВЕДЫ

(Заговоры)

НАД БЕЗУМНЫМ

А. В., VI, 111.

1 Избавь мне, Агни, страждущего человека,
Вот здесь он связанный, опутанный бормочет.

[1]) Поселки.

Тотчас бы он принес тебе большую жертву,
Когда бы не был он безумен.

2 Утихнешь ты по воле Агни,
Напрасно дух твой возбужден,

— Умело правлю врачеванье,
Чтоб не был ты безумен.

3 За грех лежишь ты невменяем,
Игрою бесов — без ума.

— Умело правлю врачеванье,
Чтоб не был он безумен.

4 Пусть Апсары вернут тебя,
Пусть Индра нам отдаст тебя,

Все боги разум пусть вернут,
Чтоб не был ты безумен.

ОТ ЧАХОТКИ

А. В., VI. 105.

1 Как дух бесплотный над землей
Падучею звездой летит, —

Так прочь умчись ты, кашель злой,
По горшему тому пути!

2 Как стрел пернатых жуткий рой
К врагу стремительно летит, —

Так прочь умчись ты, кашель злой,
В простор земной!..

3 Как солнца ярые лучи
Несутся вдаль всего быстрей, —

Так прочь умчись ты, кашель злой,
По лону гладкому морей.

Перевел с санскритского
Б. Ларин

1923 г.

ШАНФАРА

ПЕСНЬ ПУСТЫНИ

До-исламская поэзия арабов мало доступна и малопривлекательна для европейского читателя, подходящего с обычными эстетическими запросами. Большая трудность языка, обусловленная отчасти лексическим богатством, в котором и теперь исследователи нередко теряются, действует устрашающе даже на ученых. Усилия, которые приходится затрачивать для непосредственного понимания, настолько велики, что по ироническому замечанию одного исследователя, парализуют всякое эстетическое восприятие. Нет в древне-арабской поэзии и тех черт, которые читатель привык соединять с понятием «восточной» поэзии — нет «знойной южной» фантазии, нет смелых метафор и синекдох, нет изящного чувства Хафиза, нет и философской гедоники Омара Хайяма. Только сравнения и эпитеты роднят эту поэзию с привычным нам «восточным» стилем.

И сила, и слабость ее единственно в том, что она с фотографической точностью отражает все стороны жизни арабского племени с окружающей его природой. Более четкий и мелкий рисунок трудно найти в поэзии других примитивных народов; здесь для него выработана особая композиционная форма, остающаяся незыблемой уже с самого древнего периода, до которого может проникнуть наш исследовательский взор. Насколько разноречивы отзывы об эстетическом значении древне-арабской поэзии, настолько единогласно она признается важнейшим и авторитетным источником для характеристики арабского народа и его быта в эту эпоху.

Источник этот очень богат. Арабская литературная традиция сохранила нам несколько сборников, составленных из произведений этой эпохи, и целый ряд отдельных стихотворений. Особой популярностью пользуются на востоке с VIII века, в ученой Европе с XVIII-го, так называемые «муàлляки» (подвешенные-нанизанные-отборные); они составляют свод в семь (или по другим редакциям в девять и десять) крупных произведений одного типа. Кроме формы их сближает и то обстоятельство, что все они принадлежат поэтам, высоко ставящим племенной принцип, защитникам родовой чести, певцам ее славы. И с этой точки зрения особый интерес приобретает другое стихотворение, которое арабы ценят не меньше муаллак по его поэтическому достоинству. Это так называемая «арабская лямийя» (т. е. пьеса с рифмой на *л*), которая приписывается Шàнфаре.

В противоположность авторам муàлляк Шàнфара—отщепенец от племени, «изгой»; он порвал связь со своим родом и живет свободной одинокой жизнью среди четвероногих и пернатых обитателей пустыни. Его появление несет ужас и смерть в бедуинские кочевья; сам он смеется над пастухами и домоседами. Все его произведение — мозаика на единую тему «жизнь изгоя в пустыне»; оно проникнуто уже не родовым патриотизмом, а силой порвавшей с ним личности и своеобразной «хвалой пустыне», давшей приют изганнику. О жизни его, относящейся повидимому к VI веку, нам ничего неизвестно, кроме легендарных подробностей. Предание говорит, что и перед

кончиной он остался верен себе. Захваченный в плен врагами, чувствуя неминуемую смерть, он произнес свое знаменитое завещание:

Не хороните меня, ведь хоронить меня вам запрещено! Но обрадуйся ты, мать жилья![1])

Когда унесут мою голову[2]) — а в голове моя большая часть — и покинуто будет на месте схватки все оставшееся от меня,

там не буду я надеяться больше на радостную жизнь, до конца ночей проклинаемый за преступления.

Арабы, повидимому, не знали близко Лямийи до конца VIII века: это заставило нескольких ученых предполагать, что произведение только приписано Шанфаре, а на самом деле сочинено одним ученым филологом около того времени, с которого оно становится известным. Не говоря однако о том, насколько трудно предположить у горожанина-книжника такое хорошее знание условий примитивной жизни в пустыне и ее непосредственное восприятие, даже и установление подделки не могло бы изменить нашего отношения к памятнику. Мы должны согласиться с парадоксальным на первый взгляд мнением о том, что и подделку надо в данном случае считать памятником древности; она исполнена лицом, настолько хорошо проникшим в дух арабской древности, что у него не может быть ни одной детали, противоречащей исторической и психологической верности. На этом выводе можно примириться, тем более, что последний исследователь этого произведения считает его подлинным.

Работа этого исследователя появилась уже во время войны[3]) и послужила главным толчком к напечатанию русского перевода, давно подготовленного для сборника образцов древне-арабской поэзии. Филологический перевод не претендует на самостоятельное художественное значение, прежде всего потому, что он исполнен прозой и ни в какой мере не передает форму оригинала. Размер подлинника, несмотря на производившиеся опыты, слишком необычен для русского языка; кроме того и крупному поэтическому таланту едва ли удастся выдержать на пространстве 68 стихов одну и ту же рифму, как это имеет место в оригинале. Переводчик желал только предоставить читателю не всем доступный оригинал в возможной близости, чтобы дать почувствовать аромат арабской оболочки сквозь русскую передачу. Чтобы не перегружать перевод скобками со вставными словами, в некоторых стихах пришлось прибегнуть к пояснительным примечаниям, вынесенным в конец.

Переводчик хотел бы надеяться, что его работа послужит опорой для поэта, который пожелает воплотить «песнь пустыни» в русских стихах; не лишне напомнить, что без точных переводов Сильвестра де Саси и Сенковского немыслимо было бы появление художественной обработки Мицкевича (1828 г.), которой скоро исполнится сто лет.

Кроме упомянутой уже последней, подводящей итоги работы, переводчик пользовался конечно и всей доступной ему в Петрограде обширной литературой о произведении Шанфары, как на арабском, так и на европейских языках. На русском — перевод с подлинника появляется впервые; только в эпоху «восточного романтизма» в России 30-х — 40-х годов печатались несколько раз обработки польского перевода Мицкевича.

---

[1]) Мать жилья — Умм Амир, иронический эпитет гиены, живущей в развалинах и в безлюдных местах.

[2]) Голову враги заберут как трофей.

[3]) Schanfara-Studien von Georg Jacob, 1. und 2. Theil. München, 1914 — 1915.

* *
*

1| Выпрямите грудь ваших животных, сыны моей матери: ведь я больше склоняюсь к другой семье, не к вам!

Готово все нужное и ночь лунная; подвязаны для пути и животныя, и седла.

Жизнью твоею клянусь — есть на земле убежище для обиды человеку благородному; есть на ней уединение для того, кто страшится ненависти.

Жизнью твоею клянусь — на земле не тесно человеку, который двинулся в путь ночью с желанием или страхом, сохраняя разум.

5| У меня ближе вас есть семья: неутомимый волк, пятнистый, короткошерстый и гривастая вонючая.

Они — моя семья: врученная им тайна не разгласится, а преступник не будет покинут за то, что навлек своим преступлением.

Каждый из них непокорен и храбр, но я их храбрее, когда показывается первый отряд тех, кто будет прогнан.

А если протянутся руки к запасу, я не быстрее их, когда самый алчный из людей оказывается самым торопливым.

И это только превосходство от стремления быть лучше их: лучшим бывает ведь стремящийся к этому...

10| Заменили мне утрату тех, кто не воздает за благодеяния, в близости с кем нет утехи,

— трое друзей: сердце пылающее, белый обнаженный и желтый длинный,

звучащий — из тех, что с гладкою поверхностью; разукрашивают его прикрепленные к нему ремешки и перевязь.

Когда соскочила с него стрела, он стонет как пораженная утратой, лишившаяся детеныша, которая кричит и вопит...

Я не истомленный жаждой, который пасет свое стадо поздно вечером; верблюжата у него плохо накормлены, хотя у верблюдиц и не перевязано вымя.

15| Я и не слабосильный трус, который постоянно сидит при жене, расспрашивая ее о своем деле, как ему поступить, —

и не припавший к земле страус, сердце которого точно жаворонок поднимается и опускается, —

и не остающийся позади домосед-любезник, который и утром, и вечером расхаживает умастившись и сурьмится.

Я не бездельник, у которого зло раньше добра, неумелый, что вскакивает безоружным, если ты его испугаешь.

Я не страшусь темноты, когда на пути перепуганной мчащейся наугад встает бездорожная грозная.

20| Когда каменистые кремни встречают мои копыта, разлетаются от них выбивающие искры и раздробленные.

Я затягиваю отсрочку голоду так, что умерщвляю его; воспоминание о нем я ударяю по боку и не обращаю больше внимания.

Я глотаю прах земли, лишь бы кичащийся благодеяниями не считал за собой благодеяний для меня.

А если бы не уклоняться позора, то не нашлось бы питья, при котором пируют, или пищи ни у кого, кроме меня.

Но душа свободная не останавливается со мной над позором, без того, чтобы я сейчас же не удалился.

25| Я скручиваю при голодовке кишки, как скручиваются нити искусника, которые свертывают и свивают.

Я бегаю по утрам и при скудной пище, как бегает поджарый темно-серый, которого передают друг другу пустыни.

Утром с подведенным животом он голодный состязается с ветром; он забегает в хвосты ущелий и мечется.

И когда пища его выводила там, где он искал ее, он воззвал и ответили ему похожие на него, тощие,

как молодой месяц, седомордые, — точно стрелы в руках игрока в мейсир, которые пошевеливаются,

30| — или вспугнутый улей, в котором разогнали рой деревянные дощечки, запущенные высоко поднявшимся собирателем меда.

Широкопастые, большеротые — углы пасти у них точно щели бревен, с оскаленными зубами хмурые.

Он завопил и они завопили на долине; он с ними точно плачущие на холме, утратившие своих детей.

Он замолчал и они замолчали; он утешился и они утешились — бедняки, которых он утешает и его утешают бедняки.

Он жалуется и они жалуются, потом он перестал и они перестали — ведь терпение, если не помогает жалоба, лучше.

35| Он вернулся и они вернулись торопливо; каждый из них ведет себя бодро и при тягости, которую пытается скрывать...

Только остатки от меня пьют пепельные ката после того, как они пролетели в темноте ночи, а внутренности их бурчали от жажды.

Я замыслил нечто и они замыслили тоже и мы устремились: они уже опустили свои крылья, а в моем лице подбирал подол опережающий, не торопящийся.

Я ушел от них, а они припали тогда на край водоема; и подбородки, и зобы их вплотную прикоснулись к воде.

Их шум по краям водоема и вокруг — точно сборище путников из разных племен, которые останавливаются на привал.

40| Они собрались к нему с разных сторон; он объединил их, как водопой объединяет стада разных кочевий.

Они напились немного, а потом умчались точно караван на заре из Ухазы, торопливый...

Я льну к лику земли, растягиваясь на ней сгорбленной, которую вытягивают покрытые кожей позвонки;

я подкладываю исхудалую с суставами точно кости, что расставил игрок и они стоят стоймя...

Если и огорчена Шàнфарой Умм-Кàсталь, то ведь дольше она благоденствовала от Шанфары прежде.

45| Гоним он преступлениями, которые по жребию разделили его мясо, гадая, кому из них достанется он раньше в добычу.

Пока он спит, они спят с бодрствующими веками, торопливо спеша причинить ему неприятное.

И друг он забот, которые не перестают его навещать повторно, как четырехдневная лихорадка; еще тяжеле они.

Когда они спускаются к водопою, я их отвожу, но они снова возвращаются и приходят и снизу и сверху.

Если ты и видишь меня похожим на дочь песка под солнцем в жалком положении босым и без сандалий, —

50| то ведь я владыка терпения; я облекаю его одеяние на то, что подобно сердцу волчье-гиеньего ублюдка, а благоразумие беру как сандалию.

По временам я нуждаюсь, по временам богатею, но ведь достигает богатства только далеко смотрящий, прилагающий усилия.

Я не печалюсь открыто от бедности и не радуюсь, горделиво выступая под богатством.

Безумства не пересиливают моей сдержанности: меня не увидят расспрашивающим о последствиях толков и сплетничающим.

Не в одну злосчастную ночь, когда владелец сжигает свой лук и стрелы, которыми он запасся,

55| я шел под мраком и дождем, а моими спутниками был холод, голод, страх и дрожь.

Я вдовил жен и сиротил детей, и вернулся, как и начал, а ночь была еще темнее.

И на утро в аль-Гумéйса были две толпы: одну расспрашивали, а другая спрашивала про меня.

Они говорили: «Ночью заворчали наши собаки и мы сказали — рыскает волк или рыскает гиененок?

Но это был только один звук, а потом они задремали и мы сказали — вспугнули верно кàта или вспугнули сокола!...

60| Если он был из джиннов, то великую беду натворил придя ночью, а если он был человеком... Но ведь похожего на это не сделает человек!»..

Не в один день, когда при Сириусе тает паутинка в воздухе, когда ехидны ворочаются на песке,

я выставлял навстречу ему свое лицо и перед ним не было никакого покрывала, никакой завесы, кроме полосатой рваной ткани,

кроме длинных, которые разлетаются прядями с боков, когда подует ветер, не расчесанных.

Долог срок, что к ним не прикасалася мазь и не искали в них насекомых; на них кора, которую не смывали уже год...

65| Не одну пустыню, голую как поверхность щита, я пересекал двумя работницами — такую, поверхности которой еще не касались.

И начало ее я объединял во взоре с концом, поднявшись на вершину, то на корточках, то прямо.

Кругом меня бродят рыжеватые козы, точно монахини, на которых плащи с длинным подолом.

А вечером они успокаиваются вокруг меня точно и сам я из горных козлов, с загнутыми назад рогами, который взбирается на скалы и прячется в них...

Перевел с арабского
И. Крачковский

ПРИМЕЧАНИЯ

Стих 1. Поэт говорит о верблюдах, которые при нагрузке опускаются на землю; выпрямить грудь верблюда — поставить его на ноги. Племя поэта откочевывает, сам он, разрывая с ним, остается на старом месте.

Стих 5. «Пятнистый, короткошерстый» — леопард, «гривастая, вонючая» (по другим комментариям — прихрамывающая) — гиена.

Стих 11. «Белый обнаженный» — меч, «желтый, длинный» — лук.

Стих 14. Когда верблюжат отлучают от матки, верблюдицам перевязывают вымя.

Стих 16. Страус в арабской поэзии считается трусом; от страха сердце бьется [illegible] сильно, что кажется будто оно зацепилось за дрожащие крылья жаворонка.

Стих 18. «Зло у него раньше добра» — на долю людей от него достается только первое.

Стих 19. Эпитеты относятся к верблюдице и пустыне.

Стих 20. Поэт говорит «мои копыта» вместо «ступни моего верблюда», которые при быстром беге разбрасывают во все стороны осколки камней.

Стих 22. Я готов есть землю, чтобы не быть никому обязанным.

Стих 23. Герой мог бы при желании присвоить себе все богатства.

Стих 26. «Поджарый, темносерый» — волк.

Стих 27. «Хвосты ущелий» — высохшие русла потоков, устремлявшихся с гор в лощину.

Стих 29. Мейсир — азартная игра на мясо верблюда, где отмеченная определенным знаком стрела получала определенную долю.

Стих 30. Дикие пчелы гнездятся обыкновенно высоко в скалах.

Стих 36. Поэт быстрее достигает водопоя, чем птицы ката (pteroclidurus alchata), хотя они устремляются в одно время.

Стих 37. Птицы, напрягая все усилия, устали, а Шанфара, опережает их не торопясь.

Стих 41. Ухаза — местность на границе с Йеменом, южной Аравией.

Стих 42 — 43. Поэт ложится для отдыха спиной на голую землю, подкладывая вместо подушки руку.

Стих 44. Имя Умм-Каталь не ясно; некоторые исследователи хотят видеть в нем имя женщины близкой Шанфаре, к которой он обращается и в стихе 49-м; другие, вслед за арабскими комментаторами, толкующими слово «каталь», как пыль, видят в эпитете «Мать пыли» наименование войны.

Стих 45. Преступления поэта олицетворяются в виде игроков, гадающих в «мейсир» о судьбе Ша̀нфары, который обречен им в жертву.

Стих 49. «Дочь песка» — страус, по толкованию некоторых арабских комментаторов — змея или антилопа.

Стих 50. Ублюдок волка и гиены считается у арабов символом особой чуткости.

Стих 54. Ночь была так холодна, что стрелок жег на костре лук и стрелы, лишь бы согреться.

Стих 57. Аль-Гумэ̀йса, кочевье, на которое Ша̀нфара совершил нападение.

Стих 60. Раззорение, причиненное Ша̀нфарой, может быть приписано только сверхестественной силе — духу «джинну».

Стих 61. С периодом появления Сириуса связан период жаров.

Стих 63. «Длинные, не расчесанные» — волосы.

Стих 65. «Две работницы» — ноги.

ДАНДИН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСЯТИ ПРИНЦЕВ

(Продолжение [1]*)*

Глава третья

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЕВИЧА УПАХАРАВАРМАНА.

Странствуя по разным местам в поисках за тобою, как-то раз я зашел на свою родину в царство Видеха. Немного не доходя до города Митила, я остановился для отдыха и завернул в небольшую находящуюся вблизи города обитель. Там старая монахиня дала мне воды для омовения ног, и я на время расположился на террасе храма. Но не успела она в меня всмотреться, как слезы по неизвестной причине ручьем потекли из ее глаз.

«Мать моя! Что это такое? — спросил я. — Скажи из-за чего ты плачешь?»

Она с нежностью посмотрела на меня и отвечала:

РАССКАЗ МОНАХИНИ.

«Дорогой сын мой! Ты наверное слышал о царе нашем Прахараварман а. Слышал и то, что его величайшим другом был Раджаханса, царь Магады.

Необыкновенно дружны были между собою также и их жены, Васумати и Приямвада. Их дружба была так же тесна, как легендарная дружба двух демонов, Бала и Шамбала. И вот, когда Васумати, царица Магады, в первый раз разрешилась от бремени, то Приямвада захотела посетить свою любимую подругу и поздравить ее с радостным событием. Вместе со своим мужем она отправилась в Пушпапур, столицу Магады. Как раз во время их пребывания там произошло большое сражение между царем Магадским и его восточным соседом, царем страны Малава.

Первый из них едва не отправился на тот свет, а помогавший ему Прахараварман, наш царь Митилийский, остался в живых только благодаря личному вмешательству царя победителя, царя Малавийского.

[1]) См. журнал «Восток», № 3.

Когда он на обратном пути достиг пределов своего царства, то оказалось, что царская власть там уже захвачена его племянниками, Викатаварманом и его братьями, сыновьями старшего его брата Санхаравармана.

Тогда он решается обратиться за помощью к другому племяннику, сыну своей сестры, царю Сухмийскому, с тем чтобы взять от него отряд войска и с его помощью вернуть себе трон. Однако по дороге туда он очутился в безлюдной лесной местности и подвергся нападению разбойников, которые его ограбили дочиста. У меня на руках был тогда ребенок, его младший сын.

Испуганная целой тучей стрел, которые посыпались на нас со стороны разбойников, я побежала и очутилась в конце концов одна среди дремучего леса. Тут я наткнулась на тигра, раздиравшего труп павшей коровы. Как только он хотел схватить меня в свои когти, я упала и уронила ребенка случайно как раз на труп убитой тигром коровы. Тигр уже потянул к себе труп вместе с ребенком, но в это время стрела, пущенная одним из разбойников, в один миг сделала его бездыханным. Ребенка взяли к себе дети лесных разбойников. Я же пролежала некоторое время в забытьи, затем меня подобрал какой-то пастух и доставил в свой шалаш. Он пожалел меня, вылечил мои раны, я поправилась и захотела вернуться к своему царю. Но я не знала, как это осуществить, и томилась в одиночестве. В это время к тому месту, где я жила, пришла моя родная дочь вместе с каким-то молодым человеком. Увидав меня, она громко зарыдала. Когда же она выплакалась, то принялась рассказывать мне все то, что произошло с нею, после того как был разграблен царский караван. Оказалось, что находившийся на ее попечении другой царевич также попал в руки разбойников, ее же также вылечил от ран какой-то лесной житель, который, когда она выздоровела, пожелал на ней жениться. Она резко ему отказала, боясь осквернить себя союзом с человеком низшей касты. Тогда тот рассердился и хотел было уже в уединенном месте, в лесу, отрубить ей голову. Но случайно там оказался вот этот молодой человек, который убил злодея.

«Тогда я вышла замуж за моего спасителя. Молодой человек этот, мой спаситель, когда я стала его расспрашивать, оказался не кем иным, как чиновником, состоящим на службе у нашего же царя Митилийского. Он странствовал по служебным поручениям и в это время возвращался домой чрез эту местность».

Вместе с ними и мы вернулись домой, и, придя к царю, рассказали ему о судьбе его детей. (Каждое наше слово) обжигало огнем острого страдания слух царицы Приямвады. Что касается царя, то судьба не была ему благоприятна. Война его с племянниками, сыновьями старшего брата, затянулась. Наконец он, не вытерпев, неосторожно ввязался в большое сражение и после продолжительной ожесточенной битвы был взят в плен.

Царица, его супруга, также была заключена в тюрьму. Все это произвело на меня настолько тяжелое впечатление (что жизнь мне опроти-

вела). Однако я была уже настолько стара, что сознательно лишить себя жизни не могла решиться.

Тогда я пришла жить сюда, в эту обитель. Дочь моя, напротив, под влиянием всех этих несчастий (переменила господ) и поступила на службу к старшей жене нового царя Викатаварманa, царице Кальпасундари. Что же касается обоих царевичей (похищенных разбойниками), то если бы они росли без дальнейших злоключений (и находились в живых), — то они должны были бы быть теперь как раз твоих лет. Ах, если бы только они были живы! Тогда царь наш (их родитель) не подвергался бы такому насилию со стороны своей родни, которой достался его трон».

Рассказав это, она в глубоком горе принялась рыдать.

ПЛАН УПАХАРАВАРМАНА.

Под влиянием рассказа монахини у меня тоже поднялись слезы в горле, и я открылся ей (приказав никому не выдавать) тайны.

«Если это так,—сказал я,—то успокойся, мать моя! Вспомни-ка после того, как над тобой стряслась эта беда, ты ведь встретила одного отшельника и просила его постараться отыскать пропавшего ребенка и спасти его. Он же действительно нашел и воспитал его. Это очень длинная история! Но стоит ли ее рассказывать? (Это неинтересно. Но вот что важно:) тот ребенок — это я; я здесь, и я, конечно, был бы в состоянии тем или другим путем добраться до Викатаварманa и убить его! Однако дело в том, что (вслед за ним кандидатами на престол явятся) целый ряд его младших братьев, которые будут поддержаны городским и сельским населением. Про меня же никто решительно из здешних не знает, кто я такой. Даже родители мои обо мне ничего не знают: стоит ли говорить о других? Поэтому нужно обделать это дело планомерно!»

Тут старуха снова разрыдалась, обняла меня и несколько раз поцеловала в голову, из грудей у нее от волнения показались капли молока, и прерывающимся голосом она сказала:

«Дитя мое дорогое! Живи долго, будь счастлив! Очевидно, теперь владычица-судьба стала к нам благосклонна. Уже с самого сегодняшнего дня царство Видеха стало принадлежать Прахараварману (своему законному царю), так как (такой молодец, как) ты, расправляет свои крепкие руки и принимается сегодня же за то, чтобы спасти его из беспредельного океана горя! Какое счастье для царицы Приямвады, твоей матери!»

И, вне себя от радости, она принялась ухаживать за мной, дала мне умыться и покормила меня. Когда наступила ночь, я выбрал себе местечко в той же обители, устроил себе ложе из цыновок и лег спать. Ночью мне в голову пришли такие мысли: «Без хитрости и обмана тут дело не обойдется. Источником же всяких обманов обыкновенно бывают женщины! Поэтому постараюсь-ка я узнать от этой старухи все, что происходит на женской половине дворца. Затем нужно будет использовать ее, как орудие и постараться привести в исполнение один сложный план!»

Вся ночь прошла у меня в обдумывании подробностей. Тьма стала рассеиваться. Ее как бы уносило мощное дыхание божественных коней, которые влекли из океана на гору востока колесницу с восседавшим на ней светилом. Показалось солнце, и с ним вместе почувствовалась легкая прохлада. Охлажденное во время ночного пребывания в воде океана, солнце стало как бы распространять кругом свою свежесть. Я встал и принялся сначала за совершение всех обрядов, которые полагается исполнять каждое утро. Покончив с ними, я обратился к старухе, как к матери, со следующими словами:

«Матушка моя! хорошо ли ты знаешь все, что происходит на женской половине дворца нашего злодея, царя Викатаварманa?» Не успел я задать этот вопрос, как показалась какая-то молодая женщина. Увидев ее, моя кормилица, с трудом удерживая в горле слезы радости, сказала:

«Пушкарика, дочь моя! Смотри, вот сын нашего господина! Это тот самый, которого я безжалостно тогда бросила в лесу. Он все-таки, как видишь, вернулся сюда!» Поток радостного чувства охватил Пушкарику, и она разрыдалась. Долго она проплакала, но наконец успокоилась, и тогда мать велела ей рассказать о том, в каких обстоятельствах протекает жизнь на женской половине дворца. Та сейчас же начала:

«Царевич! (госпожа наша) Кальпасундари — дочь царя Ассамского по имени Калиндаварманa. Она во всех отношениях выше своего мужа. По своей ловкости в разных искусствах и по красоте она превосходит небесных нимф. При этом у нее только один возлюбленный — муж Викатаварман, а у того, наоборот, целая масса любовниц». На это я ей сказал:

«Сходи к ней и снеси от меня духи и цветы (которые я тебе дам). Затем постарайся возбудить в ней отвращение к ее мужу, например указывая и порицая его совершенно исключительные пороки, а также и другими способами. Расскажи ей роман царевны Васавадатты и других (женщин, которые сами нашли себе достойных мужей). Заставь ее таким путем почувствовать зависть и недовольство своею судьбою. Старайся в то же время разжечь ее ревность, старательно разузнавай и сообщай ей про самые секретные любовные истории царя с другими женщинами!»

И матери ее я также дал поручение, сказав ей следующее: «И ты точно так же брось всякие другие занятия, находись постоянно вблизи ее, на царском дворе, и сообщай каждый день мне непосредственно все, что бы там ни случилось. А дочь твоя, как я уже сказал, пусть неотлучно находится при Кальпасундари, как неотделимая от нее тень. Это необходимо для успеха нашего плана, который в таком случае может дать хороший результат». Тогда обе они принялись исполнять свое дело в точности, согласно данным мною им указаниям.

Прошло несколько дней. Приходит ко мне моя нянька и говорит: «Дорогой мой! Я достигла уже того, что она считает себя достойной сострадания. (Ей все кажется, что она нуждается в поддержке), как весенняя лиана, вьющаяся вокруг кораллового дерева. Что же мы будем делать далее?»

Тогда я взял, написал собственный свой портрет, и сказал: «Вот снеси ей это! Наверное она, рассмотрев хорошенько этот портрет, скажет: «Неужели есть на земле человек такой красоты?» Ты отвечай: «А если есть, что тогда?»,— а какой она на это даст ответ, об этом ты со своей стороны извести меня».

Она сказала: «Хорошо!», сходила во дворец, и, когда вернулась оттуда, мы удалились в уединенное местечко, где она стала мне рассказывать следующее:

«Дитя мое! Я показала твое произведение очаровательной нашей царице. Она была поражена и сказала: «Даже цветочностреляный бог любви не обладает такой красотой! Это поистине какой-то новый бог, властелин нашего мира! Удивительно! Чрезвычайно удивительно! И того я не понимаю, кто из здешних художников мог создать такой портрет. Кем же написан этот портрет?» Вот ее слова и вот какое это на нее произвело впечатление! Тогда я улыбнулась и сказала: «Царица, ты говоришь правду! Я не могу себе представить, чтобы даже сам дельфиноносный бог Амур [1]) был так красив! Однако земля велика! Быть может, по воле судеб и такая красота где-нибудь да существует! И вот, если бы нашелся здесь молодой человек такой именно красоты, к тому же очень высокого происхождения и соответственно красоте одаренный хорошим нравом, научными познаниями, а также и ловкостью, то что мог бы он получить от тебя в награду за все это?» Царица отвечала: «Матушка моя дорогая! Нужно ли это говорить: мое тело, мое сердце, моя жизнь—все это слишком ничтожно и недостойно такого человека. Значит, от меня он ничего не мог бы получить. Если это не обман, то сделай милость, устрой так, чтобы я могла его увидеть и чтобы таким путем (если не я), то хоть глаза мои достигли этой цели!»

Тогда я для того, чтобы еще более укрепить в ней решение добиться свидания с тобой, сделала такой намек: «Здесь тайно проживает сын одного царя; он случайно тебя видел, когда ты, воплощенная богиня красоты, разгуливала на празднике весны с подругами в городском парке. Он сразу воспылал к тебе любовью; казалось, все стрелы Амура посыпались на него и он сделался их единственною целью. Тогда он бросился ко мне. Я же, видя, что вы оба так подходите друг к другу, что кроме вас обоих нигде нельзя найти такого совершенства красоты и такого блеска других достоинств, видя все это, я принялась стараться, и вот те букеты, те венки, те душистые помады и прочие подарки, которые я тебе приносила — все это было приготовлено лично им своими руками. И портрет свой он написал собственноручно и послал его тебе. Портрет он написал с таким выражением, чтобы ты могла видеть, как глубоко он погружен в мысль о тебе. Если ты решилась на свидание с ним и хочешь отдаться ему, то предупреждаю тебя, что это такой человек, для которого нет ничего невозможного, так как он отличается сверхчеловеческой силой, мужеством и умом. Я сегодня же могу показать его тебе, скажи только — где?»

[1]) Т. е. несущий изображение дельфина, в качестве своего знамени — по индийской мифологии.

В ответ на эти мои слова она сначала несколько призадумалась, а затем промолвила:

«Мать моя! для тебя это теперь слишком большого секрета не составит, поэтому я могу сказать тебе следующее. Отец мой, царь Ассамский, любил очень царя вашего Прахаравармана, а мать моя Манавати была любимой подругой его жены Приямвады. И вот, пока еще у них не было детей, обе царицы сговорились между собою в том, что та из них, у которой родится дочь, отдаст ее за сына другой, если у той родится сын. Отец же мой совершенно случайно отдал меня за Викатавармана, когда тот стал свататься, ссылаясь на то, что сын царицы Приямвады погиб. Муж мой оказался грубым. Он ненавидел моего отца, фигура его была не особенно изящна, он ничего не понимал в нежных приемах любви, мало интересовался поэзией, театром и другими искусствами, был очень высокого мнения о своем мужестве и силе, был к тому же хвастлив, верить ему было нельзя, но щедроты его сыпались только на людей недостойных. Такой муж мне очень не по сердцу, особенно же в эти последние дни. Представь себе, что он себе позволил! Не обращая никакого внимания на присутствие вблизи моей ближайшей подруги Пушкарики, он у нас в саду стал украшать цветами голову глупой своей танцовщицы Рамаянти, которая страшно ревновала его ко мне, считая себя моей соперницей. При этом он срывал для нее цветы с деревца Чампака, того самого деревца, которое я собственноручно вырастила и любила, как родное свое дитя. Затем, у нас в саду есть искусственный холмик, и в нем грот, в котором устроено украшенное драгоценными каменьями ложе. На нем он на этих днях наслаждался моей любовью, и не успела я после того удалиться, как он на том же месте стал наслаждаться любовью своей танцовщицы. Разве это муж?! Я стала презирать его и не признаю никаких по отношению к нему обязанностей. Страх перед возмездием в будущей жизни за мои грехи исчез у меня: слишком уж сильны мои страдания в этой жизни. Нет ничего для женщины более ужасного, чем чувствовать себя насильно прикованной к совместной жизни с противным мужем, особенно когда сердце этой женщины пронзено стрелами бога любви! Итак, сегодня же ты устрой мне свидание с этим молодым человеком в нашем саду, в беседке, покрытой вьющимися лианами. В своем сердце я страшно полюбила его с самого того момента, как дошла до меня весть о нем. Мне принадлежит вся эта масса драгоценностей. При помощи их я посажу его на царский трон, вместо (опротивевшего мне мужа), и буду жить с ним, любя его беспредельно!»

Я выразила свою готовность устроить это свидание и пришла вот сюда. Теперь, о, сын царя моего, дальнейшее зависит от тебя!»

СВИДАНИЕ.

Тогда я расспросил у нее же все подробности о том, как расположены помещения сераля, в каких комнатах живет стража, а также как расположен прилегающий ко дворцу сад. (Между тем стало заходить солнце).

Отблеск его сделался кроваво-красным. Казалось, кровь выступила на его лице, потому что, забравшись сначала на гору заката, оно, скатываясь затем оттуда вниз, расшиблось до крови. Небосклон покрылся черною тьмою: казалось, густой дым поднялся из океана из-за горы заката, когда светило как горящий уголь, погрузилось в его воды. Появился месяц, предводитель планет, — месяц, о котором идет молва, что он осквернил ложе своего учителя. И теперь он появился, очевидно, для того, чтобы быть моим наставником в деле соблазнения чужой жены. Казалось, что бог любви на пути своем к покорению всего мира поселился в моем сердце со всеми своими цветочными стрелами, и ярость его разжигалась смеющимся диском луны, которая как бы представляла собою раскрытое лотосоподобное лицо царицы Кальпасундари, впервые склонившееся надо мною в сильном стремлении взглянуть на меня. Совершив какие следует обряды, я улегся спать, но не мог заснуть и стал размышлять.

«Дело мое,—подумал я,—почти что удалось! Однако, ведь нравственный закон будет нарушен, если я вступлю в любовную связь с чужой женой. Конечно, учители закона разрешают и это в некоторых случаях, а именно тогда, когда этим путем достигаются обе другие цели жизни—богатство и любовь. Я же совершаю это преступление против нравственности, как часть придуманного плана для освобождения из тюрьмы моих родителей. Это обстоятельство загладит мой грех. Получается даже малая толика нравственной заслуги. И это меня спасет! Но что скажут царь Раджавахана или друзья мои, когда услышат об этом?»

Пока я весь находился во власти этих дум, сон стал обнимать меня. И вот сквозь сон я вижу бога Ганешу с его слоновой головой. И он говорит мне: «Любезный друг Упахараварман! То, что ты затеял, вовсе не есть дурное дело. Ведь ты же в действительности представляешь собою часть меня, а она, эта очаровательная царица, не что иное, как небесная Ганга, привыкшая играть густыми волосами бога Шивы. Однажды, когда и я стал с нею заигрывать, ей это не понравилось, и она прокляла меня, сказав: «Сгинь! Будь человеком!» Я со своей стороны проклял ее, сказав: «Подобно тому, как здесь на небе многие тобою наслаждаются, так же точно и на земле ты станешь женщиной и будешь принадлежать многим». Тогда она взмолилась, и я ей сказал: «Сам я буду служить тебе и любить тебя всю мою жизнь; только передо мною у тебя будет еще один муж». Вообще это дело хорошее, никаких опасений питать тебе не нужно».

Проникнувшись этой мыслью и весьма довольный, я провел еще один день в сладостных мечтах, перебирая мысленно все подробности предстоящего свидания. И вот в течение еще одного дня бог любви, бестелесный, не изменял своего отношения ко мне, продолжал обсыпать одного меня всеми своими стрелами. Наступил вечер. Как вода высыхает в пруду и оставляет после себя только черный ил, так исчезло солнце на небосклоне, оставив после себя черную тьму. Одевшись, под цвет окружающего, в темную одежду, очень туго затянув пояс, с кинжалом в руке, имея при себе все необходимые принадлежности для взлома, держа в уме указания, данные

мне моею нянькой, я подошел ко рву, окружающему дворец и наполненному до краев водою. Около него лежал бамбуковый шест, еще ранее принесенный туда Пушкарикой, о чем мы с нею уговорились на дому у ее матери. Я сначала положил его поперек и прошел по нему через ров, затем приставил его к стене и взлез по нему на дворцовую ограду. Вниз я спустился по открытой, из кирпичей сложенной лестнице, которая вела из внутреннего двора на башню, расположенную над главными воротами. Очутившись внутри, я направился в сад. Сначала я миновал аллею деревцов бакула и попал на дорожку, обсаженную кустами мимоз. Я успел сделать по ней только несколько шагов, как вдали, в северном направлении, послышалось жалобное воркование двух уток. Тогда я повернул на север по аллее бигоний и прошел по ней не более, как только на расстояние выстрела из лука. Тут я мог, идя по этой аллее, нащупать рукой стены большого дворца в тех местах, где они выдавались вперед. Затем я свернул на восток по усыпанной гравием дорожке, обе стороны которой были обсажены группами из деревьев ашока и жасминов. Пройдя по ней некоторое расстояние, я повернул на юг и затем вглубь аллеи манговых деревьев. Тут я приоткрыл коробку, в которой я держал наготове зажженную лампу, и на мгновение осветил местность. Я заметил беседку, скрытую за вьющимся жасмином. Внутри ее была совершенно незаметная снаружи постель, устроенная в виде алтаря, украшенного драгоценными каменьями. Выбрав одно местечко в стенках беседки, я протиснулся внутрь. Стенки беседки состояли внутри из сплошных рядов карликовых амарантов, покрытых распустившимися цветами. С одной стороны было нечто в роде завесы, которую составляли спускавшиеся до земли нежные ветви молодого ашокового дерева. Узнать ее можно было по свежим цветочным почкам, которые были воткнуты в нее и выделялись на фоне, состоявшем из густой сети нежно-розовых свежих побегов. Раздвинув эту завесу, я вошел и увидел старательно прибранную, украшенную цветами постель, рядом с ней были коробочки, сделанные из листьев лотоса, содержавшие туалетные принадлежности, употребляемые женщинами при любовных ласках, затем веер с ручкой из слоновой кости и вазу, наполненную до верху духами.

Я присел, отдохнул в течение нескольких минут и стал вдыхать чрезвычайно сильный аромат. В этот момент послышался чуть заметный легкий звук шагов. Как только я их услышал, я тотчас вышел из беседки, приготовленной, очевидно, для нашего свидания, и спрятался за ашоковое дерево, вытянувшись, как палка, и прислонившись к его стволу. Она же, чернобровая красавица, исполненная самых горячих ожиданий, тихонько подошла к беседке и, не увидав меня в ней, задрожала всем телом. Как лебедь воркует весной, порою любви, так и она пробормотала прерывистым, глубоким, страстно-приятным голосом:

«Конечно, сомнения нет, я обманута! Я не в состоянии дольше жить! О, несчастное сердце мое! Ведь само же ты решилось на это, ты приняло дурное дело за хорошее, а теперь, когда оно не удалось, зачем ты так томишься? О владыка, бог любви, пятистрелый! Чем тебя я оскорбила, за

что ты так безжалостно меня мучаешь, зачем ты меня жжешь, но не сжигаешь, не обращаешь в пепел?» Тут я показался, открыл коробку с горящим светильником и сказал:

«Не сердись, милая! Ведь ты действительно сильно оскорбила бога Амура, в мечтах рожденного! Ведь ты своею красотою поставила на второе место богиню Любви, его супругу, которой принадлежит вся его жизнь. Прелестная линия твоих бровей превосходит прелесть изогнутой линии его лука, а черный цвет его тетивы, унизанной пчелами, уступает перед темно-синим отливом твоих роскошных черных волос. Его стрелы не так действительны, как выстрелы твоих взоров, которыми ты, как дождем, обсыпаешь меня. Его красное знамя уступает розовому блеску твоих губ. Твое нежное дыхание превосходит своим ароматом его величайшего друга и пособника — весеннее веяние Малабарских лесов. Твой голос своею сладостью превосходит нежное кукование кукушки. Твои руки тоньше, чем длинная гирлянда цветов, развевающаяся на его знамени. У него имеются чудной формы священные золотые кувшины; отправляясь на покорение сердец, он пользуется ими как будущий император, совершающий богослужение перед походом на покорение всего мира. Но красота твоих выпуклых грудей превосходит чудесную форму священных его сосудов. Искусственный прудок в его саду по своей красивой округлости уступает красоте углубления на твоем животе. Округлая линия твоего седалища побивает форму колес его триумфальной колесницы. Украшенные драгоценными камнями колонны ворот его дворца уступают стройности твоих ног, а твоя ступня линиею своих пальчиков превосходит линию лепестков того лотоса, который он кокетливо заткнул за свое ухо. Поэтому совершенно прав Амур-дельфиноносец, когда так тебя мучает. Но упрекать можно его за то, почему он мучает также и меня! Я же ему ничего не сделал! Сжалься надо мною, красавица! Меня ужалила ядовитая змея любви. Оживи меня своим взглядом, будь для меня лекарством, дарующим жизнь!»

При этих словах я ее обнял. И стал я наслаждаться ею, она не сопротивлялась, и только прекрасные, большие глаза ее заблистали огнем любви.

Затем мы уселись, как старые хорошие знакомые, которые во всем доверяют друг другу и между которыми нет никаких секретов. Просидев некоторое время, я глубоко и продолжительно вздохнул и, со взором несколько печальным, вяло протянул к ней руки, обнял ее не особенно крепко и поцеловал не особенно отчетливо. Она расплакалась и сказала:

«Если ты меня покинешь, то считай, что и жизнь моя ушла от меня! Ты владыка жизни моей! Возьми меня с собой! Я твоя рабыня, без тебя жизнь моя потеряла всякий смысл!» При этих словах она стояла передо мной и держала сложенные вместе ладони прижатыми к голове, как своего рода украшение. Я ей отвечал:

«Дорогая моя, ты беззаботна! Конечно, я, как и всякое живое существо, в восторге от того, что женщина меня полюбила. Но этого мало. Если

ты действительно меня любишь и приняла твердое решение (принадлежать мне), то сделай безо всяких колебаний то, что я тебе скажу. Когда ты останешься наедине с царем, покажи ему ту картину, на которой я написал свой портрет, и спроси его, представляет ли этот человек идеал мужской красоты или нет? Он наверное скажет: «О, еще бы! Конечно представляет!» Тогда ты скажи ему следующее:—Если так, то послушай, что я тебе сообщу. Я знаю одну монахиню; она много скиталась по чужим странам и чему-чему только не научилась. Мне она близка, как мать. Увидав этот портрет, она мне говорит по поводу его: — «Я знаю заговор, благодаря которому и ты могла бы достигнуть такой же красоты. Для этого в день новолуния, предварительно попостившись, ты должна будешь приказать придворному духовенству совершить где-нибудь в уединенном месте жертвоприношение богу огня, по окончании которого ты, оставшись одна, без свидетелей, бросишь в огонь сто кусков сандалового дерева, сто кусков дерева алоэ, несколько горсточек камфоры и несколько кусков шелковой материи. Тогда заговор подействует, и ты приобретешь такую же красоту. И далее, если ты позвонишь в колокол и на звон его придет твой муж, и если он выдаст тебе все государственные тайны, затем закроет глаза и обнимет тебя, то красота эта передастся ему, а ты станешь опять такой же, какой была и раньше. Если ты и твой супруг пожелаете, то можно будет это устроить, но нужно в точности исполнить всю эту процедуру. — Вот что мне сообщила моя старушка. Если тебя прельщает мысль быть таким красавцем, то обсуди этот вопрос совместно со своими друзьями, министрами, младшими братьями, городскими и сельскими старейшинами, и, если они одобрят, принимайся за дело».

Когда ты это скажешь, он наверное согласится. Тогда ты распорядишься, чтобы на самом этом месте, на этом перекрестке садовых дорожек, было совершено жертвоприношение согласно ритуала Атарваведы. После того, как жертвенное животное будет заколото, жертва принесена и огонь станет гаснуть, по саду расстелется дым, под покровом которого я войду в сад и спрячусь вот в самой этой беседке. Когда же станет совсем темно, скажи на ухо своему мужу Викатаварману с саркастической улыбкой: «Ты, неблагодарная дрянь! По моей милости ты достиг красоты, на которую не нарадуется твой народ, и вот ею ты собираешься услаждать моих соперниц! Не хочу я для такого результата вызывать нечистые силы и губить свою душу!» То, что он на это ответит, ты приди и тайком передай мне, а я уже буду знать, как поступить дальше. Не забудь только приказать Пушкарике замести мои следы по дорожкам!»

Царица выслушала мои слова с таким вниманием, как будто бы это было научное наставление, сказала «хорошо!» и нехотя, медленно пошла домой. Страсть ее далеко еще не была удовлетворена! Я же вышел из сада тою же дорогой, по которой вошел, и отправился к себе домой. Очаровательная царица сделала все, что ей было сказано. Царь оказался достаточно глупым и во всем ей поверил. По городу и по деревням распространились такие, возбуждавшие всеобщий интерес, слухи: «Гово-

рят, царь Викатаварман, благодаря чарам своей жены, сделается красив, как бог! Это вздор! Какое-нибудь не слишком искусное надувательство! Не говоря уже о том, что, может быть, это и неправда! Говорят, что это дело будет сделано не кем иным, как первой женой царя, в саду, примыкающем к ее дворцу. Говорят также, что оно было предметом обсуждения совета министров, которые ведь мудры, как сам Брихаспати, учитель богов. Говорят, они одобрили весь этот план. Если это действительно совершится, то большего чуда не было от сотворения мира. После этого удивляться уже ничему нельзя. Но, и то сказать, ведь сила заговоров, талисманов и лекарств прямо-таки непостижима!»

Пока народ был занят такими разговорами, подоспел день новолуния. В глубокой ночи, когда спустилась густая тьма, из сада, прилегающего к сералю, поднялся густой столб темного, с синим отливом, дыма; казалось, то виднеется в саду синее горло волосатого бога Шива. По воздуху распространился во все стороны запах от сожигаемых в огне жертвоприношений из молока, масла, творогу, зерен сезама и белой горчицы, сала, мяса и крови. Когда жертвоприношение было окончено и распостранение дыма вверх прекратилось, я проник в сад. Вышла из дому в свой сад также и царица. Своей царственной походкой, напоминающей походку величественного слона, пошла она мне навстречу. Обняв меня, она сказала:

«Молодец! Ловко ты это придумал! Можно считать, что план твой удался. Царь оказался глуп, как животное, дело его кончено! Чтобы заманить его в ловушку, я, следуя твоей мысли, сделала следующее. Я сказала ему:—Ты больно хитер! Ты ожидаешь, что я создам тебе волшебную красоту? Нет! Ведь ты, сделавшись таким красавцем, будешь нравиться даже небесным нимфам—о земных женщинах что и говорить! Ведь сердце у тебя жестокое, меня ты не пожалеешь! Такие люди, как ты, от рождения привыкли порхать, как пчелки, и садиться на любой цветок!—Не успела я это сказать, как он падает к моим ногам и говорит: – О красавица! прости мне мои проступки. Отныне у меня и в мыслях никогда не будет другой женщины, кроме тебя. Дело начато, пожалуйста доводи его скорей до конца! — Теперь я пришла к тебе, как твоя невеста, одевшись в этот свадебный наряд. Я уже до этого стала твоею женою. Перед огненным алтарем нашей любви я отдалась тебе, при чем сам бог Амур совершал обряд. Теперь снова, перед этим жертвенным огнем, мое сердце отдаст меня тебе».

С этими словами она поднялась на носки и, прижавшись ко мне, надавила своими носками на мои ступни, так что нежные пальчики ее ног переплелись с пальцами моих ног, своими тонкими руками она обвила мою шею и, как бы играя со мною, заставила меня нагнуть голову, сама же протянула вверх свое сияющее, как раскрытый лотос, лицо. Ее широко раскрытые глаза выражали прилив страсти, и она несколько раз поцеловала встретившееся с ее губами мое лицо. Но я отстранил ее, сказав:

«Довольно! Оставайся здесь, спрячься в амарантовой беседке. Мне же надо итти и довести до конца наше дело!» Сказав это, я пошел к тому месту, где горел жертвенный огонь. Рядом с ним висел на ветке ашокового дерева

звонок, и я позвонил. Раздался звук, призывавший царя, — в действительности ставший для него голосом посланца бога, смерти. Тем временем я занялся бросанцем в огонь кусков сандалового дерева, кусков алоэ и проч. В этот момент царь пришел к условленному месту. Когда он меня увидал, то сначала как будто бы легкое сомнение закралось в его душу, он слегка удивился и некоторое время простоял в раздумьи.

«Повтори мне свое обещание перед этим священным огнем, — сказал я. — Если ты не используешь своей красоты для того, чтобы ухаживать за моими соперницами, то я сделаю так, что этот мой внешний вид перейдет на тебя». Услышав это, он тотчас сказал:

«Это она! Это сама царица! Это не обман!» Он явно принимал всю эту историю всерьез и потому принялся клятвенно подтверждать свое обещание. Я же усмехнулся и сказал:

«К чему эти клятвы? Ведь нет на земле женщины, которая бы меня превосходила красотой. Если же ты заведешь связь с небесными нимфами, то пожалуйста! Сколько тебе угодно! Вот расскажи мне лучше, какие у тебя есть тайные дела. Вслед затем, как только ты выдашь тайны, изменится твой внешний вид».

Он начал: «Младший брат моего отца, Прахаравармaн, сидит в тюрьме. В совете министров мы решили отравить его и объявить, что он умер от припадка холеры. Затем мы хотим поручить младшему моему брату Вишалавармaну командование армией для завоевания страны Пундраков. Далее, узнав, что грек Канати имеет большой алмаз, цена которого равна ценности всего, что есть на земле, мы поручили городскому голове Панчалаку и купцу Паритрату достать его за самую дешевую цену. Что же касается сторонника заключенного царя, негодного старшины Анантасира, то мы решили против этого лживого и надменного начальника поднять народное волнение, во время которого и убить его. С этой целью мой сторонник, губернатор города, гражданин Шатахали, согласился, по моей просьбе, отдать приказание о передвижении войсковой охраны в другое место. Вот, вкратце, все текущие государственные тайны».

Когда я это выслушал, я со словами «вот конец твоей жизни, получи по заслугам!» разрубил его тело мечом надвое и сразу же бросил в тот же самый жертвенный огонь, который запылал так, как будто в него было брошено много масла. Скоро он превратился в пепел. Царица, как и полагается женщине, была немного расстроена всей этой сценой. Успокоив ее, сердечно любимую, я, поддерживая ее за тонкую ее руку, вошел с нею во дворец. С ее разрешения я созвал все население сераля и сразу надавал им всяких поручений. Затем, полюбезничав некоторое время с удивленными придворными дамами, я отпустил их всех. Оставшись наедине с царицей, я положил ее на постель и стал доставлять ей все наслаждения любви, сжимая ее до боли в своих объятиях. Вся ночь прошла у нас в этих наслаждениях, и она показалась нам очень короткой. Прерывая объятия болтовней, я узнал от нее про все придворные порядки. Рано утром я

встал, выкупался и совершил все утренние обряды. Затем я созвал совет министров и обратился к нему с такою речью: «Господа! Вместе с моею внешностью изменился и мой нрав. Отца моего, которого мы было решили отравить, я хочу освободить и вновь вручить ему бразды правления в этом царстве нашем. Мы будем его во всем слушаться, как отца; ибо нет греха более тягостного, чем убийство родного отца. Затем, призвав брата своего Вишалавармана, я сказал ему: «Дорогой брат! В настоящее время в стране пундров голодовка. Под влиянием страданий и отчаяния они не будут дорожить жизнью и яростно полезут на нашу страну, в которой много хлеба. Поэтому для нападения мы изберем такое время, когда у нас погибнут посевы или погибнет урожай. Теперь для похода момент неблагоприятный». Пригласив затем обоих представителей городской администрации, я сказал им: «Не хочу я приобретать ценную вещь за ничтожную плату, я хочу охранять законность. Купите ее за то, что она действительно стоит». Затем я пригласил губернатора Шатахали и сказал ему: «Мы хотели погубить Анантасира за то, что он был сторонником царя Прахаравармана — моего отца; теперь же, когда отец восстановлен на троне, нет никакого основания, чтобы делать это. Поэтому ты оставь его в покое». Все эти лица, услышав эти распоряжения, сочли их за доказательства тожества моего с прежним царем. Расходясь, они убеждено повторяли: «Это именно он!» и принимались восхвалять меня и царицу, и громко превозносили чудодейственную силу заговоров. Моих родителей они извлекли из тюрьмы и посадили их снова на царство. Я же велел все той же старушке, бывшей кормилице моей, рассказать родителям наедине все то, что мною было совершено для их освобождения. Они были вне себя от радости. Я остался жить при них и по их распоряжению получил звание «наследника престола».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Хотя лично я вполне был удовлетворен, однако все преимущества нового положения были для меня испорчены горем — от разлуки с тобой, мой царь! Когда же я из письма Синхавармана, который был другом отца моего, узнал к тому же, что Чандаварман осадил Чампу, я вспомнил правило: «два дела исполняй во всяком случае: уничтожай врагов и помогай друзьям!» С этой целью я снарядил большое и легко маневрирующее войско и отправился с ним в поход против Чандавармана.

И вот таким образом я достиг того, что испытываю громадную радость на великом для меня празднестве непосредственного лицезрения царственного величия твоих стоп.

Выслушав рассказ этот, царь Раджавахана сказал: «Посмотрите на этого прелюбодея, который хитростью завладел чужою тенью! Так как он избавил своих родителей от страданий в тюрьме, так как средством для этого послужило уничтожение злого врага и так как это повело к достижению царской власти, то он сразу достиг и больших благ мате-

риальных, и больших заслуг нравственных! Что с умом сделано, то всегда будет хорошо!»

Затем, бросив в лицо Артапалу глубокий, продолжительный взгляд, он сказал: «Рассказывай свои приключения!» Тот сложил вместе ладони рук, поклонился и начал.

Глава четвертая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРТАПАЛА.

О царь! цель у меня была та же, что и у этих друзей моих. Я странствовал по всей земле великой вплоть до волнующегося океана. И вот, прихожу я однажды в известный священный город Каши, иначе Бенарес. Я начал с того, что посетил Маникарнику, место священных омовений, и выкупался там в чистой, как кристалл, воде реки Ганги. Затем пошел в храм Авимуктешвор и усердно молился там богу Шиве, сокрушителю демона Андака. Выйдя из храма, я стал совершать обход слева направо вокруг него, и тут, во время обхода, заметил какого-то человека, очень большого роста, с толстыми, как железные брусья, руками. Он рыдал безостановочно, глаза его распухли и покраснели, а руки были заняты устройством петли из пояса. Очевидно, он хотел покончить с собой. И мне пришли в голову такие мысли: «Крепкий человек этот, видать, сильно страдает. Горе, как дождь, брызжет из его потухших глаз. То, что он собирается сделать, указывает на отчаянное решение. Жизнь ему, по-видимому, опротивела, причина же, наверное, та, что какое-нибудь большое несчастие постигло его близкого друга. И это может кончиться чем-нибудь недобрым! Попробую-ка я расспросить его. Быть может, представится случай поближе с ним сойтись и оказать ему помощь!» Тогда я спросил его:

«Любезный друг! то, что ты тут делаешь, дает мне повод подумать, что ты в отчаянии и хочешь покончить с собой. Если это не тайна, расскажи мне, я хотел бы знать о причине твоих страданий».

Он заметил, что я отношусь к нему с сочувствием, и потому сказал: «Беды от этого не будет! Я расскажу, слушай!» Тогда мы отошли в сторону, уселись под олеандровым деревом, и он начал свой рассказ.

РАССКАЗ ПУРНАБАДРА.

Уважаемый господин! Меня зовут Пурнабадр, я сын уважаемого гражданина, но дома я жил недолго и скитался по востоку, и жил, где вздумается. Хотя отец и дал мне хорошее воспитание, однако, повинуясь капризу судьбы своей, я стал добывать себе средства путем воровства. Раз как-то, здесь, в Бенаресе, я обокрал одного богатого купца, был затем пойман с краденными вещами, взят под стражу и посажен в тюрьму. Мне предстояла смертная казнь. Первый министр Камапал, распоряжа-

вшийся казнью, приказал выпустить на меня злого, разъяренного дикого слона, который имел кличку «Смерть-Победа». Сам он наблюдал за казнью со стен кремля, расположившись в башне под главными воротами. Увидев меня, слон свернул свой толстый хобот в кольцо, затрубил в него, и рев его был подхвачен присутствовавшей толпой народа, клики которого удваивали шум. Слон бросился на меня, но я не испугался. Как только он со мною поравнялся, я закричал на него, а когда он стал поворачивать голову, чтобы нанести мне боковой удар клыком, я отскочил в противоположную сторону, очутился между его клыками, как бы между двумя деревянными брусьями, и яростно хватил его обеими своими крепкими руками в голову, пониже висков. Тогда он оторопел и повернул обратно. Не ожидавший этого погонщик заволновался, стал нещадно ругаться и, изо всех сил бить его дротиком и ногами по голове. Наконец ему удалось снова повернуть его на меня. Я же закричал на него с удвоенною яростью, и, когда я опять таким же образом его ударил, он повернулся и стал удирать. Тогда я побежал быстро вслед и начал издеваться над погонщиком. Он же, в свою очередь рассерженный, закричал на слона: «Дрянь ты этакая! Пропащая скотина! Куда бежишь!» При этом он снова и снова вбивал в голову слона острый дротик. Наконец у самого выхода с площади ему кое-как удалось остановить животное и повернуть его на меня. Тогда я закричал: «Уберите этого никуда не годного слона, приведите другого, лучшего, с которым я бы мог некоторое время помериться силами, и затем подвергнуться участи, мне судьбою уготованной!» Но как только слон увидел меня, рассвирепевшего, и услышал мои громкие проклятия, он перестал повиноваться самым свирепым понуждениям погонщика и окончательно убежал.

Тогда министр призвал меня к себе и сказал: «Молодец! Ведь этот слон, прозванный «Смерть-Победа», был воплощением бога смерти, убийство было его любимой забавой. А ты вот как его обработал! Послушай меня, брось свое грязное ремесло. Разве ты не способен, устроившись при мне, вести порядочный образ жизни?— «Как прикажешь», — отвечал я почтительно, и с этих пор он стал обращаться со мной, как с другом. Когда же он проникся полным ко мне доверием, я однажды стал расспрашивать его о прежней его жизни, и он рассказал мне следующее:

РАССКАЗ МИНИСТРА КАМАПАЛА О СВОЕЙ ЖИЗНИ.

В городе Паталипутре у царя Рипунджая был некогда министр, славившийся своим умом и ученостью, по имени Дармапал. Не уступал отцу в уме и достоинствах сын его Сумитр, которому я прихожусь младшим братом от другой матери. Наклонности у нас были не одинаковы. Я предавался веселому образу жизни в обществе продажных женщин, а он предпочитал нравственную, добропорядочную жизнь и старался удержать в ней также и меня. Но я оказался неисправим. В конце концов я покинул родительский дом и стал скитаться по белу-свету, пока слу-

чайно не очутился в Бенаресе и не влюбился в дочь тамошнего царя Чандасинха, по имени Кантимати, увидав ее на прогулке, когда она, выйдя из дворца, чтобы помолиться богу Шиве, задержалась в саду, прилегавшем к женской половине, и играла там в мяч со своими подругами. Кончилось тем, что между нами установилась связь, я стал тайком бывать в серале, и она забеременела. У нее родился сынишка. Боясь огласки, придворные скрыли его в саду, в искусственном гроте, выдав его приближенным за мертворожденного. Затем одна из служанок ночью снесла его на кладбище и там бросила. Когда она возвращалась домой в глухую полночь, то была на главной улице схвачена ночною стражею и подвергнута допросу со всякими угрозами. Испугавшись строгости наказания, она выдала всю тайну. По ее указанию я был найден спокойно спящим в саду в искусственном гроте. По приказанию царя я был тут же связан первыми попавшимися веревками и сведен на кладбище для казни. Уже палач, презренный парий, занес надо мною свой меч, и я был бы казнен, если бы судьба не решила иначе. Веревки, связывавшие меня в этот самый момент, сдали под моим усилием, я высвободился, выхватил меч из рук палача и убил его тут же, а также еще и несколько других людей из числа присутствовавших, и поспешил скрыться. Не имея никакого пристанища, я бродил по лесам, и вот однажды передо мной в лесу предстала божественная дева, вся в слезах, окруженная свитой. Она сложила вместе нежные свои ладони, поднесла их ко лбу и поклонилась мне, при чем вьющиеся ее волосы откинулись вперед и, колыхаясь, окружили ее прелестное лицо. Мы уселись рядом, в прохладном месте, под тенью большой лесной смоковницы:

«Кто ты, дорогая? Откуда ты явилась? По какой причине ты так ласково обратила на меня свое внимание?» Так я промолвил с глубоким чувством. От нее же в ответ полился медовый дождь сладостных речей.

РАССКАЗ ФЕИ ТАРАВАЛИ.

О благородный! Я дочь Манибадра, предводителя гениев, населяющих Гималай, мое имя Таравали. Однажды я возвращалась (домой на Гималай) из Малабара, куда я ходила на паломничество к Лопамудре, супруге святого мудреца Агастья. Пролетая мимо Бенареса, я увидела рыдающего младенца, лежавшего на кладбище. Я взяла его с собой, страшно полюбила и принесла его к родителям моим, а отец мой отнес его к Кувере, божественному владыке нашего города Алаки. Тогда этот друг бога Шивы призвал меня и сказал:

«Что же ты думаешь делать с этим ребенком, о дочь моя?» Я почтительно отвечала:

«Люблю его я, как родное свое дитя». На это он промолвил:

«А ведь правду говорит она, страдалица, что это родное ее дитя».

И по поводу ребенка этого он начал рассказывать весьма длинную историю о наших прежних перерождениях, из которой я поняла только то, что, во первых, ты в прежних перерождениях был Шаунаком, Шуи-

драком и Камапалом. Кантимата же, твоя возлюбленная, была раньше Бандумати и Винаявати. Точно так же Ведимати, Арьядаси, и Сомадеви представляют собою одно и то же лицо в разных перерождениях. Хансавали, Шурасена и Сулочана также не отличаются друг от друга. Равным образом между Нандини, Рангапатикай и Индрасеной нет никакой разницы. Оказалось из его рассказа, что та пастушка, на которой ты женился тогда, когда ты жил на земле во образе Шаднака, в последующем перерождении носила имя Арьядаси, а теперь я сама, Таравали, представляю собой ее перерождение. Оказалось далее, что когда ты был в образе Шудрана, а я во образе Арьядаси была твоею женою, то у нас родился мальчик, которого с любовью воспитала Винаявати. Перерождение этого мальчика и представляет собою вот этот ребенок, которого я сюда принесла. Теперь он родился от царевны Кантимати. И вот таким образом, хотя он неоднократно побывал уже в пасти у бога смерти, однако по воле судьбы он оказался подобранным мною. По приказанию бога Кувери я передала его царице Васумати, жене проживавшего в лесу в изгнании царя Раджаханса, чтобы он со временем стал служить при его сыне Раджавахане, будущем всемирном императоре. Затем, когда ты по воле судьбы оказался брошенным в пасть смерти, я с соизволения своих родителей пришла к тебе, чтобы служить у лотосоподобных ног твоих».

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МИНИСТРА ДАРМАПАЛА.

Выслушав этот рассказ, я со слезами радости на глазах обнял несколько раз фею Таравали, бывшую, как оказалось, неоднократно моей женой в разных перерождениях и под различными именами. Когда мы успокоились, по ее волшебной силе появился перед нами большой дворец, в нем мы день и ночь переживали небесные, на земле никем не виданные наслаждения. Спустя два, три дня я сказал моей очаровательной фее:

«Я желал бы хорошенько отплатить царю Синхавар ману, который хотел лишить меня жизни, я хотел бы испытать сладость мщения за его козни!»

Она же с улыбкой ответила:

«Пойдем, милый мой, я сведу тебя на свидание с Кантимати». Когда наступила полночь, она свела меня в спальню царя. У его изголовья лежал большой меч, я схватил его, затем разбудил царя и, когда тот задрожал всем телом, сказал ему:

«Я твой зять! Помимо твоего согласия я вступил в связь с твоей дочерью,—я пришел, чтобы послушанием и службой загладить эту обиду» Он же, вне себя от перепуга, поклонился мне и проговорил:

«Не ты меня, а я тебя обидел, по глупости моей. Ты сделал мне честь полюбить мою дочь, а я, как безумец, одержимый демоном, вышел из себя и, перейдя всякую меру, приказал тебя казнить. Но забудем это! Пусть с сегодняшнего дня дочь моя Кантимати, все мое царство и я сам будем принадлежать тебе!»

На следующий день он созвал народное собрание и в присутствии его торжественно отдал мне руку дочери своей. Таравали же рассказала ей о судьбе ее ребенка, а ее подругам — Сомадеви, Сулочан и Индрасен — рассказала историю их прежней жизни, в минувших перерождениях. Я же, хотя и получил звание министра, однако в действительности исполнял функции наследника престола, а (семейная жизнь моя) мирно протекала в обществе прелестных жен моих.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ПУРНАБАДРА.

Итак, этот министр был верным другом даже к таким простым людям, как я. Казалось, он был единственный в своем роде родственник, которому родней приходится всякое живое существо. Когда умер от чахотки царь, его тесть, то престол должен был перейти к старшему брату его жены, по имени Чандагошу. Но того уже не было в живых, так как он умер еще раньше от истощения, будучи чересчур привязан к женщинам. Тогда министр этот поступил вполне честно, посадив на трон его сына, которому едва минуло пять лет, и дав ему соответствующее воспитание. Теперь он стал совершеннолетним и приблизил к себе в качестве министров нескольких молодых, много о себе думающих, лживых, дурных советчиков. Они стали ему наговаривать на Дармапала, который оставался первым министром. «Он безнравственный человек, — говорили они, — обольстил и взял твою сестру насильно. Он поднял меч на царя, когда тот спокойно спал. В момент пробуждения, под влиянием испуга, царь согласился на брак и отдал ему свою дочь. Чандагоша, старшего в царской семье, он отравил. Тебя же он щадил до сих пор, полагая, что ты, как малолетний, не можешь ему мешать. Этим путем он также поддерживал доверие народа к себе. И как бы ты хорошо к нему ни относился, он, неблагодарный, погубит и тебя. Постарайся поскорее убрать его на тот свет!»

Эти нашептывания создали рознь между царем и его первым министром, но, опасаясь влияния волшебной феи Таравали, царь не мог решиться покончить с ним. И вот, в эти самые дни первая из жен молодого царя, по имени Сулакшана, заметила какое-то изменение в выражении лица Кантимати. Тогда она ласково спросила ее:

«Царица, меня не обманешь разными отговорками! Скажи правду. Почему в эти дни на твоем лотосоподобном лице замечается выражение, которого раньше не было?» Она отвечала:

«Дорогая, разве ты можешь припомнить, чтобы я когда-нибудь до сего дня говорила тебе неправду? Дело вот в чем: моя подруга и вторая жена моего мужа, фея Таравали по какому-то поводу осталась им недовольна. Он принялся ее утешать наедине, и вот, при этом совершенно случайно, по ошибке назвал ее моим именем. Этого было достаточно, ею овладела ревность, и, несмотря на всю любовь к ней мужа и на его упрашивания, она нас покинула. Мой муж в отчаянии. Отсюда мое дурное настроение». Сулакшана в общих чертах рассказала это мужу своему по секрету.

Тогда тот, перестав бояться влияния волшебной феи, велел заранее подговоренным людям схватить его.

В этот день он пришел во дворец, весь бледный от разлуки с любимой феей, с глазами, наполненными мужественно удерживаемыми слезами. Хриплый голос, глухо вырывавшийся из засохшего от горячих вздохов горла, показывал, как он страдал, тем не менее, хотя и с трудом, он принуждал себя заниматься текущими государственными делами. Он был посажен в тюрьму. Было решено повсеместно оповестить о его преступлениях и в наказание за них вырвать у него глаза так, чтобы от мучений затем последовала смерть. Вот поэтому-то, выплакавшись в волю и не желая пережить министра-праведника, я приготовляю себе петлю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА АРТАПАЛА.

Узнав таким образом о несчастии отца моего, я расплакался и сказал: «Друг мой, зачем от тебя скрываться! Тот самый мальчик, которого добрая фея Таравали подобрала и передала на руки царице Васумати для воспитания из него будущего слуги царю Раджавахану, этот мальчик — я! Чтобы освободить отца, я был бы в состоянии уничтожить целую тысячу хорошо вооруженных солдат. Но дело в том, что во время суматохи, пока я до него доберусь, кто-нибудь может вонзить в него кинжал, и все мое предприятие не будет иметь смысла. Так масло, брошенное не в огонь, а на пепел, не даст никогда пламени».

Не успел я произнести эти слова, как большая очковая змея подняла свою голову из щели в стене, окружавшей храм. Усыпив ее с помощью волшебных средств, я взял ее в руки и сказал Пурнабадру:

«Дорогой мой, вот то, что нам нужно! Когда приведут отца на казнь, я, никем не замеченный, буду присутствовать в толпе и выпущу на него эту змею, которая как будто случайно его ужалит. Действие же яда я остановлю, так что все сочтут отца мертвым и оставят его в покое. Не бойся ничего, ступай к моей матери и сообщи ей о моем плане. Скажи ей так: «Ваш сын был подобран доброй феей и передан в руки царицы Васумати. Теперь он здесь и, узнав от меня о судьбе отца своего, он, для спокойствия его, придумал вот такой-то план. Не бойся ничего, а пошли доложить царю следующее: «Таков, говорят, закон воинской чести, что следует одинаково бороться с врагом, независимо от того, приходится ли он родственным или нет. Но закон женской верности заставляет жену следовать судьбе мужа, независимо от того, был ли он хороший или дурной муж. В силу этого закона, я должна одновременно с его телом подняться на погребальный костер и погибнуть в огне. Разреши мне исполнить последнее мое желание, последний мой долг!» В ответ на это царь наверное даст разрешение. Тогда ты возьмешь тело отца к себе домой и положишь его на ложе, устроенное из священной травы «дарба» в укромном месте за занавеской, а сама будешь находиться там же, одевшись в траурное одеяние. Я же пройду через задний двор, и ты впустишь меня, после

чего я верну отца к жизни, а в дальнейшем мы поступим так, как он посоветует».

На это Пурнабадр ответил: «Хорошо!» и поспешно удалился.

На главной городской площади около того места, откуда провозглашаются указы правительства, росло большое тамариндовое дерево с громадными и частыми ветвями. В день, назначенный для казни, я взобрался на него и притаился в его ветвях. Народ, собиравшийся посмотреть на казнь, также устраивался кто куда мог повыше. Слышались всякие разговоры. Но вот привели моего отца с руками, связанными назади, как у вора. За ним следовала с громкими кликами большая толпа народа. Его поставили как раз недалеко от меня, и палач троекратно провозгласил смертный приговор:

«Этот министр Камапал стремился завладеть престолом и предательски отравил царя Чандасинха и его наследника Чандагоша. Затем, когда царь Синхагош достиг совершеннолетия, он вознамерился извести также и его. Вполне доверяя министру Шиванагу, он пригласил его в тайное место, где в его присутствии подговаривал двух лиц, Стуна и Ангараварша, убить царя. Однако те были ему преданы и выдали тайну. Посему этот брамин, стремившийся стать царем, должен по закону быть лишен зрения. Для приведения приговора в исполнение преступник приведен сюда, и ему будут вырваны глаза. Если бы нашелся еще и другой такой же злоумышленник, то царь равным образом наложит на него соответствующее наказание».

По выслушании этого приговора толпа зашумела, я же воспользовался моментом и бросил на отца моего змею, которая при этом широко распустила свою голову. Я сделал вид, что перепугался, и сполз с дерева, затем незаметно применил средство, сохранявшее жизнь отцу от укуса рассвирепевшей змеи, и сразу остановил распространение яда. Но он упал на землю, на вид совершенно мертвый. Я проговорил: «Правду говорят, что именно божеское наказание постигает того, кто посягает на царя. Ведь вот царь хотел его лишить зрения, а судьба лишила его самой жизни!» Некоторые из присутствовавших одобрили мое замечание, другие же запротестовали. А змея тем временем ужалила палача; народ перепугался и стал разбегаться, она воспользовалась свободной дорогой и уползла.

Пурнабадр объяснил моей матери смысл всего происшедшего, вследствие чего она, несмотря на такое несчастие, не очень перепугалась. Сопровождаемая немногочисленными служанками, она пешком смело подошла к месту казни и, положив голову отца себе на колени, села и обратилась к царю с такими словами:

«Это мой муж! Злоумышлял ли он против тебя или нет, знает только судьба. Я об этом не забочусь. Какое мне дело! Но я опозорила бы весь твой род, если бы не последовала судьбе того, кому перед алтарем я была отдана. Поэтому прошу тебя, разреши мне вместе с моим мужем взойти на могильный костер!» Выслушав эти слова, царь смилостивился и приказал:

«Пусть свершится обряд, свойственный нашему роду, и пусть будет отдан последний долг мужу сестры моей и совершены по нем поминки!»

Тем временен палач скончался. Все усилия знахарей заговорить действие яда оказались тщетными, вследствие (тайного) противодействия моих чар. Видя это, царь подумал, что ведь Камапал был укушен тою же змеей, и, убежденный в том, что он также окончательно мертв, пожелал сделать жест великодушия и разрешил перевезти тело отца домой. Мы перевезли его к себе и положили в скрытом месте на ложе священной травы. Мать моя надела предсмертный наряд, трогательно попрощалась с подругами, несколько раз помолилась богам-хранителям дома своего, старалась удержать служанок от рыданий и наконец вошла одна в ту комнату, где лежало тело моего отца. Пурнабадр свел меня туда же еще до того, и я, исполняя роль птицы Гаруда, врага змей, уничтожил действие яда, так что мать моя увидала своего мужа уже выздоровевшим. Она была в высшей степени обрадована, слезы радости хлынули из ее глаз и покрыли все лицо ее. Сначала она поклонилась в ноги мужу, а затем снова и снова принималась обнимать меня, прижимая меня к своей груди, из которой показались капли молока; наконец голосом, прерывавшимся от волнения и слез, она проговорила:

«Сын мой, я недоумеваю, за что ты меня так любишь? Я виновата перед тобой, я бросила тебя ребенком, как только ты родился, я не пожалела тебя! Но, с другой стороны, я понимаю тебя, твой поступок имеет другое значение: ты вырвал из рук смерти отца своего, а он решительно ничем перед тобой не виноват! Конечно, это было жестоко со стороны феи Таравали, что, узнав от бога Куверы, кто ты, она не принесла тебя ко мне, а передала царице Васумати. Однако и этот поступок можно объяснить иначе, можно оправдать его: ведь испивать слухом своим амброзию твоего младенческого лепета я, при незначительных своих заслугах, была недостойна; у меня не было таких прав на это счастье, как у царицы Васумати. Приди, обними меня!»

При этих словах она несколько раз поцеловала меня в голову, посадила к себе на колени, бранила Таравали, обнимала, орошала меня своими слезами, все ее красивое тело дрожало от волнения, и она на некоторое время стала совсем не своя. Но и отец мой волновался не менее: после того, как он получил спасение от такой страшной опасности таким удивительным путем, ему казалось, что он из преисподней попал прямо на небо. Пурнабадр подробно рассказал ему, как все произошло, и он считал себя счастливее бога Индри. Кое что рассказал и я о себе, а затем обратился ко все еще удивлявшимся и обрадованным родителям моим с такими словами:

«Скажите мне вот что: какой будет наш дальнейший план действий?» Отец на это отвечал:

«Дорогой мой! этот мой дом окружен очень толстой стеной, и в нем имеется неистощимый запас оружия. Это верное убежище, которое не может быть взято с налету. В стране имеется очень много владельцев, которым я в свое время оказывал услуги. Большинство среди населения также не одобряло несправедливости, которой я подвергся. В таком же настроении

находятся многие тысячи солдат, их друзья, дети и жены. Поэтому лучше будет пробыть здесь несколько дней и в это время возбуждать недовольство как среди приближенных царя, так и среди прочего населения. Недовольные станут на нашу сторону, мы их воодушевим, подымем против него и тех, кто естественно, по политическим обстоятельствам, не может быть нам другом, а также и наследственных его врагов, в конце концов покончим с ним, как бы это ни было трудно».

«Правильно!—сказал я.—Пусть так и будет». Я вполне одобрил план отца.

Таким образом мы образовали в городе враждебный лагерь. Как только известие об этом дошло до царя, он стал жалеть, что отец остался в живых. Несколько дней под ряд он посылал на нас войско для нападения на наш дом, но мы всякий раз уничтожали нападавших. В это время я из разговора с Пурнабадром узнал, где расположена спальня царя. Я тотчас же принялся прокапывать заступом подземный ход, начав от стены в углу нашего дома. Подземный ход привел меня в какую-то горницу, столь прелестную, как будто она была небом, спустившимся под землю. Она была наполнена молодыми девушками. Как только они меня заметили, они страшно перепугались. Среди них стояла одна, грациозная, как серп молодой луны, которая своей красой, казалось, была в состоянии осветить тьму всей преисподней. Казалось, то была богиня земли, принявшая человеческий образ, или супруга бога Шивы, спустившаяся под землю для борьбы с демонами, или супруга бога Амура, цветочностредого, спустившаяся в ад, или же, наконец, богиня Власти Царской, которой надоело видеть столько неудачных царей на земле, почему она и спустилась под землю. Подобно статуэтке из чистейшего золота она блистала чистой своею прелестью и вздрогнула, заметив меня, как нежная лиана, вьющаяся вокруг сандалового дерева, начинает дрожать от дуновения южного ветра. Когда таким образом все это женское царство перепугалось, одна худощавая старуха с седыми волосами, похожая на тонкий тростник с серым цветком на верху, подошла ко мне, бросилась мне в ноги и проговорила дрожащим, испуганным голосом:

«Будь милостив, даруй безопасность этим женщинам, которым некуда более обратиться за защитою, как только к тебе. Ты не молодой ли бог войны, который, преследуя демонов, стремится проникнуть в ад, чтобы и там с ними сразиться. Скажи же, кто ты, зачем пришел сюда?» Я отвечал:

«Не бойтесь, мои красавицы! Мое имя Артапал, я сын благородного брамина Камапала от царицы Кантимати. Цель моя в том состоит, чтобы из своего дома по подземному ходу пробраться в царский дворец; и вот, на пути я встретился здесь с вами. А теперь расскажите все мне, кто вы такие, как случилось, что вы здесь живете?» Тогда старуха подняла вверх руки со сложенными вместе ладонями и сказала:

«О, сын повелителя нашего! Мы счастливы, что этими нашими глазами мы видим тебя невредимым! Слушай же! От деда твоего, со стороны матери, по имени Чандасинха и царицы Лилавати родились двое детей, сын Чандагош и дочь Кантимати. Чандагош был наследником

престола, он слишком любил женщин и потому рано умер от чахотки, оставив свою жену Ачаравати беременной. От нее-то и родилась эта вот девушка, по имени Маникарника. Ее мать заболела после родов и отправилась на тот свет, туда, где уже находился ее муж. Тогда царь Чандасинх призвал меня и сделал такие секретные распоряжения: «Вот что Ридимати! Что касается этого ребенка, то признаки у него самые счастливые. Его я предназначаю в жены Дарпасару, царю Малавийскому, и хочу дать ей надлежащее воспитание. Но после того, что случилось с Кантамати, я боюсь выставлять молодых девушек напоказ. Поэтому я поручаю тебе воспитать эту девочку в подземном помещении, которое я первоначально велел вырыть для заключения туда врагов моих. Внутри насыпного холма там устроены разные комнаты, а также есть и сцена. Там ты при содействии многочисленной свиты займись ее воспитанием. Всяких припасов для вас там хватит на сто лет с лишним». Сказав это, он провел нас через собственную свою спальню, в стене, обращенной во двор, он открыл потайную дверь шириною в один локоть и таким путем провел нас в это помещение. И вот, прошло уже двенадцать лет что мы здесь живем. Девочка эта уже стала взрослою девицей. Но пока что, царь о нас не вспоминает. Правда, что еще дед предназначал ее в жены царю Дарпасару. Но мать твоя Кантимати выиграла ее еще в утробе матери, как ставку при игре в кости, для тебя в жены, и ее собственная мать также предназначала ее именно тебе. А что из этого следует, ты, молодой человек, решай сам». На это я сказал:

«Сегодня как раз у меня есть дело во дворце. Устроив его, я вернусь и займусь вами как следует».

Она осветила мне лампой тот самый подземный ход (по которому была когда-то сюда приведена), я прошел, и в самую полночь, открыв к себе потайную дверь, вошел в спальню царя. Синхагош спал безмятежно, и я схватил его живьем. Подобно тому, как птица гаруда летит держа в когтях извивающуюся змею, так и я повлек дрожавшего царя через то же самое отверстие в стене. Сначала я привел его в то женское собрание, а затем к себе в дом, где я показал его своим родителям, закованного в ножные кандалы, в грязной одежде, с глазами, покрасневшими от непрерывных рыданий. Я рассказал им также историю со встречей в подземной горнице. Родители мои, с большим удовольствием насмотревшись на своего врага, попавшего в такое положение, велели посадить его в тюрьму, а затем в надлежащем порядке устроили мою свадьбу с молодой девушкой. Так как государство таким образом оказалось без правителя, то ко мне перешла вся царская власть. Мать моя, сестра свергнутого Синхагоша, хотела было выпустить его на свободу, но я боялся, что он, очутившись на свободе, может поднять народное восстание, и потому я не выпустил его.

Таково было наше положение, когда мы узнали о нападении врагов на Синхавармана, царя Бенгальского. Так как он всегда был тебе, о царь, предан и содействовал тебе в делах твоих, то я поспешил ему на помощь. Здесь мне выпало на долю счастье (встретить тебя) и прикос-

нуться к пыли от лотосоподобных ног твоих. Пусть же теперь и злодей Синхагош искупит свои грехи и усердной тебе службой загладит все свои преступления».

Окончив таким образом свою повесть, Артапал приложил ко лбу свои руки со сложенными ладонями и поклонился царю. Царь Раджавахана отвечал: «Много тобою проявлено геройства и много находчивости! Что же касается тестя твоего, то освободи его от оков, и пусть он придет взглянуть на меня!» Сказав это, он с ласковою улыбкой посмотрел на Прамати и сказал: «Теперь твой черед, расскажи нам твои приключения!»

Глава пятая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРАМАТИ.

Он встал, поклонился и начал свой рассказ.

«Царь! Разыскивая тебя, я блуждал по белу-свету, и вот однажды на пути в лесу, в горах Виндья, мне пришлось остановиться под громадным деревом, выросшим на склоне горы и своей вершиной, казалось, касавшимся небес. Передо мною было небольшое озеро, а за ним красное зарево заходящего солнца. Смотря на освещенную поверхность озера, мне казалось, что то было лицо богини Запада, украшенное сверху красной полосой заходящего солнца и обрамленное гирляндами из молодых розовых ветвей. Я почерпнул воды и помолился вечерней заре. Спустилась тьма и покровом своим сравняла все горы и долины. Не будучи в состоянии продолжать свой путь, я захотел прилечь и с этой целью устроил себе на земле под деревом ложе из молодых свежих веточек. Подняв ко лбу сложенные вместе ладони, я стал молиться: «Божество, которое живет в этом дереве, да будет моим хранителем, пока я тут буду спать один в этом страшном большом лесу, в котором блуждают толпы хищных зверей, в этом лесу, который напоминает глубокую пропасть, до краев наполненную массой ночной мглы, черно-синего — как горло бога Шивы — цвета».

Подложив левую руку под голову, я лежал. Вдруг я почувствовал какое-то приятное ощущение по всему телу, как бы от какого-то неземного прикосновения, всеми своими чувствами я испытывал наслаждение, и в душе поселился восторг, радостная дрожь особенно как-то сильно пробежала у меня по коже, а лежавшая наверху правая рука шевельнулась. «Что случилось?» — подумал я. С трудом, едва-едва раскрывая глаза, я увидел под собою завесу из белого шелка, которая сначала показалась мне куском чистого лунного света. Посмотрев затем налево, я увидел у белой стены на цветных постелях ряд безмятежно спавших молодых женщин. Я повернул глаза направо и увидал такую картину: на белой постели, состоявшей как бы из собравшейся пены молочного океана, лежала молодая женщина неописуемой красоты. Шелковая рубашечка спала с ее груди, и она представилась мне, как сама земля в то время, когда божественный Вишну в образе перво-

родного Вепря извлекал ее на своих белых клыках из глубины молочного океана. Спавшая с ее плеч верхняя одежда из белой кисеи представляла кругом нее как бы волнистую белую поверхность молочного океана. На ней она лежала, оцепенев от внезапного испуга, неподвижно, как земля, поднятая из океана, лежала на сверкающих своей белизной клыках божественного Вепря. Как ветерок в лесу колышет молодые розовые побеги и разносит аромат лотосов, так розовый блеск ее губ колебался вместе с ее нежным, душистым дыханием. Ветерок ее дыхания, казалось, раздувал ту искру любви, в которую превратился бестелесный бог Амур после того, как безжалостный Шива, бог аскетов, сжег огнем своих глаз все его тело. Как черная пчела бывает скрыта в сомкнувшемся на ночь белом цветке лотоса, так и белое лицо ее с сомкнутыми во сне, продолговатыми, как лепесток лотоса, глазами скрывало под своею белизною пару черных глаз. Казалось, то была упавшая с неба драгоценная ветвь райского дерева, казалось, что Айравата, гордый слон бога Индры, на котором он разъезжает в своем райском саду, дерзко сорвал и бросил ее на землю.

И я подумал: «Куда девался дремучий лес? Откуда этот дворец, вершинами касающийся небесного свода, превосходящий высотою знамя, развевающееся на верхней террасе дворца воинственного бога Кумары? Куда девалось ложе мое, устроенное на земле в лесу из свежих древесных побегов, и откуда взялась эта постель из тонкой материи лебяжьего пуха, белая и блестящая, как будто она вся состояла из лунного света? Откуда взялись эти безмятежно спящие молодые девушки, похожие на небесных нимф, неподвижно лежащие как бы в сетках, сплетенных из прохладных лучей лунного света? И кто эта красавица, которая, как богиня, с тонкими лотосоподобными руками лежит на постели, покрытой сверху кисеей такой белизны, как бы свет полной луны осеннею порой? Она не богиня, так как она спит. При лунном свете она смыкает очи, подобно тому как лотос свертывает свои лепестки при легчайшем прикосновении к нему света луны. На поверхности ее щеки виднеются полоски из пробивающегося наружу пота, она напоминает поверхность пожелтевшего от спелости матового яблока, которое, отделившись от стебелька своего, упало на землю и до того было сочно, что после падения покрылось каплями выступившего наружу своего сока. В высокой груди ее был такой сильный жар от огня свежей ее молодости, что краска, покрывавшая грудь, потеряла свой цвет и как бы сгорела. На ее одежде, верхней и нижней, виднелись кое где пятна, — видать, что они были в употреблении. Итак, это не богиня, а человек! И, о счастье! Молодость ее, очевидно, еще неизведана мужчиной, так как все тело ее хотя и нежно, но не дрябло. Хотя кожа на ее теле весьма сильно лоснится, однако она как бы пронизана белизной, как бы просвечивает. На лице ее нет резкой красноты, так как оно не испытало еще страстных поцелуев. Как драгоценный коралл, краснеют ее губы, и щеки ее упруги, как красноватый внизу лепесток не вполне еще раскрывшегося цветка чампака. Она спит сладко и безмятежно, не боясь попасть под стрелы бога любви. На бюсте ее красуются груди, которые

не расползлись еще вследствие безжалостных любовных объятий. Сердце мое льнет к ней, между тем инстинкт мой никогда меня не обманывал, сердце никогда не влекло меня туда, где могли бы быть нарушены соответствующие мне правила жизни. Если я дам волю своему чувству и обниму ее, то ясно, что она закричит, как ужаленная, и проснется. Но не обнять ее и лежать тут долее я не могу. Пусть что будет, то будет! На этом я испытаю свое счастье!»

Тут я дотронулся до нее настолько легко, что почти не коснулся ее вовсе. Жуть любви пронизала меня, и я продолжал лежать неподвижно, притворившись спящим. Она же слегка шевельнулась, почувствовав на левом боку (где я до нее дотронулся) сладостную дрожь. Медленно и лениво стала она чуть-чуть потягиваться. Кончики ее ресниц зашевелились, она приоткрыла глаза, зрачки смотрели томно и лениво, а веки еще слипались по краям глаз от не вполне прошедшего сна. Любовь удивительна в своих проявлениях, и каких-каких только не вызывает она вместе с собой разнообразных чувств. Тут виднелись разные оттенки чувства стыда, соединенные то с испугом, то с удивлением, то с восторгом, то со страстью, с шаловливым кокетством. Она хотела было вскрикнуть, чтобы разбудить служанок, и с большим трудом удержалась, чтобы этого не сделать. Едва-едва она сдерживала сердце свое, очутившееся во власти сильного порыва любви, и едва удержалась от каких-либо движений, при чем все тело ее покрылось от испуга, как от усилия, каплями пота. Она высоко подняла головку и, нежно прищурив глазки, с любовью тихо тихо рассматривала меня всего.

Вдруг, хотя сердце мое было совершенно полно страсти, я засыпаю вновь, затем чувствую боль во всем теле, как от прикосновения к чему-то твердому, и просыпаюсь. Осмотревшись, я увидел тот же самый дремучий лес, что и накануне; я оказался под тем же деревом, и подо мною было то же ложе из листьев и веток. Ночь стала проясняться. Я задумался. «Что это такое?» — мелькало у меня в душе. «Сон ли, или обман? Какое-нибудь божеское или дьявольское наваждение? Но будь, что будет! Я во всяком случае не покину этого места и этой свей постели на голой земле до тех пор, пока не узнаю, что это было в действительности. Всю свою жизнь, если на то пошло, буду я приходить ночевать сюда под защиту гения-хранителя этого места!»

Приняв это решение, я встал. Как вдруг показалась какая-то женщина. Все стройное тело ее казалось страдало, как страдает гирлянда лотосов под влиянием раскаленных лучей солнца. Она, видимо, была в разлуке с мужем и не заботилась о своей внешности. Ее верхняя одежда была в беспорядке, ее губы без помады имели красновато-грязный цвет, они сморщились, как бы иссушенные огнем ее вздохов. Казалось, что через них вырывается наружу жгучий огонь ее одиночества, вместе с красновато-коричневым дымом. Ее глаза были совершенно красны, казалось, они состояли из одной крови, все остальное вытекло из них в непрерывном потоке слез. Ее темные волосы были сплетены в одну косу в знак верности супругу во время

разлуки с ним, они обратились как бы в веревку, эмблему оков честного поведения. Эта темная коса на вершине ее тонкого тела напоминала темно-голубую ленту, прикрепленную к вершине шеста. Это было как бы движущееся знамя супружеской верности. Хотя она и очень, очень исхудала, однако вследствие божественного какого-то величия она не казалась совсем безжизненной, сохраняя кое какие краски. Я припал к ее ногам. Она страшно обрадовалась. Дрожащими руками она меня подняла, обняла, как сына, и поцеловала в голову. В ее грудях появилось молоко, казалось то выходила из нее ее материнская любовь. Оставшиеся слезы скопились у нее в горле, и прерывистым от волнения голосом она сказала.

РАССКАЗ ФЕИ.

Милый, я мать твоя. Разве не рассказывала тебе Васумати, царица Магадийская, про меня? Разве не рассказывала она, что однажды пришла к ней какая-то женщина, назвавшаяся дочерью Манибадры, которая передала ей в руки младенца Артапала, и, рассказав целую историю о себе, своем муже, сыне и подругах, историю, которую она в свою очередь слышала от самого бога Куверы,—скрылась. Это была—я, твоя мать. Отец твой—Камапал, сын Дармапала и младший брат Сумантра. Беспричинная ревность омрачила мой рассудок, и я бросила его. Потом я горько в этом раскаялась. Во сне я видела, как кто-то в образе демона подошел ко мне и проклял меня, сказав: «Ты ревнивая! Я поселюсь в тебе и проживу целый год, чтобы ты почувствовала горе житья в разлуке с мужем». С этими словами он вошел в меня, и я проснулась.

Год этот прошел. Мне кажется, что он длился тысячу лет. Прошлою ночью я отправляюсь в город Шравасти с целью провести там праздник в честь Шивы, трехглазого бога богов, а также повидаться со своими родными, которые на этот праздник все собираются из своих насиженных мест. Я хотела там же исцелиться от тяготевшего на мне проклятия и затем вернуться к своему мужу. На пути я натолкнулась на тебя в то время, как ты, кончая вечернюю молитву, проговорил: «Я отдаюсь под защиту гения-хранителя этой местности»—и заснул. Тогда я еще находилась во власти несчастного проклятия, я не могла сразу определить, кто ты. Но я подумала: «Раз он молит о защите, то не годится оставлять его одного в этом дремучем лесу, где он подвергается стольким опасностям»,—и, не разбудив, я взяла тебя спящим с собой. Когда же я пролетала мимо того царского дворца, где ты только что был, я подумала: «Могу ли я показаться на празднике в обществе этого юноши?»—и в это самое время я случайно увидала на верхней террасе женской половины дворца, где так приятно спится в летнюю пору, лежащую на широкой, мягкой постели, Навамалику, дочь царя Шравастийского, царя, носившего с полным правом имя Дармавардана, т. е. «защитника справедливости». «Хорошо, что она спит,—подумала я,—и все окружающие ее служанки погружены в глубокий сон! Пусть этот молодой брамин по-

лежит здесь часик другой, не более, а я пока успею слетать в город, исполнить там свои дела и вернуться во-время обратно».

Я положила тебя там на террасе дворца и сама удалилась в сторону города. Налюбовавшись блеском празднества, я зашла к своим родным и испытала радость свидания с ними. Затем я пошла в храм, поклонилась богу Шиве, владыке трех миров и, со страхом вспоминая о своем проступке, стала молиться владычице Амбике, его супруге, сердце которой известно своею милостью к существам, ей всецело преданным. И вот она, божественная дочь Гималая, с милостивою улыбкой обратилась ко мне со словами: «Не страшись, милая моя! Ты можешь теперь вернуться к своему супругу. Срок проклятия, тяготевшего над тобой, миновал». В тот же момент я снова оказалась во всеоружии всех своих сил и способностей. Тогда я вернулась туда, куда положила своего юного брамина, и, лишь только на него взглянула, сразу безошибочно признала в нем тебя.

«Как! Это мой собственный сын Прамати, дражайший друг моего милого Артапала. Как же это я, негодная, не узнала его и обнаружила такое к нему равнодушие! Кроме того, он уже успел влюбиться, да и царевна со своей стороны любит его, такого красивого молодого человека. И тот, и другая лишь представляются спящими. И стыд, и страх мешает им открыться друг другу. Теперь мне необходимо уходить. Молодого человека я возьму с собой. Тайна его посещения пока что будет сохранена. Она тронута любовью к нему и не проронит ни словечка ни подругам, ни служанкам. Впоследствии случай ему представится, и он сумеет найти надлежащие пути для того, чтобы добиться своей цели». Приняв такое решение, я пустила в ход свои чары, усыпила тебя и принесла тебя обратно на эту постель из листьев и ветвей. Вот что произошло! Теперь прощай, я возвращаюсь домой к стенам отца твоего».

При этих словах я встал, приложил ко лбу сложенные вместе ладони. Она же несколько раз меня обняла, прикоснулась к голове, поцеловала в щеки и, расстроенная приливами любви ко мне, удалилась. А я, будучи весь во власти пятистрелого бога Амура, пошел обратно в Шравасти.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ПРАМАТИ.

По дороге я зашел в большой купеческий поселок, где в это время происходил петушиный бой. Следившие за ним купцы страшно шумели, я подошел, смешался со зрителями и, увидав, в каких условиях начинается бой, невольно усмехнулся. Сидевший около меня какой-то старый брамин, повидимому старый плут, потихоньку спросил меня, почему я, собственно, смеюсь. Я ему ответил:

«Как же это, на самом деле: на восточном кону стоит петух нарикельской породы, несравненно более сильный, и против него на западном кону выпускается людьми, которые, очевидно, ничего не понимают, петух балакской породы!» Тогда старый брамин, который отлично это понимал, проговорил:

«Молчи! Не стоит учить дураков!» — и, вынув из кожаного мешечка бетелевый пакетик вместе с кусочком камфоры, предложил мне и стал занимать меня в течение некоторого времени разного рода интересными рассказами.

Между тем бой двух петухов развивался и достиг высшей степени ожесточения. При каждом ударе одного из них, державшая за него партия поднимала такой крик, что казалось зарезали льва. В конце концов петух западного кона был побит. Тогда мой старый плут-брамин, обрадованный тем, что победила та сторона, за которую он держал, и благодарный мне за то, что я не расстроил его планов, превратился в моего друга, хотя мы по возрасту и очень мало подходили друг к другу. Он в тот же день пригласил меня к себе на дом, предложил мне купание и угощение и на следующий день, когда я продолжал свой путь к Шравасти, он вышел провожать меня. На прощание он сказал: «Если будет в чем-либо нужда, вспомни обо мне!» Затем мы расстались, как друзья, и он вернулся к себе. Я же достиг Шравасти и, усталый от дороги, прилег отдохнуть в парке, прилегающем к городу, в беседке, покрытой вьющимися лианами.

Меня разбудил крик лебедей. Я встал и увидал идущую на меня молодую женщину, у которой на ногах шумели звенящие ножные браслеты. Она подошла ко мне. В руках у нее был написанный на полотне портрет какого-то мужчины, похожего на меня. Она по очереди смотрела на меня и на него и наконец остановилась на некоторое время не то с удивлением, не то с сомнением, не то с радостью. Я также был поражен сходством портрета со мною и, желая узнать, что заставляет молодую женщину искать чего-то и так меня рассматривать, так как без причины это быть не может, я решил вступить с нею в разговор.

«Зачем, на самом деле, утруждать себя и так долго стоять на ногах? — сказал я. — Не присесть ли нам? Вот, например, это прелестное местечко в этом дивном парке, оно всем одинаково принадлежит, и потому, заняв его, мы ни чьих прав не нарушим!»

Она улыбнулась, сказала: «Благодарю вас» — и присела. Между нами завязался разговор о разных предметах и, между прочим, о местных происшествиях. Втянувшись в разговор, она спросила меня:

«Ты, наверное, чужестранец. Видать, что ты как будто устал от путешествия. Если ты считаешь это не неудобным, то сделай милость, отдохни сегодня у меня в дому».

«Ах, милая моя, — сказал я, — это не только не неудобно, а весьма даже удобно!» И я последовал за ней. Придя к ней в дом, я был принят, как царь. После купания, угощения и т. п. благ мы расположились с ней в приятном уединении, и она меня спросила:

«Скажи, благородный господин! Во время твоих скитаний по белу-свету не случилось ли тебе испытать чего-нибудь непонятного?»

У меня мелькнуло в душе: «Ого! Это хорошее начало! Наверное, это одна из подруг молоденькой царевны, которую я ведь видел окруженною всем сонмом ее приближенных. На картине же этой изображена, кроме

того и верхняя терраса с натянутой над ней белой завесой, а также и очень широкая, белая, под цвет осенних облаков, постель, и лежащая на ней собственная моя фигура со слипшимися во сне глазами. Поэтому я догадался, что дело тут в следующем. Бог любви довел также и царскую дочь до такого состояния, что она, нестерпимо страдая от огня любви и не будучи в состоянии найти себе место, подверглась настойчивым вопросам со стороны подруг о причинах ее страданий. Не желая прямо сказать, в чем дело, она дала однако достаточно ясный ответ посредством ловко придуманного маневра, а именно—путем этого самого моего портрета Если она задает мне вопрос о том, не случилось ли со мной чего-либо непонятного, то это потому, что мое сходство с портретом вызвало в ней догадку. Я расскажу ей всю правду и рассею все ее сомнения!»

Приняв такое решение, я сказал: «Госпожа дорогая, дайте мне этот портрет». Она передала его мне в руки. Тогда я взял его и изобразил на соответственном месте той же картины также и ее, мою возлюбленную царевну, притворяющуюся спящей и находящуюся в смятении сильного порыва любовной страсти. Нарисовав ее, я прибавил:

«Когда я спал в дремучем лесу, то я видел вот такую именно молодую женщину спящей рядом с таким мужчиной. Должно быть, это сон!» Она обрадовалась, стала подробно меня расспрашивать, и я рассказал ей все происшествие со всеми подробностями. Со своей стороны, она мне расписала все разнообразные проявления чувства, вызванные у царевны, ее подруги, моим появлениям. Выслушав ее, я сказал:

«Если твоя подруга столь ко мне внимательна, и если сердце ее стремится ко мне, то повремени несколько дней. Я между тем найду способ устроиться так, чтобы, не возбуждая ничьего подозрения, жить у вас в серале, и тогда обращусь к тебе».

Не без труда уговорил я ее согласиться. Затем я отправился в ту самую деревню, где я познакомился со старым проходимцем брамином, и зашел к нему. Он засуетился, устроил мне отдых, дал умыться, накормил и сделал все прочее так же, как и в первый раз, и затем, когда мы остались наедине, спросил:

«О, благородный ариец, что привело тебя так скоро обратно?» Я отвечал:

«Твой вопрос, о, благородный ариец, как нельзя более уместен. Слушай же. Ты знаешь город Шравасти и слыхал о царе его Дармавардане, этом воплощении справедливости. У него есть дочь, превосходящая своею прелестью богиню Красоты, она является как бы дыханием бога Любви и своею нежностью превосходит свежий цветок жасмина. Зовут ее Навамалика. Случилось так, что я с ней встретился и она своими глазами так пронзила меня в уязвимое сердце мое, что, казалось, сам бог любви осыпает меня стрелами по самым жизненным частям моего тела. Не будучи в состоянии без тебя залечить эти раны, я пришел сюда, полагая, что ты подобен самому Данвантари, врачу богов, и что нет другого врача, тебе равного. Сделай милость, помоги мне в осуществлении некоего придуманного мною плана действий. Он состоит в следующем. Я пере-

оденусь в женское платье, и ты будешь выдавать меня за свою дочь. Мы вместе пойдем к царю, когда он в помещении судилища будет заниматься делами, и ты ему скажешь:

«Вот моя единственная дочь. Мать ее умерла сразу после родов. Я один ее вырастил, был для нее одновременно и отцом, и матерью. Мой родственник по женской линии, один молодой брамин, ее жених, отправился в Уджаини, главный город царства Авантийского. Там он приобретает познания, которые составят для него ту цену, которую он заплатит мне за мою дочь. Я дал слово выдать ее за него и потому не могу отдать ее другому. Между тем она уже выросла, а его все еще нет. Поэтому я решил сходить за ним, привести его, отдать ему руку дочери и затем, передав им все хозяйство, удалиться в пустыню. За взрослыми девицами, в особенности когда они лишены матери, нужно следить очень зорко, осуществлять же этот надзор очень трудно, потому я прибегаю к тебе, царь! Ты заменяешь твоим подданным, когда нужно, и мать, и отца, ты естественный защитник тех, кто находится в затруднении. Если ты меня, ученого брамина, пришельца, оказавшегося в затруднительном положении, милостиво причислишь к тем, на которых распространяется твое покровительство, о, ты первейший из царей, следующих по пути древних правителей! то пусть эта моя непорочная дочь поживет под защитою десницы твоей, как путник под тенью ветвистого дерева, я же пока схожу и приведу ее жениха».

Если ты будешь говорить с ним в этом тоне, то он будет польщен и поселит меня вместе со своею дочерью. Тогда ты можешь уйти. Следующий месяц будет март, и вот день мартовского полнолуния там празднуется. Все обитательницы сераля в торжественной процессии пойдут на купание. Ты тогда возьми с собою пару белой мужской одежды и дожидайся меня в храме бога Кумара, что в бамбуковой роще, к востоку от места купаний версты за четыре. Я же все это время, не возбуждая ни в ком ни малейшего подозрения, буду находиться в связи с царской дочерью и во время этого праздника буду особенно с нею забавляться в волнах Ганги, затем, воспользовавшись моментом, когда все девушки будут увлечены играми в воде, я нырну, проплыву под водой и вынырну как раз недалеко от тебя. Тогда я брошу женский костюм, надену принесенные тобою две мужские одежды и пойду вместе с тобою. Ты же будешь выдавать меня за своего будущего зятя (того жениха дочери твоей, которого ты привел из Уджаини). Царевна же будет ведь искать меня и, нигде не найдя, будет все время рыдать в серале и говорить: «Без нее мне жизнь не мила!» Между тем по поводу моего исчезновения произойдет большой переполох, служанки будут рыдать, подруги будут проливать слезы, городское население будет выражать сочувствие, царь со своими министрами не будет знать, что делать. Тогда ты приведи меня в приемный зал к царю и скажи ему следующее:

«Царь! Вот мой зять. Он достоин твоего царского уважения. Он знает писание, все четыре Веды, знаток также вспомогательной литера-

туры, ловкий диалектик, все шестьдесят четыре искусства он знает теоретически и практически, в особенности же он специалист в учении о слонах, о лошадях и повозках, никто с ним не сравнится в стрельбе из лука и в употреблении в бою палицы, к тому же он талантливый рассказчик древних преданий и сказок, автор поэм, драм и повестей, глубокий знаток политических учений вместе с секретным учением о некоторых приемах управления. Кроме того, он никогда не завидует чужим достоинствам, доверчив к друзьям, любезен, всегда поделится тем, что имеет, помнит то, что ему говорят, и не имеет никакой гордости. Вообще я не вижу в нем ни малейшего недостатка и не вижу того достоинства, которым он бы не обладал. Обыкновенный брамин, такой, как я, собственно недостоин иметь такого родственника. Я после того, как отдам ему дочь, как то приличествует моей старости, покину дом, войду в последнюю отшельническую стадию жизни, если только ты, о царь, одобришь мои намерения».

Когда царь выслушает такие твои слова, он побледнеет в лице, придет в совершенное замешательство и начнет вместе со своими министрами подготовлять тебя, распространяясь о невечности всего земного и т. п. Ты же, узнав, в чем дело, перестанешь их слушать, станешь плакать навзрыд и после продолжительных рыданий, глотая слезы, начнешь собирать дрова, разжигать огонь и делать все приготовления к тому, чтобы сжечь себя живым на могильном костре, тут же у ворот дворца. Увидев это, царь вместе с министрами немедленно бросятся к твоим ногам, упросят тебя остановиться и одарят тебя богатыми подарками, царь отдаст за меня свою дочь и когда я своими способностями заслужу его доверие, то передаст мне все бремя управления царством. Вот весь мой план. Его нужно привести в исполнение, если ты ничего против этого не имеешь».

Так как хитрый этот брамин был первейшим из пройдох и неоднократно осуществлял во всех подробностях хитро-задуманные планы обмана, то он очень ловко провел все, что только что было сказано, со многими добавочными подробностями. Результат не заставил себя долго ждать. Мы достигли всех наших целей. Подобно тому, как пчела использует и наслаждается свежим цветком жасмина, точно так же и я использовал и наслаждался чистой молодостью царевны Навамалики. Теперь я прибыл сюда в город Чампу со всеми своими войсками, имея в виду две цели: во первых, оказать помощь этому царю Синхаварману и, во вторых, для того, чтобы встретиться тут со всеми друзьями. Судьбе было угодно, чтобы я осчастливлен был свиданием также и с тобою, о царь!»

Улыбка просияла на лотосообразном лице царя, когда он выслушал этот рассказ о приключениях Прамати, и он сказал:

«Сила твоя лежит в очаровании, приемы твои отличаются мягкостью, люди проницательные предпочитают такой способ действий. А теперь твоя очередь!» — сказал сын царя земного и взглянул на Митрагупта.

(Продолжение следует)

Перевел с санскритского
Ф. Щербатской

И. КРАЧКОВСКИЙ

АРАБСКАЯ ПОЭЗИЯ

I

Обычное представление об «арабской» поэзии сложилось на основании стихов самого популярного в переводах произведения — «Тысяча и одной ночи». Представление это одновременно и правильно, и ошибочно — почти в такой же мере, как перенесение термина «арабская» культура на общемусульманскую в эпоху расцвета халифата и его упадка. Этот термин имеет свои основания, поскольку им подчеркивается главное объединяющее орудие культуры — арабский язык, но он не дает никаких прав судить о национальном арабском гении и его творчестве.

Стихи, пестрящие страницы «Тысяча и одной ночи»,—принадлежат, конечно, не героям повествований, а поэтам X — XIV века. Это был период, когда уже на всем протяжении стран с арабским языком появилась новая раса, даже этнически сохранившая мало арабского элемента от смешения завоевателей с покоренными. Остроумные изыскания одного испанского ученого показали, что у кордовского халифа Хишама II (IX — X в.) осталось не более 0,1% арабской крови, благодаря смешанным бракам его предков, о которых сохранились точные исторические данные. В средних классах эта пропорция выражалась не так резко, но там можно наблюдать другое явление: участие в развитии различных отраслей культуры представителей чуждых наций, пользовавшихся единым основным языком — арабским. Поэзия в этом смысле не представляет чего-либо особенного; исключать из поля зрения при научном анализе те образцы ее, которые созданы на арабском языке не арабами, было бы ошибочно, но так же ошибочно судить по «Тысяча и одной ночи» о чисто-арабской поэзии.

Арабской поэзией, в строгом смысле этого определения, можно считать лишь поэзию Аравии в доисламскую эпоху с примыкающей к ней по традиции поэзией VII — VIII века, не дальше конца династии дамасских омейядов (750 г.) Ей должно быть уделено преимущественное внимание не только в силу этого обстоятельства. Нельзя забывать, что именно она закрепила за поэзией всех последующих периодов и форму языка, и метрику, на очень долгий срок ограничила тематику и все композиционные приемы.

Хотя арабы появляются на исторической арене с исламом, но уже века за полтора до этого чувствуется в их среде заметное политическое и духовное брожение. Оно отражается, с одной стороны, в повышенном интересе к религиозным вопросам, подготовляющем постепенно почву для ислама. С другой стороны, такое же отражение можно наблюдать в несомненном

расцвете поэзии за этот период. Таким образом, одновременно с арабами на исторической сцене появляется не только ислам, не только новая религия, но и новый язык, несущий новую поэзию, недавно блеснувшую яркой вспышкой. Язык покорил весь мир, подчиненный исламом — факт в истории завоевания некультурными народами культурных областей достаточно редкий. Однако еще более удивительно, что метрика, развитая в арабской поэзии, подчинила себе даже чуждые лингвистически проявления творчества у других народов (например, у персов).

Эта, оказавшаяся такой могучей и жизненной, поэзия встает перед нами еще в эпоху до появления Мухаммеда в полной законченности и совершенстве одинаково со стороны языка, метрической формы, объема тем и композиционных приемов. Трудно сказать, какая именно сторона поражает нас больше своей выработанностью и полнотой. Это удивление испытывают не только наблюдатели, подходящие теперь со стороны, — его почувствовали сами арабы, едва они стали относиться сознательно к проявлениям своей духовной жизни. Прежде всего появилось стремление закрепить памятники своей поэзии. Устно они продолжали распространяться не дольше одного века после Мухаммеда, чаще всего при помощи особых рапсодов «равиев». Уже при династии омейядов начинаются первые записи; некоторые поэты и сами уже умели писать, хотя боязнь нарушить традицию заставляла иногда это утаивать. Усиленная деятельность собирателей поэтических памятников относится к половине VIII века (рапсод Хаммад, ум. 772 г., ученый Абу Амр, ум. 771 г.); ее разгар совпадает, что вполне понятно, с эпохой фиксирования грамматики (Сибавейх ок. 796 г.) и метрики (аль-Халиль ок. 790 г.). Таким образом, в начале IX века работа в общем уже закончена и накоплен громадный материал: достаточно отметить, что рапсод Хаммад хвалился своим знанием тысячи пьес с рифмой на любую букву алфавита. Весь этот колоссальный запас дошел до европейской науки далеко не в полном виде, и пропорция между существовавшим и уцелевшим будет очень ярка, если напомнить, что уже в VIII веке филолог Абу Амр говорил своим ученикам: «До вас дошла только ничтожная часть того, что сказали арабы».

Система распределения собранного материала бывала различна. Часто сборники посвящались отдельным поэтам или племенам (так называемые дивáны); иногда пьесы объединялись благодаря своей известности в прежние времена (так называемые «муáлляки» — отборные); иногда сборники связывались с именами определенных ученых редакторов (аль-Асмаыйят, аль-Муфаддалийят). Несколько позже начинают появляться антологии с распределением материала по сюжетам; одной из наиболее популярных в Европе, благодаря Рюккерту, сделалась аль-Хамáса, получившая название по первому отделу, посвященному доблести. «Книги песен» классифицируют материал по знаменитым мелодиям; в «Классах» (Табакáт) замечается исторический принцип с распределением поэтов по категориям. Еще позже истории появляется теория литературы, которая к концу IX века вырабатывает самостоятельную поэтику на арабской почве, с особенной любовью культивируя учение о тропах и фигурах.

Гибель значительной части этого материала все же не является такой опасной для научных выводов, как вопрос о достоверности записей, где возможны и частичные подправки старых памятников и фальсификации целых произведений. В общем, однако, наше положение оказывается значительно лучше положения самих арабов, которые не обладали ни исторической, ни сравнительной перспективой и часто не могли даже поставить те вопросы, к анализу которых мы рискуем подходить. И все же, перед этой поэзией наша беспомощность слишком очевидна. Мы видим только

статический, а не динамический облик; созерцаем лишь окончательный вид, а не всю линию предшествующего развития. Картина совершенно однородна, с какой бы стороны ни подойти.

II

Начнем с языка этой поэзии. Некоторые лингвисты не без основания видят в нем апогей семитского языкового творчества; при первом взгляде бросается в глаза колоссальный запас слов, разработанность форм, гибкость синтаксических оборотов. Все это ясно говорит о предшествующей долгой истории, но она нам неизвестна: письменные памятники арабского языка до ислама крайне скудны и, кроме того, исходят не из той среды, где создавалась поэзия. Кроме выработанности языка поражает еще и другое. Поэзия развивалась на очень обширной территории, захватывала центральное плоскогорье — Неджд, горную полосу на западе — Хиджаз, степь, подходящую к нижней Месопотамии. И вот, несмотря на широту и разбросанность областей, несмотря на партикуляризм множества отдельных племен, язык всей поэзии—един. Он остается таким же у Шанфары на плоскогорьи северного Йемена, как у пастухов хузейлитов около Мекки, или поэтов-степняков с Эфрата. При таких условиях единство языка делается несколько подозрительным.

Возникает вопрос, первичное ли это явление или создание поздних рапсодов и даже еще более поздних филологов, невольно или преднамеренно стиравших диалектические отличия и приводивших произведения к единому типу, который считался классическим. Есть и вторая возможность — не был ли этот язык искусственным, своего рода литературным до появления письменности, свойственным только отдельным племенам, которые приспособили его к поэзии; у большинства же он отличался от разговорного.

Оба предположения не выдерживают критики, и большинством ученых теперь на них дается отрицательный ответ. Конечно, за два века устная традиция вносила изменения, пока текст не был зафиксирован. Ученые-филологи невольно могли делать то же, тем более, что самое письмо не сохраняло вокализации. Однако о больших и сознательных переменах едва ли может быть речь. Сильной гарантией служит здесь рифма и ритм; сохранившиеся факты говорят о том, что филологи не только стирали диалектические особенности произведений, но всячески их выделяли. Искусственность языка тоже достаточно сомнительна. Это предположение плохо мирится с самими условиями жизни поэтов, с незатейливым содержанием их поэзии, со спорами о верблюдах, пастбищах и пр. В такой обстановке искусственность языка была бы достаточно необычна. Кроме того, еще и в IX веке Аравия сохраняет единство своего языка: ученые филологи считают, что бедуины в обыденной жизни пользуются чистым языком старой поэзии и обращаются к ним не только за разъяснением редких слов в стихотворениях, но и грамматических форм или синтаксических оборотов. Оседлое население, вероятно, и в ту эпоху говорило уже языком, отличающимся от языка бедуинов и поэзии, но сколько-нибудь резко сказалось различие диалектов лишь по расселении племен за пределами Аравии. В старину большая их часть жила ближе друг к другу и впоследствии не всегда утратила чувство единства. Подвижность кочевников сближала разнородные племена, способствовала несложному культурному обмену, выравнивала разницу в языке и сохраняла его единство. Язык поэзии обнаруживает большую обработанность, которая, конечно, свидетельствует о долгом развитии. Его зрелость сказывается особенно отчетливо по сравнению

с рифмованной прозой Корана, где нередки неудачные конструкции и чувствуется отсутствие единства в стиле. Вся сила поэтического языка сказалась в том, что он сохраняется в своей области почти в полном объеме до нашего времени.

Не менее разработки языка поражает нас разработка метрики; среди всех семитских языков только один арабский развил ее самостоятельно. Европейский научный анализ установил ее квантитативный характер, основанный на чередовании в стопе долгих и коротких слогов в определенной последовательности. По арабской формулировке, в основе лежит не понятие долготы или слога — неизвестное арабам, а понятие определенных комбинаций согласных с гласной. Конечно, древние поэты пользовались этой метрикой так же инстинктивно, как и языком, не отдавая себе отчета и не задумываясь о каких бы то ни было теориях. Самое фиксирование этой теории показалось арабам настолько смелым и неожиданным, что возник вопрос, не нарушены ли аль-Халилем прерогативы Аллаха, который один имеет право творить из ничего.

Наука на этом наивном изумлении остановиться не может; мы должны попытаться выяснить, как возникла метрика у арабов, если и не имеем даже возможности сказать, из чего она возникла. Материал для суждения здесь несколько богаче, чем в области языка. С одной стороны, некоторые детали уцелели в остатках самой поэзии, а сверх того не менее важны для нас сравнительные наблюдения над другими языками и поэзиями, в частности освещающие известный вопрос о работе и ритме. Анализ происхождения метрики попутно переплетается с вопросом о возникновении некоторых композиционных приемов и самых тем, которые удобно освещаются на том же фоне.

На древнейшей стадии можно установить появление еще не дисциплинированной ритмически, а лишь рифмованной прозы с очень короткими «устными строчками» — фразами («позвонками», как их называют арабы). Обыкновенно они вырываются как-то невольно, при сильных душевных эмоциях в форме оплакивания убитого или проклятия врагу. В условиях обыденной жизни теми же средствами пользуется рабочая песня. Особенного развития достигает эта примитивная рифмованная проза в речах и прорицаниях жрецов оракула — кáхинов, к которым по форме близко примыкают древнейшие части Корана. В дальнейшем идет, с одной стороны, переход в строго выработанную рифмованную прозу, а с другой — при большей ритмической дисциплине совершается постепенный переход к простейшей метрической форме — двойному ямбу (диямбу) — по-арабски рéджезу. В древнем периоде он сохраняется преимущественно в экспромтах: им пользуются герои для воинственной импровизации перед боем, женщины при черпании воды из колодца, погонщик, обращающийся к усталому верблюду во время пути, и т. д.

Из этого простейшего размера рéджеза-диямба совершается постепенное развитие других. Один из его факторов освещает очень популярная гипотеза, известная под названием верблюжьей. В кочевой жизни, при частых путешествиях очень важную роль играло хы́да — пение, которым погонщики сопровождают размерный ритмичный шаг верблюда. Верблюд — животное вообще еще более музыкальное, чем кавалерийская лошадь, привыкшая к духовому оркестру; понятно, что пение верблюжьих погонщиков могло не только приноровляться к ритму шага, но и ритм пения мог вызывать тот или иной шаг. Эта гипотеза очень удачно разъясняет многие размеры, но, конечно, в развитии их — при большом разнообразии пятнадцати форм — играли роль и другие факторы. В наиболее близких к рéджезу размерах один из ямбов в стопе заменяется анапестом. Постепенно

целые стихи ре́джеза сходят на степень полустиший; два полустишия образуют один стих с обязательной цезурой посредине и с рифмой, проходящей через все произведение по четным полустишиям. Эта форма и метрики, и рифмы сохраняется незыблемо до наших дней; новые типы появляются сравнительно поздно. Производные размеры применяются преимущественно уже не в экспромтах, как ре́джез, а в композиционно развитых формах, если не считать траурных заплачек и эпиграмм, которые одинаково пользуются обеими метрическими разновидностями.

III

Для арабской поэзии характерны не столько эти экспромты, которые у нее общи с продуктами примитивного поэтического творчества других народов, стоящих на том же уровне культуры, а единая и незыблемая, композиционно-развитая форма, так называемая каси́да. В ней слились все жанры арабской поэзии, кроме траурной элегии и сатиры, развившейся из экспромтной эпиграммы, но иногда обращающейся к той же касыдной форме. Жанры эти, строго говоря, не очень разнообразны: любовная песнь, описание (особенно природы и животных), прославление.

Как и в метрике, выработанность этой касыдной формы указывает на долгую предшествующую историю, реконструировать которую мы не в силах. Заходит она до древнейшего, при наших знаниях, периода — лет 150 до Мухаммеда. В противоположность экспромтам касыда требует уже большого количества стихов — до ста, обязательно в одном размере, с одной рифмой, а в особенности требует строго определенного плана. Все произведения древне-арабской поэзии, не подходящие под эту категорию, или представляют отрывки от несохранившихся целиком пьес, или экспромты. В противоположность последним касыды требовали уже тщательной обработки; известна легенда об одном поэте, который отделывал свои произведения в течение года. Этим же объясняется и сравнительная количественная бедность творчества; диван редкого поэта превышал 1000 стихов.

Установленный и неизменный тип касыды приблизительно таков. В начале предполагается, что поэт — в пути, конечно, на спине неизменного верблюда в сопровождении одного или чаще двух своих друзей: путешествие по пустыне в одиночку опасно и всегда требует спутников. Дорога приводит его к месту прежней стоянки своего или дружественного племени, с кольями от палаток, закопченными камнями, на которых стоял котел для варки пищи, с осыпавшейся канавкой около места палатки для стока дождевой воды. Поэт просит путников помедлить немного — с этого обыкновенно начинается стихотворение, — ведь эта лощина с кустами терновника, с высохшим теперь ковром травы хорошо знакома ему; он узнает прежнюю стоянку, где когда-то провел лучшее время своей жизни вместе с возлюбленной, когда оба они были молоды. Теперь жизнь и постоянные кочевки давно разлучили их друг с другом. На минуту останавливается он над этими опустелыми местами, где вместо людей бродят теперь только дикие антилопы, и погружается в воспоминания, проливая слезы. Но вот он снова вспомнил о настоящем, — в пустыне путнику медлить нельзя, а горе его развеют новые впечатления. Он погоняет своего верблюда и при этом случае дает его описание. Иногда он делает это так подробно, что нужно быть действительным знатоком и любителем благородного животного, чтобы по достоинству оценить описание. Быстрота бега дает поэту повод сравнить верблюда с диким ослом, страусом или диким быком, которого преследуют охотничьи собаки. Основная цель сравнения часто забывается; живая картина нарастает одна за другой в прихотливой

связи, но вдруг поэт вспоминает, что он сам едет на верблюде, что путь еще далек; он начинает повествовать об ужасах пустыни, о своей храбрости, преодолевающей все препятствия. Таким путем он добирается до того, что составляет основную цель произведения. Он воспевает или свои личные подвиги и веселую жизнь за попойками в шатре купца-иноземца, или славные деяния своего племени, или, наконец, восхваляет то лицо, к которому он едет по такой ужасной пустыне и которое, конечно, вознаградит его должным образом. Предчувствием этой награды или прямой просьбой о ней касыда и заканчивается.

Такова единственная композиционная форма арабской поэзии, которую мы встречаем и до ислама, и в наши дни. На бывающих в Европе международных конгрессах ориенталистов можно слышать, как делегат Египта, обыкновенно видный сановник, в приветственном стихотворении, описывая выезд из Каира, проливает слезы над следами покинутого кочевья, потом мчится на быстроходном верблюде по опасной пустыне, чтобы прибыть в Вену или Стокгольм и воспеть правящего там властителя.

Таков неизменный фон, клише и канва произведения, но, несмотря на полную шаблонность плана, талант и индивидуальность поэта создает на нем очень разнообразные картины с преобладанием тех или иных мотивов. Один поэт уделяет большее внимание любви и своим приключениям (Имруулькайс), другой — вину (аль-Аша), третий — охоте, а под конец жизни печальным мыслям о суетности мира (Адий). В древней поэзии рефлексия редко развивается под влиянием религиозных мотивов, вообще чуждых Аравии; единственный представитель их (Умейя) находился, вероятно, под воздействием той же среды, что и Коран. Вообще же все сюжеты неизменно нанизываются на канве единой касыды.

IV

Естественно возникает вопрос: в чем же значение и сила этой арабской поэзии, такой жизненной и в то же время такой однотипной? Ее роль для языка и истории надо оставить в стороне, так как она давно выяснена и при литературном анализе не может играть существенной роли. Несомненно, что в этой поэзии мы имеем древнейшие памятники арабского языка; для истории соответствующего периода они оказываются не только древнейшими, но, в сущности говоря, и единственными современными тем событиям, о которых говорят. Эта область нас теперь не интересует; нам предстоит только выяснить — какими поэтическими приемами древняя поэзия подчинила себе арабский мир в прошлом и вызывает непосредственную эмоцию с нашей стороны теперь.

Прежде всего останавливает внимание то обстоятельство, что словесная инструментовка этих произведений, в общем, слаба; звуковая сторона в этом периоде не вызывала внимания, и только изредка можно подметить внутренние ассонансы.

Немногим сильнее поэтическая семасиология — фигуры и тропы. Более часты только различные метафоры и метонимии, но особо нужно выделить сравнения, играющие очень важную роль. С одной стороны, они разрастаются в яркие описания, которые составляют главную прелесть древне-арабской поэзии, а с другой стороны сжимаются в эпитет — своего рода конденсированнное сравнение. В результате, основная сила поэзии сосредоточена почти исключительно в тематике — группировке словесных тем. Интересно отношение к эпитетам, которыми поэт заменяет нарицательные имена: пятнистый, короткошерстый (= леопард), гривастая, хромая (= гиена), белый, блестящий (= меч), длинный, желтый (= лук), трудящиеся

(=ноги) и т. д. Особенно обильно, конечно, количество эпитетов верблюда и коня. При такой системе иногда нужна особая догадливость и начитанность, чтобы определить, о ком говорит поэт; не представляет чего-либо исключительного случай с итальянским ученым, которой перевел как описание морского набега на галерах один отрывок с рассказом о ночном пути на верблюдах.

Употребление эпитетов может дать общее представление о большой конденсированности в изображении жизни. На протяжении каких-нибудь шестидесяти стихов у Ша́нфары мы находим ряд самых разнообразных картин. На первом плане стоит, конечно, пустыня, но ярко отражены и черты полуоседлой обстановки. Перед нами рисуются — отъезд, путь в степи, путники у водоема, ночное нападение на поселок, жители которого готовы приписать его духам, а не людям; проходят фигуры неумелого пастуха, собирателя меда, ловкого иноземца-ткача, ряд сценок из семейной жизни — неутешная мать, плачущие над могилой, муж, обо всем советующийся с женой, щеголь-домосед; не забыты и развлечения — игра в мейсир или кости, не забыта терзающая и в пустыне лихорадка, одинаково тягостный зной или холод. Видим мы несложное оружие бедуина: меч, лук со стрелами, щит. На ряду с людьми еще большее внимание Ша́нфара уделяет четвероногому и пернатому царству, сразу погружая нас в фауну Аравии; иногда несколькими штрихами, иногда подробно упоминаются — волки, леопард, гиена, змея, горные рябчики, сокол, страус, дикие козы, пчелы. И такова же будет насыщенность жизнью любого наудачу выбранного произведения древне-арабской поэзии.

Из всего этого калейдоскопа образов и картин с особенной силой останавливают на себе описания, посвященные почти исключительно природе. Таково, например, изображение перехода по пустыне в знойный полуденный час, когда кругом царит мертвая тишина, когда ничто не шевелится и лишь один хамелеон, как огнепоклонник, следит за движением солнца и с наслаждением жарится на ветке терна. Вот та же пустыня, но уже в мрачную, холодную ночь, когда змеи выползают из своих нор, где они провели, свернувшись, весь знойный день, когда кругом все копошится, все живет, когда ухо, пораженное звуками невидимых существ, невольно настораживается, а глаз принимает каждый неясный силуэт куста или выступ скалы за подстерегающего в засаде врага. Часто ночью разражается буря. Арабские поэты тонкие и глубокие наблюдатели грозы, для понятия которой в их языке существует много синонимов. Они со вниманием следят за приближающимся ходом ее, с замиранием сердца стараются определить ее направление, им хочется, чтобы эта гроза разразилась над землей их племени, так как смерть или жизнь зависит от того, хорошо ли будут орошены их степи. Они описывают, как темные массы облаков тяжело опускаются на горы, когда только по краям туч, в клубящихся складках можно заметить вспышки молнии, как они, наконец, разражаются ливнем, до блеска обмывающим черные скалы, которые напоминают только что натертых смолой верблюдов. Ливень гонит с гор в долину антилоп, горных козлов и всякую дичь; по сухому раньше руслу шумят бурные потоки, и на утро все ложе ручья усеяно мертвыми ящерицами и мышами.

Часто попадаются описания зверей пустыни, особенно дикого осла, который полон избытка сил и здоровья, носится по холмам и лощинам со своей ослиной «песней»; он предусмотрительный, заботливый отец семейства, на голых вершинах держит он свой наблюдательный пост, ревниво охраняя своих подруг; его храбрость отмечена на боках и спине бесчисленными следами от зубов и копыт своих соперников. Вот страус,

который, чуя приближение дождя или ночи, издали мчится к своему гнезду и, добравшись до него, выслушивает недовольную воркотню своей супруги. Вот горные рябчики, которые каждую ночь за много миль летят к водопою с неустанным криком и, едва сделав несколько глотков, пускаются обратно. Подробные описания хищных зверей попадаются реже: арабы не любят вспоминать льва, чтобы не накликать беды, но все же один рассказ про бой со львом современный переводчик Илиады на арабский язык признает достойным гомеровского эпоса.

И все это намеченное слабыми контурами богатство умещается в одной неизменной форме касыды. На ряду с языком и метрикой она — самое стойкое явление арабской поэзии. Именно она и должна служить наиболее ярким типом «арабской» поэзии, а не те стихи, которые цитируются героями «Тысяча и одной ночи».

V

И после ислама касыда продолжает сохранять свою стойкость. Даже наиболее знаменитый панегирик в честь Мухаммеда, известный под названием «Касыды плаща», построен по этому плану с обстоятельным введением об откочевке племени возлюбленной и описанием разлуки поэта с нею. Без особо сильных потрясений поэзия пережила эпоху Мухаммеда и первых халифов. Период омейядской династии в общем можно считать продолжением уже установившейся традиции; однако в нем же наблюдается развитие некоторых новых ростков, раньше существовавших только в зародыше. На ряду с основным течением в отчетливой форме выступает и другое, ранее поглощавшееся им.

Традиция, попрежнему в касыдной форме, окончательно становится выразительницей общественного мнения; поэты играют нередко очень важную роль, с которой вынуждены считаться и отдельные племена, и правители. Средоточием этой традиционной поэзии с такими определенными фукциями является естественно уже не Аравия, отходящая на степень провинции, а новые центры политической жизни — главным образом Сирия и Месопотамия. Преимущественно в них развивается поэтическая деятельность прославленного триумвирата этой эпохи — аль-Ахталя, Джарира и аль-Фараздака, благодаря яростной полемике которых мы можем перенестись в самую гущу племенных раздоров, не всегда сдерживаемых центральной властью. По самой форме произведений почти невозможно установить, что они создались уже после ислама.

Но культивированием традиции не исчерпывается вся поэзия этого периода. Исторический сдвиг произошел; за арабом-кочевником и завоевателем появляется на сцене араб горожанин и купец уже нового типа. Рядом с касыдой в новой среде вырабатывается самостоятельная любовная поэзия, уже законченная сама в себе, а не представляющая отрывка из вводной части касыды. Посвящена она любовной эмоции со всей несложностью вечной темы и со всем разнообразием ее выражения: разлука и свидание, страдание и радость, письмо и бессонница. Корнями эта поэзия заходит в ранний период, быть может, именно к вводным частям касыды; географически, некоторые истоки ведут нас, повидимому, в южную Аравию, где могло сказаться персидское влияние, господствовавшее здесь одно время до ислама. Центр этой поэзии — «светом осиянная» Медина, среда — торговая аристократия и близкие к ней круги певцов и музыкантов, поддерживаемые богатыми меценатами. Не нуждался в средствах и главный представитель этой поэзии — горожанин Омар Ибн Абу-Рабиа — «виднейший певец любви среди арабов», по отзыву Рюккерта. Немного позднее

появляется ряд бедуинских поэтов того же направления: безумный от любви Меджнун и Лейля, которые в мусульманской литературе на всех языках еще более популярны, чем в Европе Ромео и Джульетта, поэт Джемиль из увековеченного Гейне племени узра, которые «полюбив, умирают». Эта поэзия находит себе доступ ко двору в лице трагически кончившего жизнь уроженца Йемена красавца Ваддаха; нередко ее культивируют и любители веселой жизни дамасские халифы (Язид, Валид II).

Нас эта поэзия привлекает прежде всего сравнительной легкостью языка в противоположность традиционной. Ее основной признак — отказ от касыдной формы при сохранении той же метрики и проходящей через все стихотворение одной общей рифмы. Вся она выдержана в мягко-сентиментальных тонах, которые одинаково контрастируют с примитивной яркой чувственностью некоторых до-исламских поэтов (например, Имруулкайса) и с душной тепличностью, иногда прямой извращенностью поэзии эпохи Харуна ар-Рашида. Для арабов эта поэзия не менее типична, чем касыдная форма. Она оказала на последнюю известное влияние, выразившееся в том, что в вводной части касыды стала проявляться некоторая свобода: на ряду с воспоминанием о стоянке племени поэт иногда начинает непосредственно с описания красавицы.

В омейядской поэзии интересно еще одно явление: вспышка реджезной формы с несколько определенными задачами. Эта вспышка вызвана, повидимому, попыткой ее оживить и возвести на степень касыды и по плану, и по содержанию. Попытка исходила, быть может, из индивидуальных стремлений, если судить по тому, что виднейшими представителями этой формы оказались члены одной семьи (аль-Аджжадж и сын его Руба, ум. 762 г.). В противоположность самостоятельной любовной поэзии здесь особенно дает себя знать большая сложность языка, иногда повидимому сознательная. Основные сюжеты ее строго определены, — обыкновенно это описание пути в пустыне или рассказ про охоту. Они утвердились за реджезной поэзией на несколько веков; с окончательной переменой культурных условий место пустыни заняли цветники и сады, но охота попрежнему сохранила свое значение. Соперничество реджезной формы с касыдой не имело, однако, длительных последствий; оставшийся в силе старый композиционный план попрежнему пользовался не реджезом. Временная вспышка скоро погасла.

С омейядами завершается чисто арабский период в истории халифата; с полным основанием один немецкий ученый называет свою книгу, посвященную этому периоду — «Арабское государство и его падение». Внутренние изменения, конечно, происходили с первых шагов ислама за пределами Аравии, но общий дух пока еще оставался арабским. Сохранялись даже некоторые традиции кочевой жизни: дамасские халифы особенно любили загородные дворцы на границах с пустыней. Духовный центр, однако, еще при них перешел в Месопотамию; новая династия аббасидов перенесла туда и политический с 750 г. Обыкновенно эта эпоха считается периодом нового духа в жизни халифата — персидского; живыми представителями его служат некоторые династии всемогущих везирей (хорошо известных по «Тысяча и одной ночи» — бармекидов, менее популярных наубахтидов и др.).

Резкость перехода в своей области определенно чувствуют и выражают современные поэты. После прорывавшихся иногда и в эпоху омейядов отдельных намеков, впервые теперь раздается настойчивый и вполне оформленный протест против тем традиционной поэзии. «Лучше пустыни, где заблудится горный рябчик, лучше знаменитых гор племени тай и ваших описаний каменистых скал — посмотреть на двух влюбленных, которые не сводят взора друг с друга» — заявляет один поэт. Другой выска-

зывается еще резче: «Описание следов кочевья — красноречие глупца; направь свои описания на дочь виноградной лозы... Оставь следы, пусть их развеет ветер... Не плачь по Лейле и не веселись с Хиндой, а пей около розы красное, как роза».

Этот протест показывает, что рамки арабской касыды становятся тесны и, хотя традиция попрежнему сильна, намечаются сознательно, иногда при этом наивно, пути к отходу от нее. В противоположность периоду с идеалом бедуинской жизни наступает период утонченной и распущенной городской. В поэзии чувствуются иногда ноты Омара — этого мединского Дон-Жуана, но вместо здорового воздуха пустыни все обвевает тепличная, пропитанная искусственными благовониями атмосфера городской и еще чаще придворной жизни. В большом количестве вводятся темы вина и пирушек, особенно талантливым Абу Новасом, которого не по заслугам сравнивают с Гейне. Тема вина проникает во вводные части касыд; все чаще в них вместо красавицы мы встречаем описание красавца, быть может не без влияния персов. Картины пустыни становятся реже, и на замену им появляется сад или цветник. Иногда начинают звучать как бы новые ноты: на ряду с гедоником Абу Новасом в этом же периоде мы встречаем поэта аскетизма и рефлексии, подкупающего нас простотой языка, хотя иногда она переходит в прозаичность. Пробудившийся интерес к отвлеченному мышлению находит отражение в самых образах поэтического языка. Как и в древней поэзии, чужды попрежнему арабам чисто религиозные и мистические мотивы: мистики, конечно, пользовались часто арабским языком и стихотворной формой, но в этом периоде все сводилось к изложению в стихах своего мировоззрения. И знаменитый аль-Халлидж, распятый в начале X века за свой еретический девиз «аз есмь истина», не представлял исключения.

Все же, несмотря на новые темы, надо констатировать, что касыдная форма далеко не умерла в этом периоде. Именно в эту эпоху появляются два поэта (Абу Теммам и аль-Бухтури), которые и по своим композиционным приемам, и по тематике всецело поддерживают традицию. Популярность их далеко не ограничилась эпохой, когда они жили. Типичной фигурой для аббасидского периода в его лучших чертах является их младший современник «однодневный халиф» Ибн-аль-Му'тазз (уб. в 908 г.). На ряду с традиционными темами он с особой склонностью обращается и к другим сторонам: вино, цветы, любовь изображаются им в свободных картинах, понятных нам и по духу, и по языку. По принятому обычаю он пользуется реджезом для описания охоты и делает попытку хроники в стихах — бледное отражение эпоса, в общем отсутствующее на арабской почве.

VI

Характерной чертой нового периода является не иное отношение к темам, а главным образом к поэтической фонетике и семасиологии, к различным тропам и фигурам, к тому, что арабы называли «новым» в стиле, которое находит себе известную параллель в термине средневековой поэтики. Конечно, это «новое» появилось не сразу, и первый теоретик его — тот же самый поэт Ибн-аль-Му'тазз прав, указывая на отдельные примеры в Коране и старой поэзии; однако он так же прав, говоря об их случайности и непреднамеренности. Этот «новый» стиль — разукрашивание поэтического произведения большим количеством фигур — совершенно меняет вид стихов: если для чисто арабской поэзии характерен тип касыды, то для всей позднейшей так же характерно внимание к этой стороне. Фигуры и приемы этого нового стиля искусственно вырабатываются:

первый исследователь насчитал только пять, впоследствии число их переходит за сотню.

Появление первой теории поэзии в конце IX века знаменует окончательное фиксирование ее в определенных границах, как за век перед этим грамматика зафиксировала источники языка. До-исламская и аббасидская эпохи представляют два апогея арабской поэзии; теперь начинается систематический упадок. Это не значит, что число поэтов уменьшается; попрежнему мы можем насчитать сотни в каждом столетии. Не значит это и отсутствия вспышек отдельных талантов.

Еще в X — XI веке в Сирии мы встречаем целую группу выдающихся представителей, объединяемых культурным центром при дворе эмиров хамда́нидов в Алеппо. Один из них аль-Мутана́бби особенно популярен до наших дней, несмотря на большое разногласие в его оценке арабских критиков, начиная с эпохи его жизни. Если мы подойдем с анализом по ведущейся нами линии, то едва ли найдем в его творчестве что-либо новое. Неизменной мы видим касыдную форму, хотя сам поэт иногда протестует против нее; систематически наблюдается перегруженность фигурами «нового». Влечет нас к аль-Мутана́бби суверенное владение языком, его яркая фантазия, иногда — надо добавить — выходящая за пределы вкуса и такта. Сильна в нем нота пессимизма и рефлексии, звучащая более глубоко, чем у его месопотамского предшественника.

Пессимизм и рефлексия заставляют вспомнить про другого, младшего представителя Сирии Абу-ль-Ала́, быть может единственного среди арабов поэта, который заслуживает внимания в мировом масштабе. Вместе с его критиками-единоплеменниками мы должны сделать одну оговорку: и он, и аль-Мутанабби заслуживают названия не поэтов, а философов, писавших стихами. В творчестве Абу-ль-Аля мыслитель часто находит себе больше пищи, чем эстетик или историк поэзии. Все же анализ его и с этой стороны представил бы благодарную задачу. В юности им владеет еще касыдная форма с обычным ее содержанием, несколько смягченным уже аббасидским периодом. Талант пробивается и здесь: им создается своеобразный, очень живой цикл «кольчуг» — пьес, посвященных описанию их на фоне ряда бытовых картин с остроумной фабулой. Славу составил он себе небольшими произведениями, отражающими его мировоззрение, которые получили свое название от объединяющего их внешнего признака: очень сложной двойной рифмы.

И в других веках можно назвать выдающиеся единицы среди представителей поэзии. В XIII веке встречается поэт утонченной жизни — эстет культуры, сановник египетского двора Беха-ад-дин Зухе́йр (ум. в 1258 г.); два мистика влекут любителей и исследователей поэзии не столько содержанием, сколько — один (Ибн-аль-Фа́рид) вычурным и талантливым владением стилем «нового», другой (Ибн-Араби) силой выражения любовной эмоции, если подходить к ней непосредственно, как мы подходим к Хафизу, не подчиняясь мистическим комментариям, дающим толкование с своей точки зрения.

В общем, однако, весь период, начиная с X — XI века, несмотря на блестящие единичные исключения, представляет безнадежный упадок. Его особенно характеризует гипертрофия нового стиля, когда не только самый сюжет, но и другие приемы никакой роли для поэта уже не играют. Типичным в этом отношении является популярный для всего позднего периода поэт Сафи-ад-дин аль Хы́лли (ум. ок. 1351 г.). В его диване мы находим двадцать девять касыд, которые не только рифмуют поочередно на все буквы алфавита, но и начинают свои стихи соответствующими же буквами; находим пьесу, заключающую 151 фигуру «нового». Иногда

отходит на задний план даже слуховое значение стихов и проявляется стремление к зрительному впечатлению: у аль-Хы́лли есть послание, в котором все слова написаны буквами без точек. Для периода упадка показательны пьесы, где каждый стих представляет пример определенного тропа; впоследствии вносится еще новое ухищрение — в каждом стихе должен быть заключен намек на название соответствующего тропа в каком-нибудь слове. Попрежнему остаются популярными пьесы в честь Мухаммеда — бесчисленные подражания современной ему «касыде плаща»; особенный интерес вызывают мелкие формы — загадки и хронограммы, распространяющиеся в громадном количестве. Стихотворцы проявляют всячески свою ловкость во владении языком и метрикой, не заботясь о содержании: излюбленными делаются две формы — так называемый таштыр и тахми́с. Для первого каждый стих какого-либо произведения разбивается на два полустишия; к первому из них стихотворец пристраивает новое в рифму с бывшим вторым полустишием; перед последним тоже сочиняется новое полустишие, и таким образом вся пьеса увеличивается в два раза. Для тахмиса к каждому стиху присоединяются три вновь сочиненных полустишия с рифмой бывшего первого; в результате старая пьеса разбивается на строфы по пяти полустиший каждая, на число которых и дается намек в самом заглавии.

В тахмисе мы можем видеть известную разновидность строфической поэзии, бывшей чуждой арабам до этого времени. Именно развитие строфической поэзии и является тем течением, которое в эпоху упадка на время всколыхнуло начинавшие мертветь формы, как в конце династии омейядов так же всколыхнула их вспышка реджезной поэзии. Начало ее ведет нас, повидимому, в Испанию арабского периода, с которой связано так много заманчивых, все еще не решенных вопросов о поэзии трубадуров вообще, о происхождении рифмы и распространении ее в романском мире и т. д.

VII

Если до сих пор Испания оставалась у нас в стороне, то это объясняется исключительно тем, что ее поэзия изучена еще меньше, чем восточной части халифата. Только один поэт из этой области издан критически, только за время войны мы получили монографии о двух других. Доступные нам в широком размере памятники начинаются только с XI века; предшествующее развитие остается в тени.

Несомненно и здесь одно общее для всего арабского мира явление — единство культуры; в этом отношении Испания ничем не отличается от востока. Мы не можем судить, конечно, переживала ли она самостоятельно «героический» период, соответствующий до-исламской стадии арабской поэзии; скорее на это можно ответить отрицательно, но все же и здесь мы застаем формы либо касыдного типа по строго выдержанному плану, либо мелкие произведения типа Абу Новаса. По всем же приемам поэт Испании или Сицилии ничем не отличается от поэта Дамаска или Багдада; и у первых такую же важную роль играет пустыня и верблюд, хотя здесь они во всех отношениях были только поэтическими клише даже без ассоциаций, существовавших на востоке халифата.

И все-таки внутренняя жизнь поэтического духа пробивалась независимо от этих форм. Вспышка строфической поэзии особенно интересна потому, что проливает некоторый свет на эту неканонизированную жизнь. Один из простейших типов этой поэзии, так называемый «мува́шшах» (буквально «опоясанный»), имеет следующую структуру. Произведение заключает от четырех до десяти строф. Основная чаще всего состоит

из двух стихов с рифмой по полустишиям; к ней примыкает так называемая «круговая» (даур) обыкновенно в пять стихов, при чем три из них получают самостоятельную рифму, два последних повторяют рифму основной, которая таким образом «опоясывает» все произведение. Разновидностей и в смысле количества стихов в строфе, и в смысле условий рифмы очень много; один исследователь насчитывает их не меньше 250 форм.

Зародыши этой поэзии можно уловить еще и в древней в виде внутренней рифмы, разбивающей стих на равные части (так называемый «тасмит»), однако самостоятельное существование она получила, повидимому, на западе. Хронологические даты здесь особенно интересны, так как позволяют достаточно точно проследить этапы постепенного движения. Первые определенные указания источников ведут нас в Испанию начала XI века (Убáда ибн-Маасéма около 1035 г.), расцвет падает там на XII век. В конце его замечаются первые следы на востоке, здесь мувашшах крепнет преимущественно в эпоху Саладина и его ближайших преемников, но в Испании в XIV веке уже окончательно замирает. Права гражданства, однако, новая форма приобрела и закрепила; в глазах строгих критиков по сравнению с касыдой она все же продолжает считаться поэзией более низкого сорта, не всегда достойной истинного литератора. Язык она сохраняет обычный классический, удерживает в большинстве случаев и установленные метры. По содержанию мувáшшах примыкает не к древней, а к аббасидской поэзии; в трактовке тем он очень скоро перешел в неизменное клише, ставшее еще более шаблонным, чем касыдная форма.

Для истории европейской средневековой поэзии важнее мувáшшаха другая разновидность строфической поэзии — зáджаль (собств. мелодия). Родина его — та же Испания, но до сих пор мы знаем только одного крупного представителя—Ибн Кузмáна (ум. в 1160 году). Заджаль состоит обыкновенно из 6—9 строф с одинаковым числом стихов (4—10) в каждой; исключение представляет первая — обыкновенно двустишие — выражающая идею, метр и рифму всего стихотворения. Разновидностей в комбинации строф и рифм у зáджаля так же много, как и у мувáшшаха. По содержанию зáджаль распадается обыкновенно на две части — любовную и хвалебную; в содержании не остается уже ничего старо-арабского — нет кочевья или верблюдов, нет исторических тем или намеков. В этом отношении зáджаль идет еще дальше мувашшаха, но главнейшее их отличие в языке: у зáджаля он чисто народный диалектический местный, тогда как в мувáшшахе общий для всего халифата классический. Соотношение этих разновидностей строфической поэзии между собой до сих пор не удалось выяснить: некоторые считают мувáшшах поднятым до степени литературной обработки заджалем, другие видят в последнем вульгаризацию мувáшшаха.

Историческая роль их была различна: если мувáшшах несколько утвердился и на востоке, то зáджаль там не привился, несмотря на отдельных талантливых его представителей. По языку он определенно обращался к народной среде, быть может вышел из нее и уже поэтому не мог создать прочного положения в глазах книжников-литераторов, какими по преимуществу являлись арабские поэты. Зато народная среда и устное распространение, не сдерживаемое политическими и национальными преградами, вынесли его в другую сторону, в средневековую Европу, и здесь значение зáджаля начинает вскрываться в последние годы с неожиданной силой и яркостью.

Хронологические даты и тут направляют нас в определенную область. Вся сила и полнота романской поэзии обнаруживается с развитием dolce stil nuovo, который распространяется крайне стремительно в XII веке на средиземноморском побережьи, связанном с мусульманами: в Каталони,и

Галисии, Провансе, Италии. Исследования показывают, что система пользования метрическим материалом здесь такова же, как у мува́шшахов и за́джалей Кордовы и Гренады, пышным цветом развернувшихся за 50 лет до этого. Провансальская форма у самых ранних трубадуров с мельчайшими случайными отступлениями напоминает арабскую в Испании. Обычным возражением против возможности прямого влияния арабов служит указание на малую распространенность арабской письменности среди романских народов. При непосредственном устном распространении этот довод падает, особенно если принять во внимание народно-диалектическую форму за́джаля. Двуязычность испанского населения в эпоху арабов — установленный теперь факт, и, быть может, скоро всеми будут приняты слова испанского ученого о том, что «таинственный ключ, который объясняет механизм поэтических форм разных лирических систем культурного мира в средние века, скрыт в андалусской лирике, представленной песнями Ибн Кузма́на».

В этом — уже мировое историческое значение арабской поэзии, такое же мировое и плодотворное, как всей арабской культуры. Как бы найдя другое русло для своих течений, внутри она окончательно замирает, выдвигая лишь изредка отдельные интересные даже не фигуры, а только произведения. Еще к XVII веку относится занимательная по бытовым деталям и народному языку поэма аш-Ширбини (ок. 1687 г.) про жизнь египетского феллаха, не лишенная юмора, с древнейших времен находившего отклик в долине Нила. Во все это время не прекращают появляться образцы искусства, стоящие на границе с фокусами: в том же XVII веке некий Юсуф-ибн-Ымра́н пишет касыду в 60 стихов с одной рифмой на слово «аджуз» в 60 различных значениях... Вообще, с эпохи возрождения в Европе арабская поэзия, количественно не иссякая, продолжает существовать в традиционных рамках, но по существу влачит жалкую жизнь, а нередко окончательно замирает. Период XV — XVIII века для нее самое мрачное время.

VIII

Возрождение начинается только с XIX века. Теория о связи исторического развития с оживлением международных сношений может быть применима и здесь. Толчком послужила экспедиция Наполеона, захватившая в круговорот Египет и Сирию; почву для возрождения подготовила инфильтрация европейских школ. Датировать оформление «новой» поэзии у арабов мы можем с того периода, когда выросло поколение, уже воспитавшееся на новых началах, т. е. 60 — 70-ые годы; окончательный облик она приобретает в 80—90-х с периодом усиленной эмиграции в Америку. На количественное богатство немало влияет развитие типографского дела, в предшествующие века не игравшего существенной роли.

Как и вообще в новой литературе, здесь мы сталкиваемся с двумя элементами — старая традиция и новые влияния, проникающие с распространением языков через школу или переводы. Не всегда эти элементы вступают в борьбу: нередко они существуют параллельно, каждый находя поддерживающую его среду. Сравнение классической поэзии с новой поражает скорее близостью, чем расхождением.

В языке литературная форма, единая для всего арабского мира, продолжает держаться с прежней устойчивостью. Народный диалект существует только как исключение, не поднимаясь до нормальных слоев литературы. Сфера его — обыкновенно юмор и сатира, часто не лишенная таланта (до сих пор популярна «Песня о блохе» Муна́йяра нач. XIX века). Богато развита, конечно, народная поэзия с очень разнообразными метрическими

формами (особенно на Ливане), но она и теперь не встречает внимания со стороны своей интеллигенции не только как литература, но даже и фольклор. Основываясь на общем масштабе, можно сказать, что по языку современная поэзия не отличается от поэзии VII — IX веков.

Столь же упорно держится метрика, если принять сделанные уже оговорки. Мува́шшах, правда, получил права гражданства в новой поэзии большие, чем в период упадка, но все же форма отдельного стиха остается попрежнему классической. Несколько большая свобода и разнообразие вносится в обращение с рифмой. Поэтическая фонетика и семасиология примыкают почти всецело к аббасидской или упадочной.

Самый больший сдвиг произошел в тематике и композиционных приемах. С одной стороны, и здесь нас поражает обилие старого, иногда доведенного до уродливых размеров. Если в XIV в. писали стихи буквами без точек, то теперь пишут такими буквами, даже в названиях которых нет точек (Языджи); если отрывок раньше содержал хронограмму, то теперь он содержит несколько десятков хронограмм (Каббадо). И теперь найдем мы попрежнему пьесу в 23 стиха с рифмой на одно и то же слово (Кера́ме) или оду в честь тунисского бея с воспоминанием о той самой красавице, которая увековечена панегириком в честь Мухаммеда (Шидья́к). Вся касыдная бутафория продолжает сохраняться, особенно в странах, удаленных от культурных центров, как Месопотамия.

Однако на ряду с этим везде и даже в той же самой Месопотамии неожиданно пробивается новая струя, возникает стремление вовлечь в поэтическую обработку все окружающее вплоть до электричества, лучей Рентгена или граммофона (багдадский поэт ар-Руса́фи). Стремление часто носит наивный характер: поэзию думают спасти из оков традиции путем рецепта определенных тем, как это делалось и в девятом веке. Иногда чувствуется полная беспомощность перед сюжетами, которая очень живо напоминает наши споры в начале XX века о том, достойно ли поэта упоминать в стихах трамвай. Обыкновенно дело решается тем, что в старой форме меняется только название объектов поэтического внимания: в традиционной касыде вместо верблюда появляется поезд.

Более показательно появление новых жанров, раньше не привившихся на арабской почве. Девятнадцатый век выводит на сцену трагедии ложноклассического стиля в стихах: позднее отражение французских мастеров, с одной стороны, не без влияния однако Шекспира, с другой. На арабский быт переделывается тоже стихами Мольер; автор переделок египтянин Осма́н Джалля́ль несомненно не лишен таланта, но сценического успеха его произведения не имеют. Они написаны не обще-литературным, а народным языком, и это попрежнему дает повод публике не относиться к ним серьезно. На ряду с драмой начинает развиваться эпос и вообще повествовательная поэзия. Перевод в начале XX века Илиады на арабский язык является очень крупным событием и вызывает всеобщий интерес. Под влиянием Илиады возникает поэма «Пожар Сан-Франциско», написанная сирийцем, жившим в Америке Амином Хайралла́хом. К типу поэм приближается и «Греко-турецкая война» Ахмеда Шауки; ему принадлежит целый ряд рассказов в стихах и живо написанные оригинальные басни.

Все же, несмотря на явное оживление и происшедший сдвиг, в области лирической поэзии, быть может больше, чем где бы то ни было во всей ново-арабской литературе, сказывается доминирующая роль традиции. Жалобы поэтов XIX века в этом отношении очень напоминают то, что раздавалось в IX-м. Еще в 1909 году Ха́физ Ибраги́м, один из крупнейших египетских поэтов, так обращался к арабскому стиху:

«Погиб ты среди рассудка и фантазии, мудрец душ, сын величия.

Погиб ты на востоке среди спящих людей, которые не могут очнуться, среди народа обленившегося.

Унизили тебя среди веселья и кубка, любви к «антилопе» или «газели», среди воспевания красавиц, хвалы и сатиры, элегии, соблазна и заблуждения,

среди храбрости, которая ни к чему не годна, и унижения, которое горделиво волочит шлейф.

Жил ты среди них униженным, погибшим; таков был ты и в прежние времена.

Возложили на тебя заботу о любви к «Лейле» и «Сулейме», об остановке у остатков кочевья,

о плаче по вельможе отшедшем, о следах, которые уничтожены ночами.

А когда твой сан возвышали, то помещали тебя на седла у верблюдов.

Настало время, стих, разбиты оковы, которыми связали нас зовущие к несуществующему теперь.

Снимите же с нас эти намордники, дайте нам вдохнуть ветерок с севера».

IX

Может быть, Хафиз Ибрахим прав, ожидая возрождения поэзии от «ветра с севера»; вероятнее, что оно будет связано с целым комплексом разнообразных условий. Пока надежнее ставить прогноз не в смысле гаданий о неопределенном будущем, а на основании выводов из прошедшего. Тогда пред нами может возникнуть такая картина. Единым общепризнанным языком арабской поэзии, вероятно еще надолго, останется его стойкая литературная форма. В метрике пойдет дальше заметное и теперь стремление воспользоваться богатыми средствами народной поэзии. Для длительного процветания необходим критический выбор здоровых зерен из прошлого и систематическое приобщение к европейским литературам, в особенности их классическим образцам, до сих пор попадавшим к арабам случайно.

Новый период арабской жизни и, вероятно, арабской поэзии начался в связи с событиями после 1914 года, но судить о нем мы еще не можем за недоступностью материала.

И. Крачковский

П. Август 1923 г.

М. ШАГИНЯН

АРМЯНСКИЕ СКАЗКИ

1

В начале прошлого столетия Кавказ посетил просвещенный путешественник, барон Гакстгаузен. Ему принадлежит едва ли не первая критическая запись армянских сказок. Не зная языка, он пользовался услугами родоначальника армянской новой литературы, Хачатура Абовяна, и одного соотечественника, колониста Петра Нея, который за легкое усвоение восточных языков и знание множества сказок был прозван им Шехеразадой. В итоге были записаны 24 сказки. Среди них есть и татарские, и чисто армянские. Разумеется, мы должы помнить, что вполне полагаться на Гакстгаузена нельзя. При всей его осмотрительности, он все же брал материал из вторых рук. Однако несколько приведенных у него сказок в точности совпадают с эриванскими сказками, собранными позднее, только изложены они у Гакстгаузена изящней и литературней.

Внимание Гакстгаузена к армянской словесности сыграло большую роль и в личной жизни Абовяна, и в армянской общественной жизни. Появились собиратели сказок из среды образованных армян. Пионером этого дела был выдающийся человек, епископ Гарегин Сурвандзтян, умерший в 1892 году. Ему принадлежат с любовью составленные сборники сказок «Хамов-хотов» (что значит: со вкусом и с запахом), «Манана» (манна небесная) и «Грох-Брох» (не переводимая игра слов). Они по сю пору служат любимым чтением в армянских семьях. Дело собирания перешло на более научную почву, когда в 1906 году этнологом Ервандом Лалаянцем было основано в Тифлисе «Армянское этнографическое общество» и «Этнографический журнал», существующий с 1896 года и посвященный главным образом армянской словесности. В нем было помещено множество армянских сказок. Также и в Москве, в издающихся при Лазаревском Институте Эминских этнографических сборниках был помещен материал, собранный Айкуни в разных местах преимущественно турецкой Армении, и 6 сказок кавказских армян, записанных Александром Мхитарянцем, а всего 96 сказок. Они размещены в I, II и IV выпусках. Затем еще очень недавно, года два назад, Лалаянц издал три тома сказок (тоже около ста) под общим названием «Маргарит» (в переводе жемчужина), записанных в Аштараке, Вахаршапате, Ошакане и других эриванских деревнях, а также со слов выходцев из персидской и турецкой Армении. IV и V выпуски этого издания еще только готовятся к печати. Во время войны была снаряжена научная экспедиция в завоеванные области Армении, давшая уже через пять месяцев богатые результаты: за-

писано 872 сказки, которые составят в общей сложности 50—60 томов. Материал получается необозримый. Конечно, не все в этом богатстве национально-армянское; но важен неоспоримый факт: творчество сказок присуще армянскому народу в высокой степени.

Обратимся к кавказскому армянству и посмотрим, как оно слагает свои сказки.

2

Кончилась страдная летняя пора; зимою, посветлу, армянский крестьянин работает на дому, иногда превращаясь в ремесленника — ткача, портного, сапожника, столяра.

Но падают сумерки, работа закончена, и вся семья собирается в «от'ах». В каждом более или менее зажиточном крестьянском доме есть этот от'ах — возвышенное помещение, открытой стороной примыкающее к сараю для животных. Зимой оно согревается теплым паром от дыхания волов. Сюда в от'ах приглашают местного или захожего певца — ашуга, либо сказочника. Бедные крестьяне, не имеющие средств принять такого почетного гостя, идут послушать сказки в от'ах богатого соседа. Талантливые сказочники прославляются не только на всю деревню, но и далеко за ее пределами. Самым знаменитым дают хвалебные эпитеты.

Почти все без исключения сказочники не знают ни грамоты, ни другого языка, кроме родного. По профессии это садовники, огородники, мельники, хлебопашцы. Есть и сказочницы: например, знаменитая Антарам из деревни Парпи. Как приличествует званию, сказители чаще всего люди старые, но встречается между ними и молодежь. Слушают их крестьяне, отдыхая от дневной работы и однообразного убожества своей жизни. Но куда, в какую страну переносит их магическая речь сказочника? Принято представлять себе мир сказок, как нечто вполне произвольное. Это ошибка. Созданное воображением, обманчивое царство сказок так же ограничено пределами, так же подчинено «географии», как и земное царство людей. Пределами такой сказочной географии служат пределы воображения данного народа. Вспомним лесистые равнины средней полосы России; мир русской сказки вырос из них: дремучие темные леса, где не слышно даже птичьего пения, а только разбойничий посвист; степи с перепутьями трех дорог, узорные деревянные терема; и зверье в них родное — бурый мишка, тощий волк, изголодавшийся, как собака; лисица-воровка. Вспомним датскую мокроту и близость скандинавского севера: не из них ли возникли блуждающие огни на болотах, ветры, кочки и холмики, освещенные гнилушками, с милыми глуповатыми кобольдами, вьюги и ледяные покои снежной царицы в пленительных сказках Андерсена?

Вернемся к армянам. Что могло быть у них пищей для воображения рассказчика? Пустынные, сожженные солнцем нагорья, наполненные утомительным стрекотанием кузнечиков, с одиноко стоящими на горизонте кристаллами Арарата и Алагеза, редкие сады, тощая растительность—красный лошадиный щавель, да высохшие свечки молочая, да пахучие, пряные травки на сухой и жаркой земле, камни, горы, скалы — гнездилища змей и ящериц. И вот над этой пустынной землею рисует фантазия рассказчика воздушную географию сказки. Тот же самый плоский и скучный мир возникает в ней таинственно-преображенным. Прежде всего он наполняется бесчисленными городами, с неизменным царем в каждом из них. Разделительным бассейном между разными царствами служит море.

Но тихо и недвижно это море; нет на нем ни веселых «корабликов» (как в русских сказках), ни плотов, ни лодок. Редко-редко упоминается баржа, и звучит это модернизмом, нарушающим стиль сказки. Переправа через

море совершается не совсем обычным порядком, о чем речь пойдет ниже. Затем высятся в сказках неизменные горы, иногда «высокие, как Масис» (армянское названье Арарата), жилища то добрых духов каджей, то злых красавиц, то дэвов. Они прорезаны пещерами, обителью змей. На этих неприступных горах водятся драгоценные камни, сверкающие там, как солнце. Горы одухотворены. Часто они обладают даром периодических движений. Есть в сказках волшебное ущелие, расходящееся лишь на сутки; через каждые 24 часа горы сдвигаются, точно в могучей спазме, и раздавливают своими грудями застрявшего путника. Есть также горы с пещерами сокровищ в своих недрах; в известное время года гора открывается на короткий срок, а потом пещера снова уходит в глубь. Реже попадаются реки. Зато в каждой сказке есть родничок или колодец. Вода, как и солнце в сказках, является мифической сущностью. С каждым родничком непременно связано что-нибудь таинственное, у каждого обитает добрый или злой дух, и потому обычно не советуют путнику делать привал у родника. То темной ночью, при крике невидимых куропаток, там спящие превращаются в камень, то безобразный дракон-вишап охватывает их своим кольцеобразным туловищем. Колодцы, напротив, лишены всякой мистики. Зато они являются часто средством для человеческих злых умыслов: муж, например, спускает туда сварливую жену, завистливые старшие братья более счастливого младшего, и т. д. Обычай рыть колодцы повсеместно распространен на безводном Востоке и чтится одинаково мусульманами и христианами; часто в сказках такую обязанность по доброй воле берут на себя царь или горожане. Долины часты в сказках. Но бывает, что какое-нибудь чудовище строго хранит их число от догадок смертного. Есть сказка о 366 долинах, сосчитать которые не позволяло чудовище; лишь с трудом удалось людям его перехитрить. Зелень в сказках — редкая гостья; она имеет какой-то не настоящий, а показной, декоративный вид. Из деревьев — грустное дерево Армении, ива; затем чинары, тополь, яблони, излюбленное гранатовое дерево. Есть в сказках чинаровый лес, скорей похожий на рощу. Сады большей частью фруктовые, и в описании их есть наивная симметрия. Вот, например, сад старшей матери дэвов: «в том саду шел ряд гранатовых деревьев, потом ряды цветов, сперва ряд красных, потом белых, потом голубых; еще был в саду родник и два подсвечника по обеим его сторонам, по правую и по левую». В садах обычно устраивают фонтаны и водоемы. Иногда эти сады заколдованы, люди блуждают в них по нескольку лет и не могут проникнуть в их тайны. Волшебные дома часто бывают без окон и дверей, с бесчисленным количеством комнат. Кроме городов с царями есть еще особые царства: дэвов, птиц, разбойников; медное, серебряное, золотое, темное; царство царя Чаченца, владельца мудрого соловья, и т. д. Есть упоминанье Египта и Китая. Иногда действие происходит в настоящих деревнях и в городах Стамбуле, Багдаде, Алеппо, славящемся своим мошенничеством. Любопытны заповедные места, хранящие печать седой древности. Так, и в армянских сказках есть распутье трех дорог; две из них безопасны, а третья называется «пойдешь — не вернешься». Есть заповедный мост; злая ведьма сама поставила его пределом своих преступлений: она дала зарок дальше него никогда не заходить.

Спрашивается, как же совершаются путешествия по всем этим необъятным царствам через моря и горы? Не совсем-то обычно! Вот способ выйти из темного царства на свет божий: перед героем три барана — черный, красный и белый; он садится на черного, черный перекидывает его на красного, красный на белого, а белый выносит на свет. Иногда эту задачу берет на себя огромная птица — Синам. Но постоянным средством пере-

движения в сказках является верховая лошадь, да не простая, а морская. С нею мы переходим к одной из главных мифических фигур армянских сказок.

3

Морская лошадь существо сверхъестественное. Она живет в море табуном в 40 коней, с маткой-кобылой во главе. Никакая обычная лошадь с нею не сравнится, трехмесячный путь она делает в день, может летать по воздуху, говорить человеческим голосом, дает мудрые советы,— но все это лишь после поимки. До поимки она — страшная разрушительная сила. Бывает так, что целые новые города в одну ночь разрушаются нашествием морских коней. Поймать ее дело трудное; оно предназначено смельчаку. Есть много способов поимки; простейший—забрасывание чудесной узды в море: конь, как рыбка, попадается на эту узду. Более сложный таков: в полдень морские кони выходят на берег напиться пресной воды; горлышко водоема затыкают шерстью, вместо воды наливают в водоем вина, и когда кони пьянеют, герой вскакивает на выбранную им лошадь и взнуздывает ее. Пойманная, она служит своему хозяину верой и правдой. Главной, если так можно выразиться, специальностью морской лошади является перенос хозяина через море. Делается это отнюдь не вплавь, а каким-то особенным сказочным способом. Иногда это производится и символически: лошадь, например, велит своему хозяину взять меч, приставить его рукояткой ко лбу, а острием к морю, и когда он это исполняет, они оба уже оказываются на том берегу.

Чудесными свойствами наделены часто и другие животные. Волу, например, дано предвещать своим хозяевам будущее, верблюды говорят человеческим голосом, корова заменяет осиротелым детям родную мать.

Вполне мифическим существом является «хазаран-бюбул», соловей. Он подвешивается к потолку в клетке, и присутствие его в доме служит, обыкновенно, знаком мощи и силы хозяина. Третьим главным мифическим лицом армянских сказок является змея. Есть много разновидностей змей, и одно изложение змеиного эпоса могло бы наполнить целую книгу. Для начала следует отметить, что в армянских сказках змея вовсе не носительница зла. Это могучая, скрытная, таинственная тварь, но отнюдь не злая. Иной раз она выставлена даже доброю, а высшие ее представители, например, змеиный царь Шах-Марар, способны на высокое героическое самопожертвование. Главная черта змеи — ее верность. На верхней ступени змеиной иерархии стоит Хабрмани и разные оборотни, полузмеи-полулюди. Хабрмани — это юноша-змей. Он влюбляется в земную девушку, женится на ней в своем змеином виде, а ночью является к ней юношей и велит скрывать тайну. Девушка не удержалась, похвасталась перед сестрами— и Хабрмани исчез. Тогда она надела железные башмаки, взяла в руки железный посох и пошла отыскивать мужа. Когда башмаки износились, а посох истерся, она нашла Хабрмани. Здесь мы встречаем ту же тему, что послужила для создания Лоэнгрина, а в античной древности для истории Амура и Психеи. Змеи-оборотни не всегда принадлежат к числу добрых духов. Оборотни-женщины злы и демоничны. Часто повторяется сказка о том, как красивая городская женщина завлекла к себе нищего, накормила и напоила его, а потом взяла в мужья. Два года бедняк жил с нею в мире и согласии, но вот однажды прибыл из Индии купец; у этого купца было кольцо с ониксом, который обладает свойством показывать все предметы в их настоящем виде. Оникс отразил вместо жены бедняка — змею. Купец понял, что это оборотень, научил бедняка накормить жену соленою пищей, а с вечера вылить всю имеющуюся в доме воду и двери крепко накрепко

запереть. Бедняк так и сделал. Ночью он видит, что жена стала шарить и, не найдя воды, вытянула шею к потолку; шея стала удлиняться, голова ушла в трубу. Спустя некоторое время он увидел, как по вытянутой шее стали пробегать судороги, — это его жена, дотянув головой до колодца, пила воду. Губят таких женщин-оборотней тем, что сжигают их. Эта зола имеет дар обращать все предметы в золото. За оборотнями следуют просто змеи. Над ними властвует змеиный царь Шах-Марар. Змеи жестоко мстят за его убийство. Нередки случаи, когда змея жалеет людей и приносит себя им в жертву. Например, пожалев одного бедняка, змея посоветовала ему убить ее, высушить ее голову и зарыть в землю, а когда он исполнил это, из земли выросло гранатовое дерево, с плодами, полными драгоценных камней.

От морского коня, блбула и змей перейдем к другим сверхъестественным существам. Нечистью, представителями зла в сказках являются дэвы. Они страшно сильны, иногда многоголовы, но отнюдь не непобедимы. Часто они бывают даже подчинены людям; например, дэвы обязаны платить царям подать, хотя плательщики они неисправные и за податью приходится отправлять храбреца. Если побрататься с дэвами, они служат человеку и помогают ему; сильных людей они даже немного побаиваются. Гораздо страшнее самих дэвов их матери. С матерями дэвов мы переходим в жуткую область армянских сказок, в старушечью. Без обыкновенной земной старухи не обходится ни одна из сказок. В предместьи каждого города живет много одиноких старух «наны», бабушек, у которых путешественники находят приют и ночлег. Такие старухи радеют герою, часто даже усыновляют его, сватают за него царскую дочь. Не менее благожелательны и пещерные старухи. Они сидят, обыкновенно, со своим веретеном в горных пещерах, одаряют вежливых девушек, помогают словом и делом добрым молодцам. За этой доброжелательной группой следует гнусная городская старуха, занимающаяся обманом, сводничеством и воровством; она еще не колдунья, но уже и не человек по полному своему бесстыдству. Обычно в сказках дела ее остаются безнаказанными, и она, одурачив всех, успевает во-время сгинуть. За нею идет страшная лесная старуха; эта уже вполне ведьма; она точит ночью свои зубы о кору деревьев, в предвкушении человеческого мяса; жестокость ее была бы беспредельной, если б она сама не положила ей предела, дав зарок не переходить упомянутого выше моста ертымкерац. Если жертве ее случится перебраться за этот мост, старуха ее уже не преследует. И, наконец, венцом этой старушечьей лестницы являются матери дэвов. Их много. Власть их почти безгранична; сыновья им подчинены. Самая страшная мать дэвов проводит жизнь свою почти сплошь в спячке; младшие обычно изображаются с прялкой и веретеном (что наводит на мысль о тожестве их с парками), а возле старшей иногда висят чётки; они раскачиваются, как маятник, и каждый час падают ей в руку, а она сквозь сон снова их вешает. Говорится в сказках, что попавший к ней никогда не возвращался обратно. Разумеется, это преувеличение, т. к. герои сказок и даже героини ухитряются благополучно посещать ее и воровать чётки.

Скажу несколько слов о других действующих лицах сказки. Загадочен некий кёса, что значит безбородый, бритый, плешивый, жидкобородый; часто кёса вместе с тем и голубоглазый. Встреча с кёса предвещает несчастье; на востоке с ним избегают вести дела, и по профессии это — темная личность. Попадается в сказках Джамполат (Джембулат), т. е. человек с телом из стали. Над ним не властно никакое оружие, но и он в конце концов уязвим. Дело в том, что душа Джамполата заперта в сундуке под видом трех птичек; стоит зарезать этих птичек, и он умрет. Следует заметить, что символы души, свободы, силы в армянских сказках

очень часты, притом вполне реальны, т. к. при овладении ими овладеваешь и всем человеком: отрезав косу у злой красавицы, становишься господином и самой девушки. Вот символ свободы спящей царевны: в пустой запертой комнате висит на стене ниточка с бусинкой; когда вы входите в эту комнату, ниточка начинает качаться из стороны в сторону, качаясь удлиняется, достигает окна, бусинка пробивает стекло, выскакивает из комнаты и бросается в море. «Свобода» девушки вырвалась наружу; теперь, кому попадет в руки бусинка, тот и завладеет самой девушкой. Но вернемся к героям сказок. Среди них фигура странная и несомненно очень древняя— это так называемый «мертвый молодец», «мертвый жених». Он лежит в подземелье множество лет; если девушка найдет его, сядет к нему и семь лет продержит его голову у себя на коленях, мертвец воскресает, превращается в прекрасного юношу и женится на ней. В сказках часто бывают случаи подмена: в последнюю минуту верную девушку заменит у мертвеца какая-нибудь самозванка и выдает себя воскресшему за семилетнюю сиделку.

Иногда, хотя очень редко, в сказках упоминаются исторические лица. Между ними Александр Великий (Искандер), Тамерлан, Соломон, грузинская царица Тамара. Заслуживает внимания полу-историческое лицо арабского происхождения, врач Лохман. В армянских сказках он попадается очень часто, как и вообще в словесности и письменности востока, особенно мусульманского. Он представлен врачом не всегда безобидным: он, например, боится соперничества и старается погубить своих талантливых «коллег». Происхождение его мудрости сказки объясняют очень интересно. Раньше он был простым охотником по имени Пурто. Однажды он зашел в пещеру, где увидел змеиного царя Шах-Марара с четырьмя змеями. Пурто не испугался, развел огонь, изжарил шашлык и угостил змеиное общество, а потом, по просьбе царя, провел в пещеру родничок. Шах-Марар наложил ему на спину свою печать, что равносильно усыновлению, и потом оказывал ему важные услуги, вплоть до пожертвования самим собою: он дал ему убить себя, чтобы вынуть из своего черепа целебные и ядовитые мозги, взамен чего попросил только посылать еженедельно пищу своим подданным. После этого охотник Пурто сделался великим врачом Лохманом. В одной из эриванских деревень показывают до сих пор могилу Шах-Марара, а по субботам посылают пищу в змеиную пещеру.

Любопытно проследить, какою изображена в сказках женщина. Каковы волшебницы и колдуньи, мы уже видели выше. Посмотрим теперь, каковы обыкновенные женщины.

Первым в мире красавицам суждено, обыкновенно, оставаться в девицах. Герои из-за них проделывают всевозможные подвиги, но сами редко когда на них женятся. Они жестоки, бездушны, коварны и властолюбивы, любят драку, войну, верховую езду. Одна из таких красавиц долго наводила ужас на соседних царей, разбойничая в маске арапа, у которого «верхняя губа была на небе, а нижняя на земле». Среди царских жен и дочерей попадаются иногда образцы распутства и своеволия. Царевна увидит красивого юношу в городе, и тотчас же велит прорыть подземный ход из его лавки к себе в комнату. Случается, что избранником ее сердца окажется даже не человек, а мерзкий старый колдун, по причудливой любви к которому она дурачит и губит своих законных женихов. Часто в женщине распутство соединяется с лицемерием. Вот сказка довольно обыкновенная. У царя была жена такая скромница, что не выносила возле себя даже слуг и домашних животных мужского пола. Однажды царю принесли в подарок двух золотых рыбок. Он велел отнести показать их царице, но та потребовала, чтобы сначала определили, какого они пола и самцов не смели бы к ней вносить. Рыбки

услышали эти слова царицы, высунули головки из воды и засмеялись. Царь поразился и пожелал узнать, почему засмеялись рыбки. Созвали всех мудрецов, но ни один не смог дать ответа. Наконец нашелся мудрый мальчик. Он велел царю взять арбуз и ножик и итти в покои к царице. По дороге он тихонько украл и спрятал ножик, а когда царь хватился его, посоветовал приказать обыскать всех служанок. Сколько ни плакала царица, служанок раздели, и между ними оказался мужчина. «Вот почему смеялись рыбки», ответил царю мудрый мальчик. Крестьянские жены отличаются неописуемой сварливостью. Часто крестьянин, не вытерпев такой жены, бросает ее в колодец, а следом за ней еще волка, лисицу и змею, чтоб верней ее сгубить. Но когда через неделю он приходит посмотреть, что сталось с его женой, звери наперебой умоляют его освободить их от такого соседства, а жена сидит в колодце жива-живехонька. Верные и хорошие женщины в армянских сказках бывают образцами терпения, преданности и мудрости, оправдывая правило: нет ничего хуже плохой женщины, но и нет ничего лучше хорошей женщины.

4

Одною из главных тем армянских сказок является превращение. Волшебное кольцо или жезл превращают людей в камни, оставляя им только один живой глаз, чтоб видеть свое несчастие; упрямая жена превращается в ослицу. Когда за Хабрмани и его невестой, убегающими от родителей, посылается погоня, Хабрмани бросает за плечо гребешок, и позади него вырастает лес, щепотку соли—и воздвигается гора, бутылку воды—и разливается море; но погоня все-таки близко, и тогда Хабрмани превращает свою невесту в розовый куст, а себя в змею, и крепко обвивается вокруг цветка. Часто безобразные вещи ждут только доброго слова или привета, чтоб сбросить свое безобразие. Царевичу попадаются колючки, но он называет их «чудной травкой»,—и вдруг, вместо терновника, под ногами его на самом деле оказывается душистая трава; он доходит до отвратительной реки, полной гноя и крови, но вежливость заставляет его отпить этой жидкости и похвалить ее: и тотчас же по жилам его разливается благодатная вода бессмертия. Страшный дракон или змея превращаются в красивых юношей, если девушка полюбит их, не побоявшись их уродства. Борьба—другая тема сказок. Борются с драконами, дэвами, старухами; за обладание волшебной вещью, за любимую девушку, за царство; борются и без всякой цели, только бы показать свою удаль. Победы достигаются, как водится в сказках, самому сильному, самому доброму и умному или, наоборот, самому глупому, но тогда уж беспросветно глупому дурачку. Когда победа одерживается силой, перед нами явные отголоски героического эпоса: то, например, ударом меча отсекается 19 голов, то герой съедает, не поморщась, семерых вареных баранов и полпуда пилава, то побеждает семиголового дэва, вырывает деревья с корнем, очищает окрестность от разбойников. К чести армянских богатырей надо сказать, что они почти всегда бескорыстны, великодушны и не проливают крови зря. Обратно поступают богатырши, свирепствующие иной раз без всякой надобности, лишь бы снести лишнюю голову с плеч. К числу любимых сказочных героев принадлежат царевичи Ало-Дино и Чукко, бесстрашные добыватели хазаран-булбула и волшебных красавиц. Интересно, что имена этих героев носят следы курдского, а не армянского происхождения.

Победа нравственными качествами встречается реже других; сказочники—завзятые «милитаристы». Но вот тихая девушка Арэвхат, закаба-

ленная своей мачехой, одной добротой и вежливостью побеждает пещерную старуху. Благородство юноши смягчает сердце дракона, а правдивость и прямота—самого непобедимого царя Чачонца. К числу положительных качеств героя принадлежат непременное мужество, вежливость, великодушие, верность своему слову. Царевич по просьбе дракона проникает в Чинмачину (Китай) и завладевает китайской принцессой. После свадебного пиршества он вынимает меч и кладет его меж собой и молодой женою. И когда она спрашивает, что же это значит, он отвечает: «Я завладел тобою не для себя». Жест, напоминающий европейский рыцарский роман. Вот еще черта сказочной героической этики: приехал витязь сражаться с дэвом, но дэв спит и должен проспать сорок дней. Жена дэва советует витязю убить спящего мужа, но тот сперва пытается его разбудить, а потом терпеливо высиживает все 40 дней и поднимает руку только на пробужденного и вооружившегося врага. Таких примеров можно было бы набрать множество. Доброта — тоже важное качество в сказках и не остается без награды. Часто повторяется рассказ о богаче, который пожалел мертвеца, уплатил его долги, спас его тело от поругания и похоронил с честью, а благодарный покойник воздает за это его детям. Но все же на первом месте стоит в сказках хитрость, ловкость, умение найтись и вывернуться. Большая часть сказок прославляет именно такие деянья. И среди всяческих проделок, описываемых в сказках, попадаются иной раз действительно остроумные. Любопытна бытовая сказка о том, как эриванский купец, вопреки советам отца, решился поехать торговать в Алеппо. В первом же караван-сарае его ловко провели три мошенника: безбородый (кёса), хромой и кривой. Но и он не замедлил надуть всех трех. Тогда кривой, чтоб отомстить ему, разузнал стороной про домашние дела купца, сказался другом его родителей, привел тому доказательства и заявил, что, когда тот родился, ему недоставало одного глаза и он, по дружбе к его родителям, вложил в него свой собственный глаз; теперь же он требует этот глаз обратно. Судья, разобрав дело, присудил эриванского купца к возвращению глаза. Тогда тот предполагает выход, достойный решения Порции в «Венецианском купце». Он говорит: «Пусть кривой вынет свой глаз и я свой, взвесим их на весах,— если они весят одинаково, я согласен на уплату». Кривой, разумеется, тотчас же убежал из боязни лишиться и последнего глаза. А вот как два умника провели чудовище, стерегшее 366 долин. Оно никому не позволяло считать долины; когда путник отваживался на это, оно подкрадывалось к нему ночью и высасывало у него кровь из пяток. Однажды пришли два умника, сосчитали долины и улеглись спать лицом в разные стороны, да так, что ноги одного пришлись с головой другого. Чудовище прилетело, стало искать пятки — наткнулось на голову; взялось за другой конец — и там тоже голова. Ему осталось лишь кинуть проклятие и исчезнуть.

Иной раз мы встречаем в сказках так называемые «мудрые ответы» на мудреные вопросы. В одной из сказок турецких армян есть настоящий мудрый ответ, очень образный и глубокий. Стал царь допытываться у своих мудрецов, в какую сторону обращено лицо бога. Думали, думали мудрецы, да так ни до чего и не додумались. Встретился им простой мужичок, узнал в чем дело и говорит: «Лицо бога смотрит оттуда, куда глядит человек».

Немалую роль играет в сказках колдовство. Им занимаются большей частью женщины, дервиши, кёса. Любопытно, что среди армянства колдовство было распространено еще в XII веке. Епископ Нерсэс Благодатный пишет в своей грамоте к тамошнему духовенству о том, что «женщины у них занимаются ворожбой, колдовством, приготовлением всяких напитков».

В армянских деревнях до сих пор верят колдунам. Еще совсем недавно, лет 80—100 назад, когда чума захаживала на Кавказ, ходили легенды о «цасманцогах», двух предвестниках чумы. Перед тем, как наступить чуме, два всадника, один в черной одежде с черной палкой в руке, другой в красной одежде с красной палкой въезжали, будто бы, в деревню. Первого встречного они заставляли итти вперед и указывать дома; для всех людей, кроме этого невольного проводника, цасманцоги оставались невидимыми. Войдя в дом, они метили людей и животных красными либо черными знаками. Помеченный черным умирал, помеченный красным выздоравливал. Бабушка писателя Абовяна рассказывала своему внуку, что сама была свидетельницей посещения таких цасманцогов. Разумеется, все эти поверья, еще живущие среди армянских крестьян, пышно цветут и в сказках. Помимо обычных колдовских предметов, каковы шапка-невидимка, скатерть-самобранка, ключ-всеотмычка, есть еще подсвечники, в перестановке которых скрыто тайное значение, чудодейственные цветы и травы, сушеные мозги животных, бессмертная вода, яблоки, дающие молодость, и много другого. Но все же колдовство само по себе, как полная власть над природой, в армянских сказках не встречается. Обычно служит оно средством для второстепенных, низших лиц сказки, и над ним всегда есть более высокая власть; герои пользуются им лишь временно и, добившись своей цели, дарят волшебные предметы кому-нибудь другому. Несравненно более таинственное значение имеют в сказках естественные дары природы и особенно части и соки человеческого тела. Чудодейственна зола сожженного человека, его печень, внутренности, мозги; но ни с чем не сравнима важность м о л о к а, и животного, и женского. Быть может, тут сказывается пастушеская душа Армении; но, конечно, полного объяснения «культа молока» этим еще не дано. Самой важной клятвой в сказке является «клятва молоком своей матери». В деле питания молоко стоит на первом месте. Богатыри, будучи детьми, отличаются тем, что сосут свою бедную мать чуть ли не до десяти лет. Красная корова выкормила двух сироток одним только своим молоком. Пососать грудь женщины, даже самой свирепой, — значит расположить ее к себе навеки и заставить относиться по-матерински. Страшные матери дэвов укрощаются только этим способом. Царевич забрел в пещеру и видит там мать дэвов, крутящую веретено; она стоит к нему спиной, перебросив через плечо свою грудь. Он тихонько подошел к этой груди и стал ее сосать. Страшная мать дэвов оборотилась, встретила его по-матерински и помогла во всех подвигах.

Скажу несколько слов о разных о б ы ч а я х, упоминаемых в сказках. Часто происходит у с ы н о в л е н и е детей (иногда и зверей), при чем усыновляют маленьких и взрослых, сирот и имеющих родителей. Любовь к потомству — отличительная восточная черта; на детей смотрят как на богатство. Усыновление происходит так: либо с матери снимают рубашку и надевают ее на усыновляемого, либо ворот ее рубашки продевают под ворот его рубашки. С в а т о в с т в о тоже обычно; без него почти ни одна сказка не обойдется. Перед дворцом каждого царя имеется камень (или сидение), предназначенный для свах. Сюда садятся старухи, и царь сам к ним выходит. Пастухи в конце сказок часто играют роль счастливого вестника; их посылает герой, встретясь с ними в поле, возвестить царю о своем возвращении, и счастливый царь дарит, обыкновенно, пастуху «халат и розовую воду» — самый почетный подарок на востоке. Священное право г о с т е п р и и м с т в а играет в сказках большую роль. Существует так называемый «час для харибов», т. е. для странников, когда в городе при колокольном звоне собирают всех странников и чужеродных на трапезу, пожертвованную богатыми горожанами. Дервишей всякий считает

за честь принять и накормить у себя. Если гость отказывается от пищи, он наносит тяжелое оскорбление хозяину. Смерть на востоке имеет характер ухода, и всегда за ее пределами мыслится иная форма существования. Обычно в час смерти кто-нибудь приходит по душу человеческую, иногда «хогеар»—ангел смерти, а иногда монах—«вардапет». Умирающий не хочет отдать душу, и с ним приходится спорить; иногда он просит ангела взять взамен душу отца или матери. В таких случаях отец и мать решительно отказываются, и молодая жена от себя предлагает за мужнину душу свою собственную. Последняя подробность часто встречается и в армянских народных песнях.

5

Перейдем к форме армянских сказок. Но прежде всего несколько слов о сравнительной морфологии азиатских и европейских литературных форм. Возьмем для примера восточную лирику. Она довольствуется весьма скромными (по количеству) средствами, концентрируя их обыкновенно в пределах одного образа и стягивая все стихотворение к двум или четырем строкам. Любимые формы восточных стихов—двустишия, четверостишия. Но и очень длинные стихотворения сразу могут быть опознаны в их «атомном», частичном строении; пусть на протяжении длинной персидской газели вьется одна тема, все же строение этих стихов резко распадается на законченные двустишия и четверостишия. Эта атомная распадаемость длинных стихотворений на краткие афоризмы—характерная черта Востока с его очень короткими ритмами; там берется только нужное количество слов, а той ритмики лишних слов, иногда вовсе бессмысленной, но таинственно волнующей душу, как в западной поэзии (Фет, Шелли, Верлэн и пр.), такой ритмики на Востоке нет. Оттого, при всей музыкальности восточных стихов, общее впечатление от них все же остается пластическим, образным, а не певучим [1]). В противоположность этой «атомности», где каждая часть, каждая единица стиха самоценна, — западные формы можно уподобить организму с его зависимостью всех частей друг от друга. Художественное произведение Запада тем выше, чем полнее и нерасторжимей проведена эта зависимость. У европейцев в стихах и прозе должен быть центральный узел, завязка, которой соподчинены части; на востоке такая органичность заменяется, обыкновенно, бесконечным чередованием самоценных частей друг с другом. Неостанавливающееся движение равноценных единиц — идеал востока; органичность, самозамкнутое совершенное целое — идеал Запада. Такая общая мера приложима и к сказкам. По отношению к армянским сказкам можно сказать, что почти всегда налицо и атомность формы, распадение на ряд кратких самодовлеющих сказочек, ничем не связанных друг с другом. Такие «сказки в сказке» чаще встречаются у армян персидских, реже у турецких. Встречаем мы ванскую сказку, в точности совпадающую с рамкой Шехеразады, только значительно более короткую. Налицо и жестокий царь, убивающий своих жен, и дочь везиря с запасом сказок, и самые эти сказки, чередующиеся до тех пор, пока гнев царя не сменяется на милость. Очень сильно в армянских сказках также и стремление к органической форме, к завязке и единству фабулы. Не всем, конечно, рассказчикам это удается в одинаковой степени; многие бессвязно переплетают разные сказки, выкраивая из них одну, при-

[1]) Тут, между прочим, налицо связь между музыкой данного народа и его поэзией; интересно сопоставить короткие, однообразные (но бесконечно чередующиеся), почти целиком умещающиеся в одном такте, мелодии Востока и органично-длинную мелодику, например Шуберта.

ставляют начало одной к концу другой и т. д. Но наиболее удачные и типические сказки, в роде «Одзманук», «Кöса», «Хазаран-блбул», всегда и по форме своей напоминают европейские.

Сказочники Араратского нагорья предпосылают своим сказкам одно и то же стихотворное начало, довольно бессмысленное и однообразно ритмическое. В русском переводе оно звучит приблизительно так:

Сказочка-бабушка,
Подо мной чалая лошадушка.
Поскачу я в Эривань,
Привезу хлебушка.
Хлебушка дам курочке,
Курочка снесет яички.
Понесу яички плотнику,
Плотник даст за яйца дудочку.
Снесу дудку пастуху,
Пастушок мне даст овцу.
Принесу овечку богу,
Бог мне братца даст родного.
«Братец, братец мой родной,
Жду тебя я под горой.
Ты под крепостью стоишь,
Где коровы, не следишь».
Все коровушки пасутся на лугу
И вдоволь нам молока дают.

Значение этой прелюдии в том, чтобы ритмически раскачать рассказчика и подготовить внимание слушателя. Стихотворные вставки часто попадаются и в середине сказок, и в конце. Присказки же почти всегда одинаковы. Если дело кончается свадьбой, то говорится: «семь дней и семь ночей длилась свадьба», потом добавляется: «все достигли своей цели, да достигнете и вы своей. С неба упали три яблока: одно рассказчику, другое тому, кто слушал, а третье тому, кто услышал». Эти заключительные три яблока с небольшим вариантом можно встретить решительно во всех сказках кавказских армян; у турецких они встречаются редко. В художественно-обработанном стихотворном виде такая присказка есть у Агаянца в «Арэгназане». Там герой Арэг остается наедине со своей молодой женой, Нунуфар. Следует присказка:

Молитве Арэга небо вняло,
Сбросило небо вниз три яблока.
Было одно зеленым-зелено,
Словно сейчас сорвано с ветки.
Было другое красным-красно,
Словно летом алая роза.
А третье было подобно снегу.
Арэга тогда Нунуфар спросила:
«Зачем, скажи, таковы три яблока?»
«Не знаю, милая! — Арэг ответил: —
Должно быть, они подобны жизни.
Взгляни, зеленое словно младенец,
А это белое, словно старец.
Третье ж, красное, краше первых,
Цветом похоже на нашу зрелость».
«Дай же поделим красное яблоко!» —
Арэгу тогда Нунуфар сказала.
Она пожелала, — а он исполнил.
Красное яблоко съели вместе
И утолили сердечную жажду.

* * *

Исполать вам, красные юноши и девушки!
Небо да исполнит и ваше желанье.
А на меня прошу не гневаться,
Коли наскучило мое сказанье.

6

Таков в самых общих чертах многообразный материал армянских сказок. Перечисленным он не исчерпывается, а только намечается. Но даже и в этом частичном материале можно проследить повторные очертания характерных мифов, принявших национально-армянскую окраску и ту таинственную смысловую глубину, которая делает миф загадкою исторических судеб народа. Я попытаюсь, однако, очертить здесь два наиболее характерных армянских мифа.

Солнечный миф. Солнце — источник постоянного мифотворчества у всех народов; стало быть армяне, мифологизируя его, отдают дань общему культу. Но их поклонение солнцу очень интенсивно и идет от седой древности. Доныне крестьяне араратских деревень клянутся солнцем, чтут его, часто употребляют эпитет «солнечный», прибавляют его к именам. Уцелели выражения: «призываю в свидетели твое солнце», «знает про то твое солнце»; подразумевается, что у каждого человека есть свое солнце, подобно нашему представлению об «ангеле каждого человека». Это солнце должно быть символом не то души, не то идеи человека, не то высшей, но лично с ним связанной сущности. Для армян солнце — символ мужественности, понимаемой не только как сила, но именно как мужская сила. В сказке часто попадаются таинственные существа, матери которых известны, а отцы или прадеды под сомнением; догадка сказочников восходит до самого бога-солнца, которому миф приписывает оплодотворяющую силу. Так произошли многочисленные герои сказок: Арэваманук (дитя солнца), Арэвхат (отпрыск солнца), Арэгназан и т. д. Отсюда и идеал красоты армянской расы — златокудрость. В массе своей армяне черноволосы и смуглы; блондины попадаются редко, большей частью в детском возрасте и с годами темнеют. Казалось бы, идеалом расы должна быть черноволосость, т.-е. типическая красота, узаконенная многими веками подбора. Но нет, культ златокудрости у армян не менее силен, нежели, например, на западе, у германских народов. Высшая красота, доступная воображению армянских сказочников, это солнечные волосы и даже солнечное лицо. В солнечном мифе армян явственно проступает культ мужественной силы, понятие которой с веками все более наполняется положительным содержанием, так что мужественное постепенно начинает становиться синонимом доброго, вечного и истинного. Это разъясняет нам отчасти женоненавистничество армянских сказок и приближает к разумению другого важного мифа — о девушке, заслужившей себе мужской пол. Сказка часто рассказывает про вдову, рядившую свою дочь в мужское платье, чтоб она могла играть с мальчиками. Своею ловкостью девушка услужила царю, и тот, считая ее юношей, выдал за нее замуж свою единственную дочь. Когда обнаружилось, что новый зять женского пола, царь и царица решили его погубить. Они дают ему труднейшие поручения (последнее из них — отнять у старшей матери дэвов чётки). Девушка-зять храбро выполняет все задачи и когда, наконец, ворует чётки, то проклятием матери дэвов преображается в юношу. Есть несколько вариантов этой сказки. Лучший из них — художественная обработка Агаянца. Но во всех вариантах события располагаются одинаково: личное мужество заставляет променять женское платье на мужское; любовь не играет для девушки-мальчика никакой роли, — все инстинкты ее сосредоточены на борьбе, оружии, охоте; целым рядом опасных героических подвигов подготовляется преображение ее пола; и, наконец, совершается самое это преображение, но не естественным, а уже сверхъестественными путем, волею другого лица.

7

Разумеется, не все в перечисленном нами материале самостоятельно. Наоборот, армяне, лежащие географически на «проезжем пути» между Востоком и Западом, — и в сказках роковым образом отражают эту промежуточность, сложившуюся под целым рядом перекрестных влияний. По существу своему эти сказки уже не Восток и еще не Запад; с Востоком роднят их фабулярный мир и особая пластика, незнакомая Западу; но от того же Востока их отталкивает некоторая бедность и скудость фантастики, сухость и аскетизм в изображении чувственного мира и постоянный привкус нравственного дидактизма, что особенно бросается в глаза, если мы сравним их с чувственной роскошью Шехеразады.

Отметим в общих чертах основные влияния в армянских сказках: Индии обязаны они немалым числом своих фабул, иногда употреблением типичных для Индии образов («красная корова», «красный бык»); сохранилось по сю пору отношение ко всему индийскому, как к волшебному, искушенному в мудрости; сказки часто выводят факиров — разгадчиков тайн и учителей магии. Египет часто упоминается в сказках — так же, как и Китай (Чинмачина); не без египетского влияния и культа мертвых сложилась странная армянская сказка о мертвом женихе; знаменитой египетской сказке о двух братьях обязаны армяне и своим, очень распространенным рассказом о жене купца, влюбившейся в усыновленного юношу. Отзвук Китая в целом ряде условных вежливостей, в образе летающих рыб, чудовищ, деревянного коня, в симметрии садов. Черты мусульманского востока бесчисленны. Армяне, эти заслуженные мученики христианства, допускают в сказках полную веротерпимость, больше того — доброжелательность к чужой вере; у них дервиши — почетные гости, у них многоженство — обычная вещь. Царю нравятся три сестры; он не беспокоит себя выбором и спокойно женится на всех трех. Много персидских и турецких слов встречается в словаре армян. Курдские и грузинские влияния выступают еще отчетливее. Для сравнительной филологии армянские сказки вообще могут служить богатейшим материалом.

Мариэтта Шагинян

1917.

В. БАРТОЛЬД

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИНИСТР-ФИЛОСОФ ЭПОХИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

1

Имея в виду основную задачу журнала «Восток» — содействовать пониманию Востока на Западе, я постараюсь воспроизвести перед читателями образ одного из тех деятелей, встречающихся едва ли не в каждую эпоху, для которых общечеловеческие идеалы стояли выше национальной и религиозной обособленности. Вполне естественно, что в средние века, когда мусульманской Передней Азии принадлежало первенство в мировых культурных сношениях, людей с таким широким мировоззрением скорее всего можно было встретить в мусульманской среде или в среде живших под властью ислама представителей других религий. Это относится даже к той эпохе, когда религиозный фанатизм получил наиболее яркое выражение, — к эпохе крестовых походов. Со стороны мусульман религиозное воодушевление во время этой борьбы, по крайней мере среди образованного общества, не было так сильно, как часто утверждали. Борьба велась во имя религиозной идеи, но все же в рамках государственности; между тем порядки мусульманской государственности того времени мало соответствовали культурному уровню общества, и потому события государственной жизни вызывали мало интереса; на государство все больше привыкали смотреть, как на зло, хотя и необходимое; для передовых людей их культурные интересы стояли несравненно выше, чем политические успехи или неудачи того или иного из государств, часто мелких, на которые тогда распадался мусульманский мир. Для ученого считалось несчастьем быть вынужденным принять государственную должность, счастьем — иметь возможность жить только для книг и для бесед с людьми одинаковых умственных интересов.

К передовым людям такого типа принадлежал Джемаль-ад-дин Али ибн-Юсуф ал-Кифти [1]), происходивший из старинного арабского рода,

[1]) Кроме труда самого Кифти и сведений, собранных издателями этого труда, А. Мюллером (в Actes стокгольмского съезда ориенталистов, где помещена, между прочим, биографическая записка, составленная братом Кифти) и Липпертом (в предисловии к изданию), мною использованы: 1) географический и в особенности биографический (в издании Марголиуса) словари Якута; в последнем Кифти посвящен особый очерк; 2) издания биографических словарей Ибн-Халликана, Кутуби и Сафади; 3) всемирные истории — Ибн-ал-Асира и Абульфиды; 4) специальная история Халеба Кемаль-ад-дина, в переводе Блоше (Kamal-ad-din, Histoire d'Alep, Paris 1900), где сообщены также в переводе извлечения из некоторых других рукописей, относящихся к истории Халеба.

вышедшего из Куфы на нижнем Евфрате и уже в течение нескольких поколений обитавшего в верхнем Египте, в городе Кифте, в местности около древних Фив, — там, где Нил ближе всего подходит к Красному морю. Главным источником благосостояния жителей была торговля с Индией. Кифт, древний Копт, где уже при Страбоне население наполовину состояло из арабов, находился на расстоянии фарсаха (около 6 в.) к северу от Куса, в то время главного города верхнего Египта; в пятидневных переходах к востоку от Куса была гавань Кусейр, куда приходили суда из Адена; на расстоянии одной или двух арабских миль (2—4 в.) от Кифта протекал Нил, по которому ходили суда в Каир. Вокруг Кифта были расположены многочисленные пашни и сады с пальмами и лимонными деревьями; над городом возвышалась гора.

Как сам Али, так и его отец и дед назывались кадиями (судьями), что в данном случае было не названием должности, а почетным титулом людей, за которыми признавался богословский авторитет; к титулу, по обычаю Египта того времени, присоединялся почетный эпитет; дед Али, Ибрахим, назывался «прославленнейшим кадием», его сын Юсуф — «знатнейшим кадием», сын Юсуфа, Али — «благороднейшим кадием». Для обозначения человека титул вместе с эпитетом употреблялись чаще, чем собственное имя. Уже из этого видно, какое почетное положение занимали Али и его предки в своем родном городе; этому положению соответствовал и внешний образ жизни семьи. Али передает со слов своего отца рассказ о первой поездке Юсуфа со своим отцом в Каир. Поездка была совершена на судне; вопреки настоянию Юсуфа, они не взяли лошадей; Ибрахим решил, что лошади на судне стеснили бы их, а в Каире у них не будет недостатка на чем ездить. Место высадки было значительно южнее города, — пришлось итти пешком до базара Вардана [1]), где «стояли те ослы, которые лучше мулов»; отец предложил сыну сесть на осла и поехать; сын ответил с негодованием: «Клянусь богом, никогда я не ездил на осле» и решил, что подождет, пока не удастся купить лошадь или мула, а отец пусть делает, как хочет. Мимо них стали проходить люди; отец обратился к одному из них: «Скажи, брат, знаешь ли ты знатнейшего кадия Абу-л-Хаджаджа Юсуфа, сына прославленнейшего кадия Абу-Исхака Ибрахима аш-Шейбани ал-Кифти?» Прохожий ответил, что не знает такого. Ибрахим обратился с тем же вопросом к нескольким другим — конечно, с тем же результатом — и потом указал своему сыну на неуместность его высокомерия в городе, где никто не слыхал о его существовании. Отец и сын сели на ослов и поехали.

«Знатнейший кадий» продолжал вести в своем городе пышный образ жизни; о нем говорили, как о владельце «отмеченных таврами коней и изящных рабов». Для покупки лошадей он иногда ездил в Аравию (вероятно, через Красное море) и при одной из таких поездок, еще в юном возрасте (он родился в 1153 г., т. е. был только на 19 лет старше своего сына), встретил красивую бедуинку, на которой женился и которую привез в свой родной город. Бедуинка была дочерью абиссинской рабыни, принадлежавшей сестре одного из эмиров Мекки и вышедшей замуж сначала за одного из двоюродных братьев своей госпожи, потом за бедуина из местности на границе между Неджд и территорией Медины; от этого второго брака родилась мать Кифти. В своих автобиографических рассказах, сохраненных для нас его другом, географом Якутом, Кифти рисует симпатичный образ своей матери, в которой религиозное

[1]) В старой части города, около мечети Амра, построенной при арабском завоевании.

благочестие соединялось с любовью к красноречию и поэзии своего народа. В Египте она сохранила любовь к родной пустыне, от времени до времени ездила туда отдыхать и иногда брала с собой своего сына.

В раннем детстве Кифти, родившегося в 1172 г., мирная жизнь его родного города была нарушена вторжением политики в самом непривлекательном ее виде. За год до его рождения официальной религией Египта, по воле Саладина (собств. Салах-ад-дина), впоследствии знаменитого победителя крестоносцев, вместо шиитства было объявлено суннитство, династия шиитских халифов, фатымидов, была объявлена низложенной, и в мечетях было предписано молиться за багдадского (аббасидского) халифа. Саладин не без колебания решился на этот шаг, опасаясь волнений в своей столице; но все обошлось мирно, — по словам историка Ибн-ал-Асира, из-за переворота «ни одна коза не забодала другую». Но в провинции переворот нашел себе некоторое отражение: в Кифте выступил в 1176 г. самозванец-имам, называвший себя сыном последнего фатымидского халифа Адыда (Адыд умер в 1177 г. 20-ти лет от роду, из чего можно заключить, что претендент был ребенком, от имени которого действовали другие). Саладин, действовавший в то время в Сирии, поручил усмирение восстания своему брату Адилю Абу-Бекру; при усмирении было убито до 3000 человек; их тела были распяты вокруг города на деревьях «в чалмах и тайлесанах» (тайлесаном назывался платок, накидывавшийся на голову и плечи — отличительный признак кадиев и ученых). Из упоминания о головном уборе можно заключить, что восстание считалось делом местной шиитской «интеллигенции». Кифти-отец не принимал участия в восстании и заблаговременно успел уехать; может быть, под влиянием этих событий, после которых правительство должно было относиться с подозрением к неслужившей интеллигенции, он решился поступить на государственную службу. Кифти-сын был еще ребенком, когда его отец заведывал насыпями в части Египта к востоку от дельты, имея многочисленных подчиненных; эта должность считалась одной из самых тяжелых. В той же местности к востоку от дельты, в городе Бильбейсе Кифти-отец впоследствии был назиром (гражданским губернатором). Семья в это время, повидимому, большею частью жила в Каире и приезжала в Кифт только на короткое время. Там же проходила жизнь Кифти-сына, пока служебная карьера его отца не привела его из Египта в Сирию. Помимо других познаний, Кифти-отец считался хорошим стилистом и каллиграфом; его услугами пользовался государственный секретарь Саладина, «превосходный кадий» Абд-ар-Рахим ибн-Али ал-Лахми, переселившийся вместе со своим государем в Сирию (после 1187 г. Саладин в Египет уже не возвращался), взявший с собой своего помощника и неохотно дававший ему даже временный отпуск в Египет для устройства своих домашних дел. Из последнего можно заключить, что семья в то время жила отдельно от своего главы. Уже после смерти Саладина, при его сыне Азизе Османе (1193 — 1198), Кифти-отец был назначен губернатором Иерусалима и прибыл туда в 1195 г. вместе со своим сыном.

Этим закончился для молодого Кифти первый, египетский период его жизни, период, когда он мог отдавать все свое время науке и умственным интересам. Современник Кифти Якут делает различие между образованным человеком, берущим из каждой отрасли знания лучшее, и ученым — углубляющимся в изучение какой-нибудь одной науки. Целью занятий Кифти было именно считавшееся необходимым для людей его круга энциклопедическое образование. Впоследствии Якут видел у него в Халебе специалистов по разным отраслям знания: грамматике, (арабскому) языку, (религиозному) законоведению, хадису (изречениям пророка),

науке о коране, основам (догматического богословия), логике, математике, астрономии, геометрии, истории, диалектике (букв. «опровержению и приведению в соответствие») и другим, и со всеми Кифти мог говорить об интересующих их вопросах, как равный с равными. Несмотря на большое значение в арабском мире, сравнительно с античным, точных наук, выше всего ценилось и в арабском мире красноречие. Тот же Якут приводит слова испанского ученого, начала XII века (его ученик умер в 1130 г.) Ибн-Аттаба, что за 16 дирхемов (около 5 р.) в месяц всегда можно найти для детей учителя, хорошо знающего грамматику и просодию, хорошо пишущего, хорошо считающего, знающего наизусть коран, передающего стихи, тогда как преподаватель, умеющий хорошо объяснять и находить красивые выражения для идей, не довольствуется и тысячью дирхемов. Специалист-ученый сравнивается с мастером-ремесленником которого приглашают для определенной работы и потом отпускают; обладатель красноречия—с продавцом товаров, нужных во всякое время.

Кифти несомненно прошел в молодости ту же школу красноречия; приводимые Якутом образцы его прозаических и стихотворных посланий показывают, что им был вполне усвоен искусственный, полный излишнего многословия слог, считавшийся в то время признаком высшего образования. Среди его учителей упоминается «избранный кадий» Мухаммед Анбари; некоторым «грамматическим тонкостям и выражениям образованного человека» научил его живший в его родном Кифте факих (законовед) Салих Абдани Анмати. Провинциальный город верхнего Египта не был чужд высшей культуры того времени. В Кифте, доходы с которого считались собственностью потомков Алия, жил, однако, потомок халифа Османа [1]), хатиб (проповедник) Амин-ад-дин Абул-Хасан Али Ибн-Ахмед Кифти, которого наш Кифти называет самым образованным и красноречивым человеком и лучшим собеседником, какого ему приходилось встречать; хатиб рассказывал ему о деятельности в Египте Архимеда, которому приписывалась постройка высоких насыпей, соединявших между собой отдельные деревни во время высокого уровня воды Нила. Недалеко от Кифта, на расстоянии полдня пути к северу от Куса, в деревне Дейр-ал-Баллас, на западной стороне Нила, жил астроном Альва-ад-Дейри, сочинявший гороскопы для знатных людей города, уверявший, что открыл новую звезду, что звезда подчинила ему какого-то духа, которого зовут Абу-л-Вард (отец роз),—что вообще он подчинил себе духов и своим прикосновением лечит пораженных безумием. Сам Кифти возил к нему больного родственника—конечно, без результата. По поводу этой поездки мы находим в его книге «сцену с натуры», наглядно показывающую, что книжное образование и искусственное красноречие не уничтожили в нем непосредственности и живости воображения. Приезжие остановились в мечети, где какой-то магрибиец (житель Магриба — северо-западной Африки) содержал школу для детей; ни от этого шейха, получавшего ничтожное содержание, ни от других жителей деревни им не удалось ничего получить, и они были вынуждены послать за провизией на другой берег Нила, в деревню Эбнуд. Они ночевали в мечети; ночью в дверь постучался человек, принес миску с едой из куриного мяса и яиц и сказал, что его жена Умм-Сирадж, пользовавшаяся в Кифте гостеприимством семьи Кифти, очень извиняется, что слишком поздно узнала о приезде гостей. Кифти поблагодарил и тут же на школьной доске написал стихи, в которых прославлял Умм-Сирадж,

[1]) Известно, что для еретиков *шиитов* Али является единственным законным преемником пророка, тогда как правоверные *сунниты* почитают четырех праведных лифов—Абу-Бекра, Омара, Османа и Али—и полагают, что каждый из них стоял ше своего преемника.

противополагая ее щедрость скупости остальных жителей деревни и называя ее розою среди шипов. Утром он уехал, позабыв, как хотел, стереть стихи с доски; пришли школьники, увидели стихи, выучили их наизусть и стали распевать по улицам. Старики обиделись и толпой поехали жаловаться старикам Кифти на шалость молодого человека и получили удовлетворение.

К воспоминаниям Кифти о днях своей молодости относится также рассказ Якута, из которого видно, что примеры рыцарского уважения к женщине, с таким талантом рассказанные в «Истории испанских мусульман» Дози, встречались и в других частях мусульманского мира. Кифти рассказывает, что в один из своих приездов из Каира в Кифт привез с собой испаханскую кошку, которая в их доме родила котят; пришел соседний кот и съел некоторых из них; Кифти был так огорчен, что поклялся убить кота, смастерил силок, приладил его на высокой эстраде и стал ждать; когда кот попал в силок, он взял в руки палку с железным наконечником и хотел выполнить свою клятву. Незадолго перед этим обрушилась стена между домом семьи Кифти и домом соседей; в ожидании мастеров, которые должны были поправить стену, была протянута занавесь; у владельца соседнего дома были две дочери-девицы, славившиеся красотой во всем городе. Когда молодой человек подошел к коту, вдруг открылся кончик занавеси; глаз Кифти «упал на такую красоту, которой не выдержали бы и старики, не говоря уже о юношах»; обе девушки делали ему знаки пальцами, умоляя отпустить кота. Молодой человек развязал силок и сошел вниз; «в моем сердце», прибавляет он, «было то, что должно было быть в моем возрасте—начале половой зрелости». Его мать в то время была больна и сидела дома; увидев сына, она сказала: «Я вижу, что ты не убил его, как хотел». Сын ответил, что кот оказался не тем, а другим; мать заметила: «Не думаю, чтобы дело было так; не делали ли тебе знаки пальцами, чтобы ты отпустил его?»—«Кто делал мне знаки?» возразил сын; «я не понимаю, о чем ты говоришь». Мать тогда напомнила ему стихи ранне-арабского (эпохи омейядов) поэта Ахваса ибн-Мухаммеда, где говорится о неприкосновенной святости невесты друга и соседки; в первом случае увлечение было бы изменой дружбе; во втором—нарушением установленных самим богом прав соседства. Эти стихи были «водой на огонь» страсти Кифти; после этого он до конца летних каникул оставался внутри дома, стойко выдерживая страшный зной, и не поднимался ни на крышу, ни на балкон. Можно только удивляться, какое живое воспоминание мимолетного видения своей молодости сохранял пожилой ученый (когда с ним познакомился Якут, ему было около 50 лет), окруживший себя книгами и не имевший до конца жизни ни семьи, ни собственного дома.

2

Назначение Кифти-отца в Иерусалим и переезд туда вместе с сыном был связан, повидимому, с личной дружбой между старшим Кифти и одним из египетских предводителей Фарис-ад-дином Меймуном ал-Касри, получившим такое прозвание («дворцовый») за участие при Саладине в занятии дворца (каср) низложенной династии фатымидов. Подобно большинству военных предводителей, Меймун в год смерти Саладина (1193) находился в Сирии, но разошелся с сыном Саладина Афдалем Али, правившим в Дамаске, и перешел на сторону его брата Азиза Османа, правившего в Каире. По договору между членами династии Эйюбидов [1]), заключенному

[1]) Эйюб был отцом Саладина.

в 1194 г., Меймуну были возвращены находившиеся в его ведении крепости, и соответствующая территория была подчинена Египту. В 1195 г. Азиз назначил Меймуна наместником Набулуса и Иерусалима, с отрядом в 700 всадников. После смерти Азиза (1198) власть в Египте и Сирии перешла к его дяде Адилю Абу-Бекру; сначала он был в Египте опекуном малолетнего сына Азиза, Мансура, потом овладел престолом для себя. Меймун принадлежал к числу вассалов, не пожелавших подчиниться Адилю и находившихся в войске сыновей Саладина, Афдаля Али и Захира Гази (последний еще при жизни отца владел Халебом); когда между союзниками произошел разрыв, Меймун присоединился к Захиру и вместе с ним пришел в Халеб, вероятно в конце 1201 г.; свой удел он покинул, вероятно, еще в начале того же года, когда в Набулус прибыл и провел там некоторое время Адиль; Захир, в 1202 г. заключивший мир со своим дядей и признавший себя его вассалом, дал Меймуну в удел города Азаз, Шейх и Хаввар. Удел находился к северу от Халеба, на границе с княжеством киликийских армян: Хаввар уже через 20 лет, при Якуте, находился в разрушенном состоянии, вероятно вследствие частых пограничных войн.

За Меймуном на этот раз последовал только младший Кифти. Его отец тоже разошелся с Адилем и его везиром Ибн-Шукром, но почему-то отправился за Евфрат, в Харран, где сын Адиля Ашраф Муса сделал его своим везиром. В этой должности он, по словам Якута, пробыл недолго, испросил себе разрешение совершить паломничество в Мекку и был отпущен туда с большим почетом, с условием вернуться обратно. Этого условия он не выполнил и отправился из Мекки в Иемен, где вероятно в 1215 г. [1]) сделался везиром атабега (правителя) Сункура. Через некоторое время он вышел в отставку с сохранением содержания и поселился в одном из красивейших городов Иемена, Зу-Джибле, где прожил отшельником до своей смерти, последовавшей в 1227 г. За это время отец и сын, насколько известно, виделись только один раз, во время паломничества в Мекку, в начале 1222 г. Кифти, таким образом, прожил в Иерусалиме только 6 лет, а не 15, как сказано в предисловии издателя его труда (Липперта). В Иерусалиме он продолжал вести частную жизнь, он пользовался расположением властей, получил приглашение поступить к ним на службу, высказывая свое мнение по отдельным вопросам и выполняя отдельные поручения, которых не могли бы выполнять другие, но не занимая никакой определенной должности. Посредством бесед с учеными он и в Иерусалиме, как раньше в Египте, расширял свои научные познания; в 1199 г. он слышал от одного испанца о существовании в Испании неизвестного ему комментария на труд Евклида.

В халебском уделе Меймуна (вероятно, в городе Азазе, на расстоянии одного дня пути к северу от Халеба) он сначала жил как друг и любимец правителя, не как слуга и чиновник; но после смерти «чиновника и везира» Меймуна он был вынужден сделаться его преемником. Главная обязанность гражданской администрации того времени заключалась в обеспечении суммы на содержание военных отрядов; воинам назначались определенные земельные участки, но не с тем, чтобы они сами вели там хозяйство, а с тем, чтобы в их пользу предоставлялся получавшийся с этих участков доход. Говоря об успешной администрации Кифти, Якут ограничивается замечанием, что за время его управления каждый воин получал все, что ему

[1]) У Якута указан 602 г. хиджры, но, вероятно, это ошибка вместо 615; в этом году в Иемен был послан правителем из Египта малолетний внук Адиля, Масуд; очень вероятно, что атабег Сункур (не упоминающийся в истории Иемена, хотя впоследствии именем «атабега Сункура» называлась определенная мера емкости) был опекуном Масуда.

полагалось, и никто из них не возбуждал жалоб. Так продолжалось до смерти Меймуна (26 янв. 1214). Для научных занятий Кифти этот период его жизни едва ли был плодотворным. Несмотря на небольшие размеры удела Меймуна, при которых представляется несколько странным употребление громкого слова «везир», должность, связанная с ответственностью за состояние военных сил и пограничной местности, не могла быть синекурой.

Меймун, повидимому, не имел преемника; после его смерти Кифти перешел на службу непосредственно к султану Захиру, поручившему ему свою библиотеку; эта должность вполне соответствовала его желаниям, так как он мог вести жизнь домоседа и отдавать все свое время науке и писанию своих трудов. Писал ли он что-нибудь раньше, из биографических сведений о нем не видно. К этому времени, к которому относятся сведения Якута, т. е. к концу 1220-х годов, он успел написать уже целый ряд трудов, среди которых было несколько исторических, к сожалению, не дошедших до нас. В своем позднейшем труде по истории философии он дает читателям советы, как им заниматься (политической) историей, при чем называет только труды историков багдадской школы, связанные с именами Табари и его продолжателей, преимущественно посвященные всемирной истории; в последнем из этих трудов изложение было доведено до 1219 г. В настоящее время многие из этих трудов утрачены, в том числе и большой труд Сабита ибн-Синана (X в.), который еще при Кифти пользовался широким распространением во всем мусульманском мире. В противоположность этим советам, сам Кифти не написал ни одного труда по всемирной истории; его труды были посвящены истории отдельных областей, при чем он, повидимому, избегал говорить о событиях своего времени. Своей родине, Египту, он посвятил обширный труд, в шести томах, доведенный до завоевания Египта Саладином. К его второй родине, Халебу, относится труд по истории династии мирдасидов (XI в.). История Иемена, места деятельности его отца в последние годы его жизни, была доведена им до своего времени; в другом труде им была изложена история Магриба (Африки и Испании) до современных ему алмохадов. К восточной части мусульманского мира относятся его труды по истории сельджукской династии от ее возникновения до ее гибели (из этих слов можно заключить, что история Малой Азии, где сельджукская династия при Кифти еще продолжала править, в этот труд не вошла) и по истории Махмуда газневидского (998—1030) и его потомков до конца этой династии, в последнюю четверть века своего существования (1161—1186) правившей только в Индии. Независимо от вопроса, насколько эти труды, если бы дошли до нас, обогатили бы наши фактические сведения по истории мусульманских государств, в культурно-историческом отношении имел бы большой интерес вопрос, как представлял себе историю различных частей мусульманского мира, от Атлантического океана до Индии, разносторонне образованный ученый начала XIII в., работавший в крупном культурном центре, одном из главных городов Сирии, среди сокровищ султанской и своей собственной библиотеки.

В жизни Кифти были только непродолжительные периоды, когда он мог всего себя отдавать науке. Уже при султане Захире он, против своей воли, был вынужден принять на себя «упорядочение дивана». Из текста не видно, имеется ли в виду финансовое ведомство или государственная канцелярия, где составлялись официальные документы; на возможность второго толкования указывают приведенные Якутом образцы документов, принадлежавших перу Кифти, в том числе рассказ о военном столкновении с франками в ноябре 1214 г., когда «приверженцы Евангелия» временно одолели «приверженцев Корана», звуки накуса (била, употреблявшегося

вместо колоколов) заглушили звуки азана (призыва к намазу). Приводятся также стихи, сочиненные Кифти для прославления султана Захира и даже его малолетних сыновей, хотя в действительности управление Захира едва ли вполне соответствовало идеалам Кифти. Захир был любимым сыном Саладина и принял от него предсмертные наставления; указывая на свой собственный пример, отец убеждал сына добиваться любви знати и народа только ласками и добротой и избегать пролития крови, никогда не обходящегося безнаказанно. Историк Халеба, Кемаль-ад-дин (родился в 1191 г.), уверяет, что Захир остался верен этим заветам, что в нем с властным характером соединялось веселое лицо, что его одинаково любили богатые и бедные; как средоточие поэтов, ученых и других выдающихся людей, его двор сравнивается со двором другого халебского князя-мецената Сейф-ад-дауля, представителя династии хамданидов (X в.), при чем автор прибавляет, что скромностью, добродетелями и щедростью Захир даже превосходил Сейф-ад-дауля. Иную характеристику Захира, повидимому, более соответствующую действительности, мы находим в известной всемирной истории Ибн-ал-Асира. Захир, действительно, привлекал к своему двору «знатных людей из разных областей, поэтов, людей веры и других» и назначал им щедрое содержание; но в то же время не только отличался властным характером, не только сосредоточивал в своих руках все управление, но «жадно собирал деньги из всевозможных необычных источников, жестоко карал за проступки и не признавал прощения». Эта характеристика подтверждается рассказом Якута о «злом человеке» Абу-с-Сана Махмуде, происходившем из халебской деревни Яхмул, к помощи которого обращался Захир, когда «вымогал деньги и (с этой целью) подвергал мучениям должностных лиц» (хотя Якут в другом месте говорит о «высоте помыслов» Захира, выражавшейся в его постройках). Повидимому, мелкие сирийские княжества XIII в. представляли такую же картину соединения культурного меценатства с грубой жестокостью и развратом, как двор мелких владетелей XI в. в мусульманской Испании (несколько односторонне изображенный в труде Дози) и впоследствии, в XV в., мелкие итальянские княжества.

Участие Кифти в делах управления едва ли было велико; первым лицом в Халебе среди гражданских элементов несомненно был кадий Беха-аддин-ибн-Шеддад, приближенный и биограф Саладина, родившийся в 1145 г., поступивший на службу к Захиру в 1195 г. и занимавший должность халебского кадия до своей смерти, последовавшей в 1234 г.; историк Кемаль-ад-дин называет его «везирем и советником» Захира. Его отправляли послом по важнейшим делам в соседние государства, — он там играл главную роль во время событий, наступивших в 1216 г, после смерти Захира, когда его преемником, согласно завещанию отца, был объявлен его двухлетний сын от брака с дочерью Адиля, Азиз Мухаммед, и когда халебское княжество подвергалось опасности от внутренних смут и внешних врагов. Кадий Беха-ад-дин упоминается на первом месте среди лиц, добившихся изгнания самовольно захватившего власть везиря Ибн-Абу-Я'ла и признания опекуном малолетнего государя Шихаб-ад-дина Тогрула, который еще при Захире был начальником цитадели, заведывал помещавшимися в цитадели казной, дворцом и гаремом и воспитанием детей султана. Тогрул роздал деньги и уделы и во всем следовал советам кадия; он оставался у власти до 1231 г., когда молодой султан взял правление в свои руки. За все это время Тогрул управлял княжеством из цитадели, ни разу не покидая ее, даже для поездки в город. Можно сомневаться в том, насколько была велика власть такого регента в смутное время, когда для защиты княжества от внешних врагов приглашались князья из других

городов Сирии, из Месопотамии и Египта; один из этих временных союзников харранский князь Ашраф Муса, спасший Халеб в 1218 г. от нашествия малоазиатского султана, даже пользовался фактически в Халебе правами верховной власти и раздавал уделы халебским воинам — правда, советуясь обо всем с «атабегом» (опекуном князя) Тогрулом. Малоазиатский историк Ибн-ал-Биби в рассказе о событиях 1218 г. совершенно не упоминает об атабеге и называет регентшей мать султана (сестру Ашрафа).

Кифти и Якут вполне серьезно говорят о Тогруле, как об идеально благочестивом и справедливом правителе, с которым из его современников мог сравниться только багдадский халиф Мустансир (1226 — 1242). Кифти сошелся с ним и принял на себя заведывание финансами, т. е. хранившейся в Халебе казной и выдачей жалованья войску, в 1219 г. (это был год отъезда из Халеба князя Ашрафа), и оставался у власти до 1231 г. (год передачи власти опекуном своему воспитаннику), с небольшим перерывом на время своего паломничества в 1222 г.; Якут называет его везиром. Сам Кифти говорит, что его паломничество было совершено «в порядке изгнания». Характерен его рассказ о подробностях его отъезда. Он выехал в пятницу 31 декабря 1221 г. и на берегу реки Кувейк увидел толпу белобородых стариков, напившихся пьяными, снявших с себя одежду и предававшихся непристойной пляске; этот вид настолько огорчил его, что он вернулся обратно и на другое утро (1 января 1222) поехал в цитадель к Тогрулу. На пути он встретил бедного человека, рассказавшего ему, что у него была лошадь, которой он пользовался для добывания средств семье; чиновник, заведывавший лошадьми, заподозрил его в краже соли, отнял у него лошадь и сверх того еще потребовал оброк за соль. Кифти пришел к «великому эмиру, атабегу Тогрулу», рассказал ему, что видел, и напомнил ему о словах пророка, что три вещи должны оставаться в общем бесплатном пользовании людей: пастбище, вода и соль; к этому он прибавил: «Ты все время сидишь на своем молитвенном коврике, с лицом, обращенным к Мекке, с четками в руках, а в твоем городе делаются такие вещи». Тогрул поручил ему немедленно послать приказ во все округи халебского княжества об отмене всех незаконных поборов, с предписанием руководиться впредь только «книгой бога и сунной (примером) его посланника», в случае нарушения правил шариата быстро производить расправу по шариату, но ничего, не предусмотренного шариатом, от людей не требовать, вылить все вино и отказаться от дохода за откуп его, под угрозой, в случае неповиновения приказу, быстрой расправы со стороны земной власти и божьего наказания в будущей жизни. Кифти немедленно отправился в диван и своей рукой, не прибегая ни к чьей помощи, написал приказ в 13-ти экземплярах, по числу правителей округов; при том им вспоминается стих: «Пиши своей рукой только то, что обрадует тебя в день страшного суда, если ты это увидишь». Сумма от сдачи в откуп вина, исключавшаяся из доходов казны, составляла 200.000 дирхемов (около 50.000 р.) в год; если принять в расчет непоступление той же суммы в следующем году (более продолжительного действия приказа, очевидно, не ожидалось) и связанное с этим уменьшение дохода с виноградников, то получалась сумма до миллиона дирхемов. Очевидно, и в халебском княжестве, под властью идеально справедливого правителя, сказывался основной недостаток мусульманской государственности: не признавалось возможной никакая законность вне совершенно неприменимого к жизни религиозного закона, к которому обращались только во время мимолетных и не всегда искренних порывов благочестия. Такое же представление о законности выражалось в личном образе жизни Тогрула, покрывавшего расходы на

свое содержание только из дохода от подушной подати с иноверцев — единственного сбора, предусмотренного в Коране, и потому с точки зрения религии единственного вполне законного. Так же действовал Кифти, уверявший, что его всегда удерживал какой-то внутренний голос, когда он протягивал руку к пище, приготовленной на неправедно нажитые средства. Несколько комичное впечатление производит и отправление отдельного приказа каждому из 13-ти начальников округов, когда пространство всего «государства» составляло пять дневных переходов с севера на юг и столько же с запада на восток.

Кифти совершил паломничество, с которым для него была соединена радость свидания не только с отцом, но и со многими другими земляками из Кифта. В том же 1222 г. к нему в Халеб прибыл географ Якут, бежавший с востока из страха перед татарами; еще в 1220 г. он из Мосула в красноречивом послании, которое Кифти потом включил в свою книгу о грамматиках, обратился к «везиру» с просьбой о покровительстве. Кифти дал ему необходимые средства; Якут приехал в Халеб, где потом жил не все время, но в этом городе составил для библиотеки Кифти в 1228 г. список своего труда; там же его в 1229 г. застигла смерть. Их сближала страсть к собиранию книг, с той разницей, что Якут не только выбирал книги, но и торговал ими; по его словам, он за всю свою жизнь книготорговца не встречал такого страстного библиомана, как Кифти. Рассказывается, что Кифти однажды решил приобрести автографический экземпляр большого труда ученого XII в. Сам'ани; когда потом оказалось, что невежественный владелец употребил рукопись на приготовление формы для выделки шляп, то для Кифти гибель драгоценной рукописи была таким же ударом, как и смерть близкого человека. Для Кифти, вероятно, было некоторым разочарованием, что Якут завещал свою библиотеку не ему, а одной из багдадских мечетей; тем не менее библиотека была доставлена по назначению. Неизвестно тоже, досталось ли Кифти что-нибудь из библиотеки его умершего в Йемене отца, отличавшегося этой же страстью.

В своем географическом словаре, под словом «Халеб», Якут сообщает некоторые сведения о состоянии Халеба и халебского княжества в последние годы управления Тогрула и Кифти. Вопреки обычному мнению об исламе, как причине экономического упадка мусульманских стран, мы знаем и из других источников, что северная часть Сирии и южная часть Месопотамии переживали в первую половину XIII в., после шести веков мусульманского господства, эпоху высшего экономического процветания. По словам Якута, в халебском княжестве было 820 слишком деревень, принадлежавших исключительно подданным, кроме небольшого числа участков, которыми распоряжался султан, и 200 слишком деревень, составлявших общую собственность султана и подданных. Наделы были достаточны для содержания отряда в 5000 всадников; можно было бы увеличить это число до 7000, если бы не необходимость содержать отряд в 1000 слишком отборных всадников, получавших от 10000 до 15000 дирхемов в год [1]). От расходов на войско оставался излишек, составлявший до 10000 дирхемов в день. Якут уверяет, что в 1227 г. только от торговых пошлин, в состав которых входили закат ($2^1/_2{}^0/_0$) с мусульман и десятинный сбор с франков, поступило 700000 дирхемов [2]).

---

[1]) Эта цифра, вероятно, преувеличена; даже уплата жалованья в 10.000 дирхемов тысяче всадников потребовала бы суммы в 10 милл. дирхемов, что превосходило всю сумму годового бюджета княжества.

[2]) По анонимному рукописному описанию Халеба (вер. XVII в.), использованному в книге Блошэ, годовой бюджет Халеба составлял при Захире (цифры относятся

Последние слова показывают, что отношения между мусульманами и франками мало походили на наше представление о непримиримом обоюдном фанатизме в эпоху крестовых походов. То же самое подтверждается другими источниками; испанский путешественник Ибн-Джубейр, бывший в Сирии в 1184 г., убедился на собственном опыте, что торговые сношения между мусульманами и франками не прерывались и во время военных действий. Земледельцы мусульмане во владениях крестоносцев отдавали половину урожая, платили подушную подать в $1^5/_{24}$ динара (динар — около 5 рублей) с человека и, кроме того, небольшой сбор с плодовых деревьев; тем не менее они, как с горечью признает Ибн-Джубейр, находили свою участь более завидной, чем участь их братьев, оставшихся под властью мусульманских князей. С другой стороны, образованным христианам и евреям, несомненно, было легче жить под властью мусульман, чем образованным мусульманам и евреям под властью христиан. В книге Кифти об ученых приводится много имен христиан и евреев, живших в мусульманских городах, в том числе и Халебе, и свободно занимавшихся наукой в тесном общении со своими мусульманскими коллегами. Еврей Ибн-Ямин (умер в 1207 или в 1208 г.) свободно слушал в Халебе приезжего персидского математика; в Халебе же окончил свои дни в 1218 г. ученый христианский врач из Эдессы, раньше живший в Малой Азии и в Диярбекре.

Труд Кифти написан после его отставки в связи с уходом Тогрула и, может быть, до его последнего назначения; последняя встречающаяся в нем дата — 631 г. хиджры (1233—4 г.); для установления terminus ante quem данных, повидимому, нет (упоминается, как живой, сын Моисея Маймонида, но он вообще на 6 лет пережил Кифти). Как общий план труда, так и отдельные места, где говорится о лично известных автору христианах и евреях, свидетельствуют о том, что в авторе мусульманское благочестие соединялось с философским мировоззрением, стоявшим выше вероисповедных споров, хотя в этих спорах приходилось принимать участие самому автору; в списке его трудов упоминается сочинение под заглавием «опровержение христиан и рассказ об их соборах вселенских». В самом начале книги из даров бога человеку на первом месте ставится разум; как для многих мусульманских ученых, так и для Кифти упомянутый в Коране пророк Идрис — одно и то же лицо с Гермесом, мифическим родоначальником античной мудрости; он же научил людей почитать единого бога, исполнять предписанное и избегать запретного. Как везде, так и в мусульманском мире возникали споры об отношении веры к знанию; из труда умершего в начале XI в. Абу-Хайяна Таухиди Кифти приводит подробный рассказ о таком споре, происходившем в X в., в связи с незадолго перед тем появившимися трактатами «искренних» (в дружбе), своего рода масонского общества; им приписывалось учение, что совершенство достижимо только посредством соединения «греческой философии с арабским шариатом». Абу-Хайян, обладавший обширной ученостью, но в конце своей жизни разочаровавшийся в науке и сжегший свои книги [1]), отстаивал интересы веры. Кифти приводит не весь спор, но только извлечение, обрывая его после подробного изложения доводов защитника науки, где говорится, что шариат — лекарство для больных, философия — лекарство для здоровых. Пророки лечат больных, чтобы болезнь не усиливалась и сменилась здоровьем; философы сохраняют людям здоровье, так что их вообще не

к 609 г. хиджры, т. е. к 1212—3) 6.984.500 дирхемов, при его внуке Насире 7.305.000, однако доходы с торговли не уменьшились; с одного только десятичного сбора поступало 600.000 дирхемов.

[1]) Подробная, еще не использованная наукой, биография Абу-Хайяна находится в биографическом словаре Якута.

остигает болезнь; только при условии такого сохранения здоровья люди могут достигнуть высшего блаженства и сделаться достойными «божественной жизни», т. е. вечности. В шариате все основано на принуждении, в философии—на убеждении, в шариате—на мнениях, в философии—на достоверности, и т. п. Ответ Абу-Хайяна не приводится, не приводится и мнение автора, ограничивающегося замечанием, что достигнуть истины помогает бог.

У того же Кифти мы находим рассказ о Моисее Маймониде, свидетельствующий уже о правительственной веротерпимости при Саладине и его преемниках. Великий еврейский философ (родился в 1135 г.) на своей родине, в Испании, вследствие нетерпимости алмохадов был вынужден принять ислам; после приезда в Египет он беспрепятственно вернулся к иудейству, несмотря на то, что по мусульманскому закону раз принявший ислам в случае возвращения к неверию подлежит смертной казни. Когда приехавший из Испании факих (законовед) Абу-л-Араб ибн-Ма'шна стал обличать Моисея, его защитил «превосходный кадий» Абд-ар-Рахим, объявивший, что человек, обращенный в ислам насильно, по шариату не является мусульманином.

Насильственно был обращен в ислам также другой ученый еврей из подданных алмохадов, Иосиф, сын Иоанна, из Себты (Цеуты) в Африке, получивший научное образование в Фасе (Феце). Через некоторое время он также переселился в Египет, где сблизился с Маймонидом и принимал участие в одном из его научных трудов, потом жил в Халебе, где женился на дочери местного чиновника—еврея; из Халеба совершил, в качестве торговца, путешествие в Месопотамию и Индию, вернулся оттуда в Халеб, был принят в число придворных врачей султана Захира, купил себе имение и принимал приходивших к нему учеников. Между ним и Кифти установилась тесная дружба.

Приводим из халебской истории некоторые сведения о последних временах жизни и «государственной» деятельности Кифти, если не ошибаемся, еще не использованные его биографами. Приняв власть от своего опекуна, молодой султан Азиз тотчас назначил своего везира, Зейн-ад-дина Абд-ал-Мухсина ибн-Мухаммеда ибн-Харба, и в противоположность Тогрулу, никогда не покидавшему свое княжество, тотчас стал объезжать свое княжество. В 1232 году ему сообщили, что у Тогрула в крепости Телль-Башир (в северной части княжества) были сложены сокровища; султан решил взять их; атабег поручил своему заместителю их выдать, но предварительно отобрать оттуда и послать в Халеб сокровища, составлявшие личную собственность Тогрула. Султан взял, что нашел в крепости, и остановил также на пути в Халеб караван с личной собственностью Тогрула; потом, когда эти богатства оказались менее значительными, чем он ожидал, он велел все вернуть атабегу; тот отказался принять присланное и объявил, что собирал деньги только для султана. В конце октября 1233 г. Тогрул умер; султан пешком принимал участие в похоронной процессии и проливал над гробом обильные слезы. Памятником деятельности Тогрула осталось несколько построек религиозного характера; с другой стороны, его потом обвиняли в недостаточной заботливости о защите города; когда в 1225 г. обрушились 10 башен цитадели и часть моста, он нашел, что полное возобновление укреплений обойдется слишком дорого; поэтому в цитадели остались недостаточно защищенные места, чем в 1260 г. воспользовались татары.

В 1236 г. султан прогневался на везира Зейн-ад-дина и в четверг 31 августа поставил во главе дивана (в этом случае, несомненно, под диваном имеется в виду гражданская администрация в целом) везира

Джемаль-ад-дина Кифти. Это первый раз, что имя Кифти упоминается в специальной истории Халеба, несмотря на его везирство при Тогруле, засвидетельствованное Якутом. Уже в ноябре того же года султан умер (о нем говорится, что он хорошо обращался со своими подданными), назначив своим преемником своего семилетнего сына Насира Юсуфа. Мать султана Азиза, Дайфа, сделалась правительницей за своего малолетнего внука, как в 1216 году за малолетнего сына; ее советниками сделались везир Джемаль-ад-дин Кифти и эмир (военный предводитель) Джемаль-ад-дауля Икбаль Хатуни; регенство продолжалось до смерти старой султанши, последовавшей 7 ноября 1242 г. Для халебского княжества эти шесть лет были бедственным периодом; происходили столкновения с другими сирийскими княжествами, предъявлялись притязания на верховную власть над Халебом со стороны малоазиатского султана (правительница в 1237 или 1238 г. даже была вынуждена подчиниться этому требованию и допустить чтение в мечети молитв за султана Кай-Хусрау в присутствии эмира Джемаль-ад-дауля,— везир, повидимому, уклонился); княжество подверглось разграблению со стороны хорезмийцев, т. е. войск бывшего хорезмшаха (владетеля Хорезма, т. е. области современной Хивы, в конце XII и в начале XIII в. составлявшей центр могущественной империи) Джелаль-ад-дина, погибшего в 1231 г. в борьбе с татарами. Хорезмийцы грабили страну и захватывали в плен женщин и детей, насиловали женщин даже в мечетях, нисколько не считаясь с предписаниями ислама; с другой стороны, после поражения, нанесенного хорезмийцам в августе 1242 г., при участии халебского войска, победители захватывали хорезмийских женщин, срывали с них золотые и серебряные украшения. Историк Кемаль-ад-дин принимал участие в политических событиях в качестве посла; получил ли он какие-нибудь инструкции от Кифти и вообще проявлялось ли в чем-нибудь влияние везира на ход событий, из его рассказов не видно.

Приняв власть после смерти бабки, молодой султан (его объявили совершеннолетним, хотя ему было всего 13 лет) опирался на тех же советников, которым тогда же были пожалованы некоторые статьи дохода. Эмир Джемаль-ад-дауля получил половину дохода с известных халебских соляных копей (очевидно, слова пророка, о которых Кифти некогда напоминал Тогрулу, были давно забыты), и за ним были сохранены статьи дохода, которым он пользовался во время малолетства султана. Везир Джемаль-ад-дин получил в полную собственность часть имущества чиновников, заведывавших государственной казной — очевидно, конфискованного по обвинению чиновников в казнокрадстве. На решение государственных дел он, повидимому, оказывал гораздо меньше влияния, чем эмир; историк Абулфида в качестве советника молодого султана называет только эмира Джемаль-ад-дауля, совершенно не упоминая о везире. Султан по понедельникам и четвергам лично творил суд в «доме справедливости» и принимал жалобы.

Через шесть лет, 30 декабря 1248 г., везир-философ умер. В Халебе XIII в. не было никаких построек, которые были бы связаны с его именем, тогда как едва ли не все другие вельможи воздвигали медресе и другие здания, носившие их имена, в том числе и последний товарищ по управлению государством, черный евнух эмир Джемаль-ад-дауля. Все свои деньги Кифти, повидимому, тратил на приобретение книг; свою библиотеку, оценивавшуюся в 50.000 динаров (около 250.000 р.), он завещал султану Насиру, последнему из трех халебских султанов, которым он служил (первый из них, султан Захир, родился весной 1173 г., т. е. был на полгода моложе Кифти).

В. Бартольд

ИОСИФ ОРБЕЛИ

САСАНИДСКОЕ ИСКУССТВО

I

Восточные течения, больше чутьем угадываемые, чем устанавливаемые знанием, уже давно отмечались, как те необычайно сильные факторы, которые если не создали, то содействовали выработке многих форм, хорошо знакомых искусству далекого Запада, и романского и германского, и северного, скандинавского, и более нам близкого славянского мира. По мере усиления знакомства с Востоком, по мере уширения и углубления работы над разнообразнейшими культурами Востока, семитического, арийского и «туранского», все более и более ясные формы, всегда спорные, но тем не менее убедительные, принимают разнообразные теории о направлениях и путях, которыми шли эти течения, о тех центрах, которые явились их источниками.

Одним из наиболее излюбленных центров, откуда склонны выводить эти течения, является Иран (причем действительное содержание этого термина не всегда реально сознается теми, кто склонен в Иране искать спасения от оставленных или забытых старых теорий), особенно Иран раннего средневековья, когда под властью сасанидской династии в Персии, в связи с общим национальным возрождением, необыкновенного расцвета достигло и изобразительное искусство, и монументальное, архитектура и скульптура, и прикладное, торевтика, керамика, ткани, а также и живопись, о которой мы знаем, впрочем, мало.

Многие из восточных элементов, улавливаемых в искусстве и романском, и византийском, и русском, особенно в декоративной пластике, в орнаментике, носят в себе явные признаки того, что если они не были созданы на иранской почве, где-то между третьим и седьмым веком нашей эры, то, во всяком случае, были там проработаны и пришли на Запад, отразив в себе черты искусства сасанидской Персии.

Положение это, не сегодня ставшее общим местом, нуждается в дальнейшем не столько в обосновании и доказательствах, сколько в действительном и реальном освещении, выяснении тех реальных путей, по которым эти элементы проникали на Запад, в определении того, не было ли тут случаев обратного заимствования художественных форм и технических приемов, собственно — в разработке деталей этого последнего процесса, так как наличие самого факта едва ли может быть оспариваемо.

При этом замечательно то, что в сущности весь материал, которым располагает наука для изучения по вещественным памятникам культуры сасанидской Персии, количественно невелик, и только изумительная яркость и красочность форм, четкость технических приемов и своеобразие трак-

товки сюжетов дают возможность возместить количественную бедность сохранившихся памятников установлением типических черт сасанидского искусства. Только яркость этих черт, особенно сильно заметная в изображениях, заимствованных из животного мира, в передающих движение сценах, в декоративной сложности воспроизведений ткани, позволяют вылавливать отдельные, явно навеянные искусством сасанидского мира штрихи в искусстве других стран и последующих времен, восполняя таким образом дошедший до нас подлинно сасанидский материал.

Замечательно и то, что большая часть произведений сасанидского искусства, кроме, разумеется, мощных рельефов, высеченных на величественных скалах юго-западной Персии, сохранилась не на родной почве а далеко за пределами древнего Ирана. В лесах русского северо-востока, в Пермской и Вятской губерниях, уцелела большая часть того, что вообще дошло до нас из произведений прикладного искусства сасанидской Персии. Сюда, на далекий север, завозились купцами выкованные в Персии блюда и кувшины, и по драгоценности материала, и по художественным достоинствам бывшие лучшим средством для оплаты вывозившихся отсюда мехов и пушнины. Так проникали сюда и отдельные вещи, и воплощенные в них формы, отражавшиеся потом в местных грубых поделках, проникало и многое другое, что не принято учитывать при наблюдении здесь переживаний культуры, религии и языка столь «далеких», объединенных под сасанидским владычеством, народов Ирана, Армении, Кавказа. Не при Сасанидах начались эти сношения. Задолго до них существовал несомненный ввоз золотой и серебряной посуды и сюда, и дальше на восток, в нынешнюю Сибирь, из ахеменидской Персии, из греко-бактрийского царства, из того культурного мира, наследниками и возродителями которого явились Сасаниды.

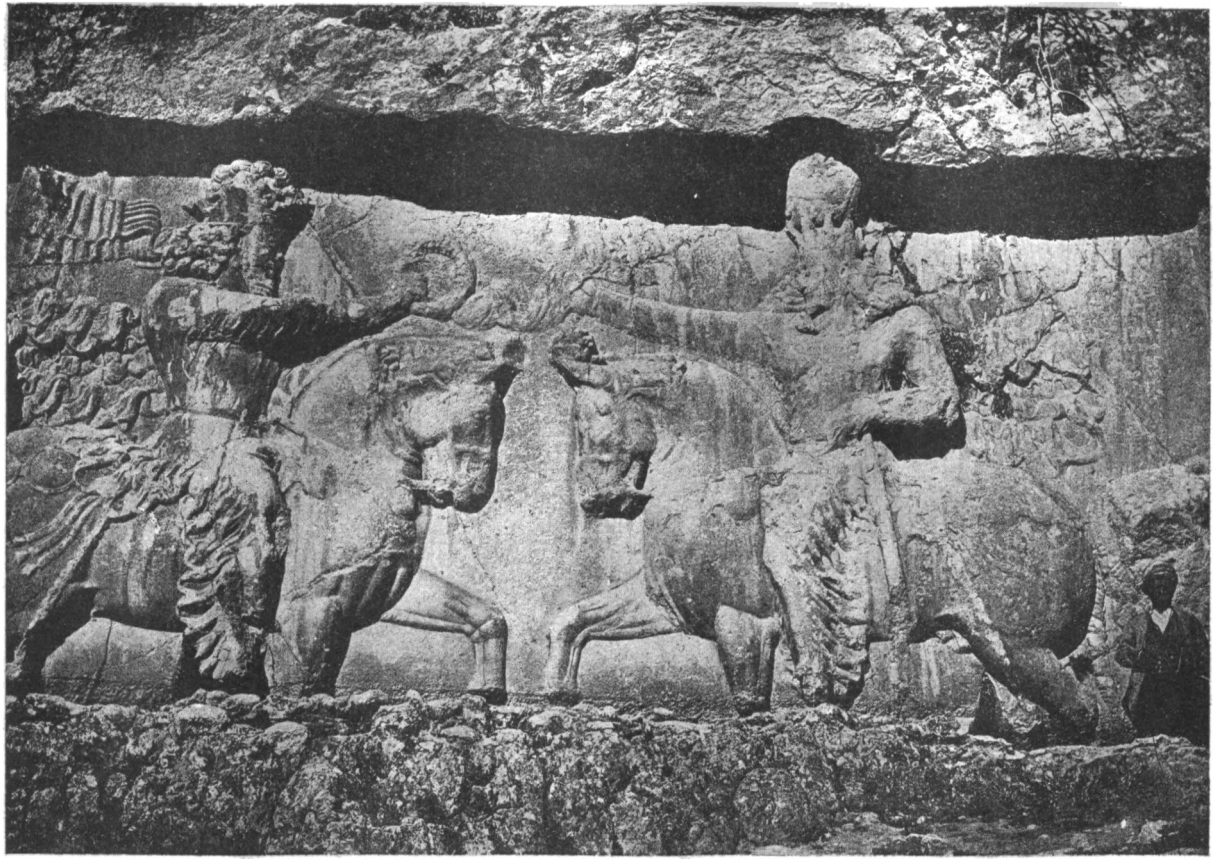
Этому обстоятельству мы обязаны тем, что для изучающего сасанидское искусство наиболее ценным хранилищем подлежащих изучению памятников, особенно торевтики, является не Лувр, не Британский Музей, славный своими восточными собраниями, а Государственный Эрмитаж, в одной из своих зал вмещающий большую часть всего, что сохранилось до нас из торевтики средневекового Ирана.

II

Не на девственной почве возникали богатые формы сасанидского искусства, длинный путь прошло искусство Ирана до того, как выдающиеся мастера, имена которых не сохранились и забыты историей, объединенные при дворе сасанидских государей, стали высекать на скалах колоссальные изображения своих повелителей, чеканить из золота и серебра утварь для их обихода, создавая образцы, по которым женщины Ирана ткали знаменитые шелка и парчу.

Искусство Ахеменидов, впитавшее в себя элементы древнейших культур Востока, дало богатую пищу мастерам сасанидского времени. Их воспитало, облагородив и облегчив формы, внеся разнообразие в сюжеты и живость в композицию, искусство, развившееся в период завоеваний и по сей день памятного на Востоке в народном предании Великого Александра, далеко на Востоке создавшего очаг и зажегшего источник света, который озарил собою не только пройденный путь, но и искусство далекой Гандхары.

Изгоняя в быту, в распорядке двора, в религии и обычаях противный Ирану эллинизм, так окрепший в парфянской Аршакидской монархии, потомки Арташира Папакана не смогли, а может быть и не хотели изгнать



Рельеф в Шапуре. Принятие власти царем Варахраном I (273 — 276 гг.)

этот дух эллинизма, уже принявшего подлинно эллинистические, иначе говоря — синкретические черты, из искусства, хотя все же несомненно, что на далекой восточной окраине, в Бактрии и в индо-скифских владениях, формы, свойственные, если можно так выразиться, греческому эллинизму сохранились много сильнее, дольше и ярче, чем в коренном Иране.

Воскрешая в религии, в быту, литературе и искусстве традиции древнего Ирана, борясь с наступающим на смену эллинизму воинствующим ромейством, Сасаниды дали исход тем силам, которые при менее покровительственном к ним отношении, еще не окрепнув, были бы задавлены надвигавшейся с запада мощной культурой и, оттеснив напор византийцев, обеспечили развитие коренных народных сил Ирана и связанных с ним стран, как Армения, Кавказ.

По мере расширения сасанидских владений на восток, крепли связи с Индией, отразившей в сасанидской орнаментике не одну характерную черту своего искусства так же ярко, как сильно сказалось влияние Индии на фольклор, мотивы сказок, религиозные представления Персии.

Неся дальше на восток и северо-восток свое новое слово, религиозную проповедь, оставившую след в виде занесенного в Среднюю Азию из Ирана манихейцами учения, через тех же манихейцев Иран впитал и в искусстве и вообще в культуре некоторые среднеазиатские и китайские течения, особенно усилившиеся в связи с развитием торговых сношений.

Мы не знаем имен мастеров, создававших сасанидские памятники, мы не знаем даже, к какой народности они принадлежали. Но зная, как бережно все восточные завоеватели и правители всегда относились к мастерам и художникам, даже в разгар вооруженной борьбы вылавливая их из покоренной среды, переселяя их, объединенных только признаком нахождения в плену, и давая широкий простор и возможности развитию творческих сил этих разноплеменных художников и техников, мы можем догадываться, что также разноплеменны были и творцы сасанидских рельефов, мастера, выделывавшие дошедшую до нас сасанидскую утварь. И только углубленное изучение сасанидского наследия могло бы дать возможность разрешить уверенно этот сложный вопрос. Образцы такого синкретического художественного творчества хорошо известны, и не только кружевная резьба Мшатты (Палестина) может быть приведена, как пример.

Сейчас для нас важно только то, что все сасанидское наследие действительно объединено общим характером, что все разнородные унаследованные или впитанные черты, будучи проработаны сасанидскими мастерами, представляются слитыми в одно стройное неразрывное целое.

Слишком еще мало изучено искусство Сасанидов, слишком поверхностны общие наблюдения, делавшиеся над его памятниками, чтобы можно было пытаться дать очерк *истории* сасанидского искусства, с уверенностью указать ход его развития, точно отметить момент наивысшего расцвета, проследить его упадок. Даже в такой специальной области, как монетное дело, где имеется неисчерпаемый материал и где этот материал строго распределяется в хронологическом порядке, благодаря датирующим надписям, и там нет возможности обрисовать уверенно подъем и падение этого дела в сасанидской Персии.

Нам придется говорить о сасанидском искусстве в целом, хотя в отдельных случаях мы имеем возможность опираться на прочно установленные факты, исходить из точно определенных дат, так как целый ряд сасанидских памятников датирован или пояснительными надписями, что бывает редко и только в рельефах на скалах, или деталями одеяния и, особенно, головными уборами изображенных царей. Известно, что каждый сасанидский царь имел своеобразный головной убор, именно головной

убор, так как его не всегда можно назвать короной, но он всегда содержит элементы, свойственные царскому венцу; только в начале царствования (и такие случаи чрезвычайно редки) иногда мы встречаем на царе головной убор его предшественника. Благодаря этому по головным уборам, совпадающим на рельефах и блюдах с головными уборами на точно датированных монетах, является возможность определять изображения в тех случаях, когда нет надписей, а это в свою очередь дает возможность ставить вехи, между которыми располагаются по признакам техники, сюжета и композиции, а главным образом — техники, остальные памятники [1]).

III

Немногое сохранилось из архитектурных памятников сасанидского времени, но то, что сохранилось, дает возможность судить и о техническом совершенстве искусственного материала, которым пользовались персидские зодчие, и о смелости их замысла, и о гениальной изобретательности в разрешении чисто технических, конструктивных вопросов.

Лучшим из того, что сохранилось до нас, является знаменитый дворец в Ктесифоне на Тигре, близ Селевкии, Так-и-Кесра, — здание, подавляющее и уничтожающее зрителя толщиной и мощностью стен и в то же время возносящее его изумительной легкостью колоссального свода, покрывающего открытый с фасада громадный зал, где совершались торжественные приемы у сасанидских царей. Это величественное здание чрезвычайно несложно по плану. Прямоугольный фасад, прерванный посередине дерзко вздымающейся аркой — зевом главной залы, скрывает за собою восемь поперечных к главному залу помещений, симметрично расположенных по четыре с каждой стороны, каждое из которых могло бы быть признано внушительным по размерам, независимо от остального здания.

То изумительное явление, что эта громадная фасадная стена, в настоящее время свободно стоящая, так как прерывающая ее арка не может способствовать ее прочности, сохранилась до конца XIX века в почти нетронутом состоянии, объясняется блестящим применением здесь кажущегося теперь простым конструктивного приема. Dieulafoy удачно сравнивает конструкцию этой стены, разбитой на три горизонтальных пояса, пересеченных аркадами, с современными мостовыми фермами. Эти аркады без просветов, опирающиеся на пилястры, перебивая фасад, оживляют и разнообразят его вид, в то же время своими выемными нишами содействуя мощности стены, облегчая нагрузку и маскируя постепенное утоньшение кладки.

---

[1]) Привожу перечень наиболее важных изданий, дающих наилучшие воспроизведения сасанидских памятников.

Монументальное искусство. *Marcel Dieulafoy*, L'art antique de la Perse, V-e partie, Париж, s. a. *Fr. Sarre* и *Ernst Herzfeld*, Iranische Felsreliefs, Берлин 1910.

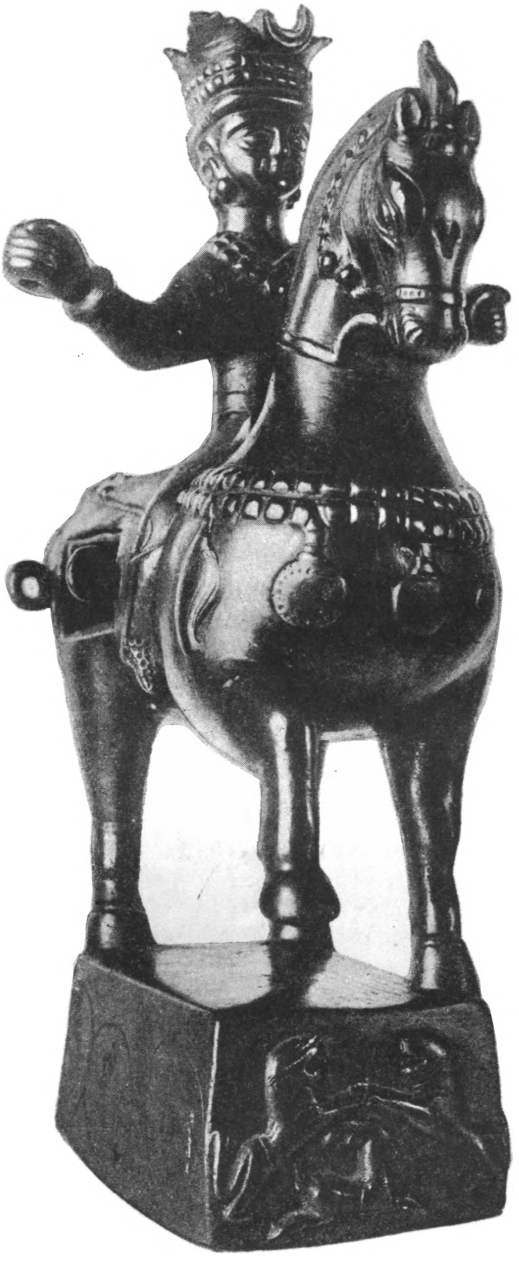
Торевтика. *Я. И. Смирнов*, Восточное серебро, Спб. 1909.

Нумизматика. La collection des monnaies sassanides de Bartholomaei, par *Dorn*, Спб. 1873.

Ткани воспроизведены во многих изданиях, но свода их нет; прекрасные образцы см. напр. у *E. Guimet*, Les portraits d'Antinoé, Париж, s. a. Много сасанидских памятников воспроизведено у *Fr. Sarre*, Die Kunst des alten Persien, Берлин, 1922 (эту книгу я впервые увидел уже после того, как настоящая статья была сверстана и готова к печатанию).

Общие сведения о сасанидской империи даны у *Arthur Christensen*, L'empire des Sassanides, Le peuple, l'état, la cour, Копенгаген 1907.

При осмотре Эрмитажного собрания может быть полезна брошюра *Орбели*, Государственный Эрмитаж, Временная выставка сасанидских древностей, Пгр. 1922.



Бронзовая статуэтка. Эрмитаж

Выс. 36 см.

И эта стена, и колоссальный свод не мало обязаны своей прочностью тому превосходно обожженному, крупному, беловатому плоскому кирпичу, который послужил материалом для всего этого сооружения и который и по форме, и по техническим приемам его укладки является предком позднейшего персидского кирпича, в руках мусульманских зодчих ставшего и декоративным элементом, когда созидались памятники, внешний декоративный эффект которых основан только на игре ломаных линий и узоров, выведенных из основного материала постройки.

Здесь же в конструкции сводов, коробовых и стрельчатых, в конструкции парусов лежат основы всего последующего зодчества Персии и Средней Азии, образцами для которого послужили такие грандиозные сооружения, как мост в Дизфуле и плотина в Шустере, и по сей день стоящие в прекрасном состоянии и продолжающие нести ту службу, для которой они были сооружены полторы тысячи лет назад.

Сейчас дворец Так-и-Кесра способен поразить нас только архитектурными формами, только уверенностью замысла и силой выполнения. Та богатая декоровка, о которой до нас дошли литературные сведения, та серебряная облицовка кирпичей, о которой говорит предание, не сохранились, и трудно теперь представить себе в глубине этой величественной залы, затененной тяжелыми завесами, великолепный трон на высоком помосте, с нависшей над ним громадной короной сасанидских государей, подвешенной на золотых цепях, ибо никто не мог бы выдержать тяжести этого пышного головного убора, весившего несколько пудов.

Насколько далеки мы от возможности судить о красоте этих помещений, можно заключить уже из того, что сейчас нет никаких покровов на убитом земляном полу покоев царя Шапура, и при их исконных владельцах лишенном постоянного настила, так как известен случай, когда при приеме армянского царя Шапур II велел, ради магических целей, усыпать часть залы армянской землею и полить ее армянской водою, нарочно привезенными из Армении, чтобы заставить гостя, без его ведома, во время беседы быть то на персидской, то на армянской земле. Пол этот покрывался колоссальным ковром.

Но, к счастью, не все архитектурные памятники Сасанидов сооружены из кирпича. По декоровке высеченных в скалах пещер, по великолепным стилизованным деревьям, так типичным для сасанидского искусства, которые украшают портал грота в Так-и-Бостане и которые так излюблены в сасанидском серебре и бронзе, мы можем судить о накладной декоровке сасанидских зданий.

На капителях Так-и-Бостана и Бисутуна, тех, которые сохранились в Исфахане, мы также видим тесную, совершенно неразрывную связь архитектурной декоровки сасанидских памятников и произведений серебряных дел мастерства.

И только монументальные Ники Так-и-Бостана, ни внешне, ни внутренне не связанные с типичными сасанидскими лентами, отходящими от пят архивольта, нарушают полную гармонию частей, несмотря на, так сказать, национальную претворенность их одеяния и атрибутов, и венка с сасанидскими лентами, и чаши. В этих Никах, удачно заполняющих угловые пространства по сторонам арки, связанных через парфянское посредство с далекими западными образцами, заключается быть может праобраз тех неизменных, умилительных в своем постоянстве парных зверей, которые заполняют те же места на перебитых арками фасадах всех позднейших зданий, и армянских, и персидских, и сельджукских, и вообще «мусульманских», создаваемых и по нынешний день.

IV

Строг, разработан до мелочей и торжествен был церемониал, принятый при сасанидском дворе. Детальны и выдержаны были местнические списки придворных чинов, велик и наряден двор, строг этикет, основанный на почитании родовитости и богопоставленности. Недосягаемо далеко, кроме боевой обстановки, стояли сасанидские цари от народа, много преград должен был пройти и подданный, и чужестранец, чтобы достигнуть той тяжелой завесы, которая скрывала от посторонних взоров восседающего на троне «царя царей», «царя арийцев и неарийцев», «повелителя мира», «происходящего от богов», завесы, отодвигавшейся на мгновение, чтобы пропустить удостоившегося приема, который с завязанным белой тканью ртом, дабы его дыхание не осквернило «близкого богам», повергался ниц, а поднявшись простирал к царю руку, вытянув в жесте покорности и почтения указательный палец. В бою закованные в железо сасанидские цари сражались, окруженные своей отборной гвардией, и не боялись подвергать себя опасности, на ряду с соратниками, но на приемах и выходах строго установленное число шагов отделяло особу монарха от наиболее приближенных к нему лиц, на положенном расстоянии от них стояли следующие чины, руководствуясь гахнамаком, «книгой местничества».

И во время пира не забывали этот строгий распорядок. Не всякий вельможа мог мечтать о высокой чести восседать на пожалованной царем с его обширного престола подушке. Только высшие чины и вассальные цари удостаивались «подушки и повязки», тех характерных знаков отличия, которые мы видим на сасанидских памятниках, тех повязок, которые развеваются у изображенных на сасанидских рельефах и блюдах царей, у излюбленных царственных животных. Строго чтя церемониал и соблюдая этикет в жизни, Сасаниды сумели отразить его в полной мере, яркими чертами, и на произведениях национального искусства. Торжественной напыщенностью полны не только фигуры Ормазда и Зороастра, самих царей и их вельмож, но даже кони, на которых они восседают, исполнены силы, величия и медлительности в твердом движении, и насколько размерена и церемониальна поступь коня в сцене торжественного выезда или в величавой картине поставления Ормаздом нового государя (кажется, только один раз, на воспроизводимом здесь рельефе, табл. I, проявляющего постановкой фигуры некоторую стремительность при виде предлагаемого богом венца), настолько же полны дикого огня и ноги и корпус коней, в буйном стремлении мчащих грозных воинов, коней, в бою с ромеями готовых смести уже потрясенного врага.

Сюжеты сасанидских рельефов не многосложны. Это всегда изображение того или иного царя в различной обстановке, но всегда с царем в ядре всей композиции. Это строгое правило нарушается только при изображении картины поставления Ормаздом, Митрой или Анахитой нового царя, в тех знаменитых инвеститурных композициях, с которыми наиболее прочно связано представление о сасанидском рельефе и которые нашли себе отражение в искусстве последующих времен, быть может даже в изображениях христианских парных святых воинов.

Сасанидские цари вообще любили созерцать изображения предков и передавать потомству свои. При смерти каждого царя немедленно изготовлялся лучшим художником его точный портрет, в сцене, изображающей какой-либо выдающийся момент его жизни, сообразно с характером данного государя, в боевой обстановке, на охоте или на совете, восседающим на престоле в кругу высших чинов; эти портреты приобщались к общему



1. Серебряное блюдо. Хосрой II (590—627 гг.). Bibliothèque nationale
Диам. 30,5 см.



2. Медальон серебряного блюда
Эрмитаж
Диам. 15 см.



3. Медальон серебряного блюда
Эрмитаж
Диам. 16,9 см.

сборнику и хранились в царской сокровищнице, и еще в X веке арабский писатель Масуди, сохранивший это известие, мог видеть рукопись, содержавшую и портреты царей, — если не подлинные официальные их изображения, то ближайшие к ним копии.

О том, что эти портреты могли быть близки к оригиналам, что они действительно могли точно передавать характер одеяния, головной убор, прическу, оклад бороды и черты изображенного лица, мы можем судить по рельефам на скалах и по чеканным и литым портретам на блюдах, так как те, нарисованные красками, изображения до нас не дошли.

Сравнение черт лица всегда индивидуалистически изображенных властителей Ирана с их более грубыми, но документальными портретами на монетах, дает возможность представить себе облик почти каждого из венчанных потомков Арташира Папакана, а некоторые из них нам известны даже в различные периоды их жизни. Иконография не только царей, но и богов была несомненно разработана и строго установлена.

Кроме инвеститурных композиций, где пешие, а чаще — конные, бог и царь стоят друг перед другом, и бог передает царю украшенный лентами венок, мы имеем и другие сходные группы, где, может быть, вручает венец не бог, а избравший себе преемника близкий к концу жизни государь, так как по установленному порядку сасанидские цари назначали наследников престола под конец своей жизни.

Другим излюбленным сюжетом монументальных рельефов была картина триумфа царя Шапура I (241 — 272) над Валерианом, где полный спокойного величия на парадном коне победитель простирает руку над коленопреклонным, приниженным ромейским императором. Блестящая победа Шапура, отметившая начало наибольшего усиления сасанидской монархии, нашла себе отражение и в официальных протокольных картинах, и в возникших вокруг победы рассказах и легендах, в свою очередь повлиявших на создание отдельных реплик того же сюжета. И любопытно, что, может быть, ни в каком другом сасанидском рельефе ясно не ощущаемая связь, и композиционная и стилистическая, с искусством Запада, здесь, в изображении триумфа Шапура I, в рельефах в местности Шапур, стоит вне всяких сомнений. Идущие в четыре ряда фигуры, близко друг к другу поставленные, связанные друг с другом не только общей композицией, но и движением, их одеяния и приемы передачи ткани позволяли бы перенести mutatis mutandis эти рельефы на любой памятник, обессмертивший победы римских императоров. И смелость планировки всей группы, и интересная по замыслу как бы выхваченность высеченной на скале сцены из грандиозного шествия, так удачно подчеркнутая изображением передней части слона, задняя часть тела которого осталась вне рамки картины и не изваяна в массиве скалы, сильно отдаляют этот памятник от спокойных, незагроможденных картин триумфа Ахеменидов.

Не чужды рельефам на скалах и сцены, представляющие царя, восседающего на троне в кругу приближенных и вельмож, несмотря на вынужденную по техническим условиям близость все же далекого от них, стоящих вокруг в почтительных позах, и своей посадкой и всем обликом, полным величия, как мы это видим на рельефе Хосроя I Ануширвана в Шапуре. И там, где Варахран II (276 — 293) представлен стоящим перед скрытыми за загородкой вельможами (Накш-и-Рустем) чувствуется та же внутренняя отдаленность. Эта разница особенно подчеркивается равенством между двумя фигурами, изображенными рядом, когда так бывают представлены два царя, как в верхнем рельефе грота в Так-и-Бостане.

На ряду с этими церемониальными сценами мы встречаем рельефные изображения охоты, излюбленной забавы Сасанидов, прославленной Фирдауси,

запечатленной на блюдах, но нигде не представленной в такой сложной и богатой картине, как в рельефах Так-и-Бостана.

Этот подбор сюжетов естественен, он соответствует тому, что передает Фирдауси о завещании Хосроя I Ануширвана, предусмотревшего все детали обстановки, в которой он должен быть погребен в пещерной зале, указавшего и сюжеты для украшения стен гробницы, и перечень утвари, необходимой для ее убранства. Едва ли в тексте завещания Хосроя нужно видеть только отражение того, чем Фирдауси мог любоваться на скалах Так-и-Бостана.

Не все сасанидские рельефы одинаково высоки по технике, совершенны по исполнению. Даже изображения приблизительно одновременные, воспроизводящие одного и того же триумфатора Шапура I, далеко отстоят друг от друга и по разработанности деталей, и по силе и выразительности движения, а в передаче именно этого сасанидские мастера были особенно искусны. Своеобразный реализм в моделировке членов, в тонкой передаче напряженных жил, не страдает даже от ученически точной, преувеличенно детальной разделки несущественных для общей композиции элементов, как ткань, из которой сшиты одеяния царей или вельмож. И еще более полна доведенного до крайности реалистического педантизма закованная в железо фигура Хосроя II (590 — 627) на защищенном бронею коне (Так-и-Бостан), где даже лицо наглухо скрыто густой сеткой кольчуги, и только слабые очертания глаз дают возможность судить о том, что замаскированность остальных черт лица не случайна, что мастер имел в виду то неуязвимое боевое снаряжение тяжелой сасанидской конницы, в котором она, по свидетельству очевидцев, врывалась в бой в решительный момент сражения.

Мы не знаем, создавались ли в средневековой Персии такие же колоссальные статуи, как те рельефы, о которых мы говорили. Статуи до нас не дошли, потому ли, что их не было, потому ли, что их уничтожить было легче, чем стесать на вертикальном обрыве скалы десятки чудовищных по размерам фигур. Но, судя по исключительно высокому рельефу Хосроя II в Так-и-Бостане, со статуарными частями, и по некоторым обломкам мы можем думать, что статуи, может быть и не такие колоссальные, существовали. И если мы взглянем на хранящуюся в Эрмитаже небольшую бронзовую статуэтку восседающего на коне царя (тбл. II), то мы должны будем в ней признать если не воспроизведение определенного монументального памятника, то во всяком случае отражение типических черт колоссальных статуй вообще. Торжественная поступь коня, его сильные, грузные формы, гордо поднятая голова, привыкшая, судя по напряжению шеи, к сильной руке, живо напоминают нам церемониальные картины на скалах. Забавная в своей беспомощности, большеголовая, коротконогая фигурка царя, при всей ее почти карикатурности, и посадкой, и жестом раскинутых рук, некогда державших спиленные теперь атрибуты, свидетельствует о том, что лепщик имел перед собой, физически или мысленно, официальный памятник, тоже предназначенный для прославления царя, имя которого от нас скрыто, если не строить догадок на основании остатков головного убора, лишенного сейчас верхушки. Статуэтка имела практическое назначение, о чем можно судить по видному и на нашем рисунке прямоугольному отверстию на ляжке коня и по следам замаскированной венцом крышечки.

Высекая рельефы на скалах, сасанидские мастера должны были иметь в виду основную задачу всякого официального портрета, официального памятника: передать в подчеркнутой идеализованной форме изображение того или иного царя в торжественный исторический момент, изображение, которое бы давало многим тысячам смотрящих на него зрителей, нарочно



1. Серебряное блюдо Строгановского собрания
Шапур II (309—379 гг.)
Диам. 29 см.



2. Серебряное блюдо. Шапур III (383—388 гг.). Эрмитаж
Диам. 21,7 см.

пришедших и случайно проходящих, всему народу, всему миру, представление о величии, мощи и славе триумфатора, ясное, глубокое сознание законности, безграничности, неоспоримости от Ормазда и Митры исходящей власти нового государя, выражало бы несравненную доблесть уверенного в будущей победе, выступающего в поход властелина, было бы напоминанием о мудрой трезвости и государственном опыте строгого, но справедливого правителя, озабоченного судьбой страны, мудрого в своих наставлениях окружающим его сподвижникам. Вся страна, а следовательно и весь мир, ибо ее государь был «повелителем мира», должна была запечатлеть в памяти его облик на вечные времена.

Мы знаем, что эта цель была достигнута. Портреты и картины вполне выражают вложенную в них идею, твердая скала сохраняет вот уже второе тысячелетие облик героев далекого прошлого, имена которых сохранила народная память, окружив их легендами, в основе не менее древними, чем рельефы, а иногда — существовавшими много столетий до того, как были высечены эти изображения, как жили представленные на рельефах герои.

Разрушительные усилия человека, дерзнувшего, даже чтя память о прошлом, посягнуть на его памятники, уничтожили, правда, один из рельефов, правда, губительная рука времени и стремительные потоки весенних вод отразились на других рельефах, но все же можно быть уверенным, что бо́льшая часть этих памятников уцелела. И много веков иранцы и те, кто им наследует, будут созерцать величавый облик озаряемого немеркнущим светом Митры, Ормаздом поставленного Арташира.

V

Иное мы видим в отношении той отрасли сасанидского искусства, которая в наибольшей мере, на ряду с тканями, содействовала распространению по всему культурному миру иранских композиций, орнаментальных тем, характерных мотивов, технических приемов, представляющих чисто местные элементы или богатые плоды развивавшейся и жившей, а следовательно и черпавшей силы извне, высокой культуры Ирана.

Едва ли нужно доказывать, что такими проводниками различных черт сасанидского искусства должны были быть не столько прикованные к месту, к родной почве, монументальные рельефы, сколько произведения прикладного искусства и художественной промышленности, та золотая, серебряная и бронзовая утварь, которая производилась в мастерских средневековой Персии и культурно объединенных с нею стран и различными путями проникала в далекие от Ирана местности культурного мира, причем естественно, что дальше всех пролагали путь себе, а с собою и иранским формам, орнаменту и технике, наиболее художественные и материально ценные предметы: на запад до Парижа, как знаменитая чаша аббатства St-Dénis, попавшая туда не позднее XIII в., по преданию — с дарами Гарун-ар-Рашида Карлу Великому, на север до Березова, как редчайший ковш, хранящийся в Эрмитаже, на восток — в Индию и на окраины старого мира, до Токио, как та сасанидская чаша, которая уже в VIII в. нашла себе приют в сокровищнице японского храма в Нара.

И, конечно, те несколько десятков сасанидских изделий, которые дошли до нас разбросанными по всему этому необъятному пространству, не могут почитаться достаточным материалом для суждения о всех формах прикладного искусства средневековой Персии, особенно если восстановить в памяти те свидетельства, которыми мы располагаем, об исклю-

чительном богатстве всеми этими изделиями и двора сасанидских государей и дворов вассальных царей и правителей. Многими сотнями исчислялась золотая утварь, служившая на пирах не только повелителей Ирана, но и менее богатых властителей, и когда имели место случаи, что сокровищница принимавшего гостей правителя не могла удовлетворить потребностям пира, располагая всего пятью стами золотых сосудов, то была возможность занять недостающие сотни вещей у другого, как об этом передают нам свидетельства древних писателей.

Мы можем верить этим цифрам, не видим оснований считать их преувеличенными, раз счастливый случай сохранил нам, правда, не такие богатые собрания, но все же внушительные подборы, как найденные вместе сасанидские: серебряное блюдо — гордость Эрмитажа, великолепная золотая жертвенная чаша, золотой же массивный кувшин, серебряная и золотая ваза и составляющие с ними одно целое золотые и серебряные кубки,—богатейшее сасанидское ядро сборного Перещепинского клада (Полтавской губ.).

Не только во внешних судьбах произведений монументальной скульптуры и торевтики, не только в естественной разнице в назначении, технике и проистекающей отсюда более быстрой смене форм и стиля у металлических изделий по сравнению с рельефами на скалах, заключается различие между этими двумя видами искусства. Более глубокое внутреннее, коренное различие полагает между ними предел, тем явственнее наблюдаемый, чем более нас поражают редкие случаи отступления от общего правила. Различие это стоит в прямой зависимости от основного назначения тех и других произведений, от обстановки и условий пользования ими или их созерцания, на которое они были рассчитаны.

Насколько ясно строго официальное назначение монументальных памятников, настолько же несомненно, что произведения сасанидского прикладного искусства, за единичными исключениями, были рассчитаны на иное к ним отношение. Не напоказ всему миру, не в назидание потомству, не для обоснования законных прав государя отливались и чеканились в золоте и серебре блюда, вазы и кувшины. Они были рассчитаны для созерцания в иной обстановке, в домашнем быту, на пирах, в кругу близких друзей, гостей, сотрапезников, когда лишнее напоминание об официальной стороне жизни при твердом сознании у всех правил этикета и придворного церемониала едва ли могло быть нужно, где более уместно было предлагать гостям сосуды с изображениями сцен, близких к той обстановке, в которой этими вещами пользовались, где более уместно было напоминание о всем, что веселило душу, где надлежало принять меры для отвращения темных сил, подкрадывающихся к человеку в минуты веселья, когда его бдительность усыплена радостью и вином.

И, действительно, чаще всего на этих вещах, великолепных, но по сравнению с тем, что было — жалких остатках пиршественного обихода, мы видим изображения главной утехи сасанидских государей и их вассалов — охоты в самых разнообразных видах, пиршественных сцен, изображения исполняемых красавицами плясок, не всегда скромных, вернее всегда нескромных (если не видеть в этих плясках отражение культовых действий), и рядом с этим зверей, беспощадно истреблявшихся на охоте и в то же время близких сердцу неутомимого охотника, всегда любовно изображавшихся то в мирной обстановке ненарушаемого присутствием человека спокойствия природы, то в яростной борьбе друг с другом за жизнь. А чтобы привлечь к пирующим счастье, не забывали художники изображать тех Благих, которые его приносят, как фазан с мистическим ожерельем в клюве (табл. VII, 4), не забывая при этом отвратить или



1. Серебряное блюдо. Бахрам Гур (420—438 гг.). Эрмитаж
Диам. 28 см.



2. Серебряное блюдо. Эрмитаж
Диам. 22,5 см.

умилостивить Злого наводящим ужас демоном в образе небывалого чудовища, соединяющего в себе все сильное, что пребывает в воздушной, водной и земной стихиях.

И тут же мы видим редчайшие (из сохранившихся, разумеется) изображения сказочно-религиозного или, может быть, и астрологического характера,—влекомой священными горбатыми быками колесницы с божеством или героем, и изумительную по одухотворенности и сейчас еще способную вызвать трепет загадочную флейтистку на сказочном крылатом звере (табл. V, 2).

Нужно помнить, что те, для кого изготовлялась дошедшая до нас сасанидская утварь, не только ели на этих блюдах, пили из этих чаш. Даже среди того немногого что до нас дошло, есть вещи, хотя имеющие форму сосудов, но несомненно, предназначенные только для украшения стола или покоя, так как ни тонкая их отделка, ни изощренная техника хрупких деталей не допускают возможности предположения, что они служили для практического назначения.

Классической формой сасанидской утвари является блюдо или приближающаяся по форме к блюду плоская чаша, блюдо, с которым у всех, сколько-нибудь знакомых с сасанидскими памятниками, наиболее ярко связано представление о сасанидском искусстве. Это объясняется и тем, что большая часть дошедшего до нас имеет именно эту форму, в которой сошлись и почти совпали предметы двух назначений — для еды и для питья, и тем, что классическое круглое поле представляло особенно благодарный фон, на котором изощренно, но легко иранские мастера разворачивали свои излюбленные сюжеты, и тем, что именно на этого рода предметах мы встречаем изображения сцен, наиболее определенно указывающих принадлежность этих памятников быту Ирана. Отличие блюд от плоских чаш заключается только в размерах и в том, что чаши несколько более углублены по сравнению с блюдами, но резкой разницы здесь нет, вследствие чего эти чаши обычно смешиваются с блюдами, но сохранившиеся на сасанидских вещах изображения, где мы видим, что из этих чаш пьют, а также свидетельство армянского историка Фавста, описывающего несомненно такое «блюдо», но с назначением чаши для вина, — обязывают различать эти две группы предметов.

Общей характеристике сюжетов, представленных на этих блюдах и плоских чашах, как будто противоречат единичные экземпляры, где мы видим картину осады крепости (хотя ведь и это утеха для сердца), или официального типа сцены: момент инвеституры с восседающим на престоле богом (а может быть и престарелым государем), вручающим венец новому царю, или интереснейшее блюдо с восседающим на престоле Хосроем I Ануширваном (531—578) в кругу приближенных, быть может, в момент объявления завещания, созерцающим своего мчащегося на охоте наследника.

Наиболее интересны для нас, как опорные пункты, те блюда и плоские чаши, на которых представлены различные цари, потешающиеся охотой, так как здесь мы имеем в большинстве случаев портретные изображения лиц, и эти прочно датируемые по головным уборам блюда могут придать некоторую устойчивость рассуждениям об истории сасанидского искусства. Как разнообразны описания охоты у Фирдауси, то перечисляющего сотни жертв охотничьего искусства сасанидских царей, с тысячами приближенных и слуг выезжавших на продолжительную охоту, то описывающего тяжкий бой героя с чудовищным зверем, то рисующего подвиги царя, не боявшегося удушить рукою львенка на глазах у разъяренной матери, то яркими образами передающего стремительный полет

на молниевидном коне царя за дичью,—так же разнообразны изображения подобных сцен на блюдах и чашах.

Некоторые из них представляют собою, несомненно, изображение именно тех моментов, которые описаны у Фирдауси, и, может быть, блюдо Британского Музея с душащим львенка Бахрам-Гуром (Варахран V, 420—438) является иллюстрацией к тексту «Книги Господ» послужившей источником Фирдауси, а блюдо Казанского Музея (тбл. VI, 1) уже несомненно изображает того же Бахрам-Гура. Лучшим пояснительным текстом к нему, передающему почти все отмеченные в рассказе Фирдауси детали, являются подлинные слова великого поэта, который описывает охоту царевича Бахрам-Гура, по предложению своей возлюбленной «обратившего» самца газели в самку, а самку в самца: двойной стрелою он срезал рога самца, две стрелы, вместо рогов, он вонзил в затылок самки.

Смел и полон мудрой осторожности тот же неутомимый охотник Варахран V в образе индо-скифского царя, когда он поражает в камышах устремившегося на него кабана (тбл. V, 1). Не знает удержу другой прославленный охотник, воспетый многими поэтами, любовник красавицы Ширин, Хосрой II Парвиз, распластавшийся в воздухе конь которого уже догнал целый зверинец, спасающийся бегством, оставляя позади трупы пораженных стрелами зверей (тбл. III, 1).

Изяществом дышит облик красавца, национальным поэтом и чужим историком воспетого рыцаря, не знающего границ ни в любви, ни в ненависти, ни в милости, ни в гневе,— Шапура II (309—379), в бурном порыве поражающего горных баранов, ничем не проявляя волнения на своем прекрасном лице, холеном лице щеголя, с украшающим бороду традиционным золотым перехватом (на Перещепинском блюде).

Не может художник, привыкший яркими чертами передавать напряженную торжественность церемониала или стремление и порыв, борьбу, погоню и паническое бегство, так же тонко нарисовать картину покоя, мирного отдохновения в свободной позе.

Вялы и неестественны фигуры царей и их приближенных в сценах пира, причем и тут мы видим, что напряженные в действии участники сцены, например, музыканты, все же лучше безмятежно отдыхающего с чашей и цветком в руке после трудов или охоты царя. Эти блюда для нас важны и тем, что кроме точного изображения платья, ткани, убора, мы здесь имеем документальное подтверждение принадлежности сасанидскому быту многих предметов обихода, известных нам в подлинниках; так, например, на блюде Эрмитажа (тбл. VI, 2) мы видим кувшин и вазочку, о которых речь будет ниже и фотографии которых даются нами (тбл. VII и VIII); тут же мы видим приближенных, не только скрестивших по этикету руки на груди, но и подвязавших себе рты, согласно этикету, платками. Вообще эта группа блюд дает ценный историко-бытовой материал.

И зверей сасанидские мастера привыкли изображать в движении, здесь они были особенно сильны. Напряжение мускулов в яростной борьбе двух зверей (тбл. VII, 5), безумный прыжок с поджатыми ногами, вытянутой мордой и действительно горящими огнем глазами горного козла (тбл. III, 2, 3), вкрадчивая поступь гуляющей львицы (тбл. VII, 2), характерная походка волка, напряженность во всем теле вздымающихся навстречу друг другу козлов — излюбленные и блестяще передаваемые мотивы сасанидских мастеров. Дикий полет двуногих крылатых чудовищ, сочетающих формы пяти-шести различных зверей, рыб и птиц, самый облик этих демонов, в идее возникших задолго до времени сасанидов, но именно в сасанидском искусстве приобретших этот образ,— не менее излюбленная тема декоровки и блюд и тех великолепных кувшинов, лучшим из которых



1. Серебряное блюдо. Бахрам Гур (420—438 гг.). Казань
Диам. 28,5 см.



2. Серебряное блюдо. Эрмитаж
Диам. 23,3 см.

может гордиться Эрмитаж (тбл. VIII). Стилизованное дерево или какое-то своеобразное растение, более близкие к естественным формам деревья, растительные побеги и витки, часто охватывающие изящными кружками разбросанных по растительному полю зверей и птиц, — фон, уничтожающий монотонность, связывающий декоровку всей вещи в одно целое. Классическая группа парных зверей или птиц, часто по сторонам дерева или цветка, обычно напряженно поднявшихся,—мотив, любовно разработанный сасанидскими мастерами, впервые придавшими этой группе тот в нашем теперешнем восприятии геральдический облик, в котором эту группу хорошо знает весь новый мир, уже забывший о том, когда и откуда он воспринял этот образ.

Изящные вазочки или кувшинчики, украшенные теми же мотивами, иногда разбитые на ряд полей, разделенных аркадами, с пляшущими обнаженными и полуобнаженными девами, держащими в руках шарф, чашу или цветок и в сладострастном томлении изгибающими стан, иногда украшенные непрерывным фризом стройно вытянувшихся журавлей или заключенными в обрамления зверями и птицами — распространенный тип сасанидской утвари.

Менее нарядные канелированные глубокие чаши с плоским дном, в роде той, которую держит в руках царь на Эрмитажном блюде, ковшики и чарки, с наглядно поясняющими их назначение ручками, на которых мы видим изображения пьющих персов, кубки на высоких ножках, заключающих в себе сладко звенящие на разные лады бубенцы, со строгой орнаментацией канелюрами или рельефными растениями на верхней части, дополняют подбор предметов пиршественного обихода.

Не для пиров, а для возлияний должны были служить великолепные многолопастные чаши, то лишенные всякой орнаментации, как массивная семилопастная золотая чаша Эрмитажа и чаша в Нара, то богато украшенные, всегда только снаружи, и звериными и растительными мотивами, и теми же полуобнаженными плясуньями (тбл. IX, 1).

Все эти изделия, объединенные общим характером, по технике и по стилю существенно различны между собой и свидетельствуют о наличии не одной, а нескольких школ, быть может сосуществовавших, быть может сменявших друг друга во времени. Эти различия в стиле, при осторожном подходе к этому вопросу, может быть дадут возможность со временем установить основные исторические этапы развития сасанидского искусства и его отражений.

Что касается техники, то здесь мы видим богатство приемов, свидетельствующих о большом навыке и хорошей школе, которую проходили сасанидские мастера, умевшие разрешать такие, казалось бы, неразрешимые задачи, как выполнение великолепного кувшина Эрмитажа обратным чеканом изнутри (горлышко и ножка припаяны). Вообще в чеканном деле они достигли высокого совершенства так же, как в применении открытого ими приема как бы инкрустации отдельно выполненных деталей, укрепляемых в надлежащем месте путем втирания в вырезанные по контуру борозды, что позволяло сочетать технику чекана с техникой литья основы и давало возможность применять высокий рельеф со статуарными деталями.

Резьба, штриховая и пунктирная, применявшаяся для отделки литого или чеканного рисунка, а затем и самостоятельно, частичная позолота (путем притирания золотых листочков) давала возможность оживлять композицию, подчеркивая детали, оттеняя существенные части.

В ближайшей естественной связи с серебряным производством должно было стоять литье из бронзы, и те кувшины Эрмитажа, которые сохранены ущельями Дагестана (тбл. IX, 2, 3), даже если они созданы после падения династии Сасанидов, свидетельствуют о применении в этом деле тех же форм,

композиционных приемов, да и техники, что и в серебряном деле. Здесь впервые мы видим нашедшую себе такое широкое применение в мусульманском искусстве технику инкрустации металла в металл (здесь красная медь в желтоватой бронзе).

Наконец, особую группу в отношении техники и зависящих от техники стиля и декоровки составляют золотые предметы, литые или кованые, украшенные так называемою холодной эмалью, то-есть инкрустацией в перегородчатые гнезда самоцветных камней и цветного стекла. Техника эта хорошо известна и широко применялась в Древнем Востоке, была распространена в Риме, излюблена в эпоху великого переселения народов и в раннем средневековьи, при чем любопытно, что до сих пор все многочисленные изделия в этой технике, в изобилии находимые на юге России, огулом приписывались готскому производству, вероятно в силу того соображения, что должны же были готы оставить нам свои украшения; один только меч Хильдериха, украшенный в этой технике, едва ли дает основания для такого приурочения. Висбаденский ковчежец с пехлевийской надписью эпиграфическим шрифтом (имя «Арташир»), выполненный в этой технике, и близкая по технике упомянутая уже великолепная чаша Хосроя Ануширвана ясно говорят, что там, где подобные вещи бывают находимы в обстановке, пропитанной иранизмом, надлежало бы при определении происхождения этих вещей вспомнить о мастерах Ирана.

Говоря об изделиях из металла, нельзя не вспомнить еще одной отрасли прикладного искусства сасанидской Персии — монетного дела, временами достигавшего высокой степени совершенства, хорошо известного нам на всем протяжении жизни сасанидской империи. Упоминавшиеся уже портреты царей на аверсе, жертвенник огня и его почетная стража на реверсе — почти обязательные и неизбежные рамки, в которых развивалось это искусство. Государственное и даже мировое значение этих монет обусловливало естественным образом их связь с монументальным искусством, и понятно, почему эти маленькие тонко сработанные произведения персидских мастеров так близки по настроению, особенно на реверсах, к монументальным рельефам, почему монументальность так сильно ощущается в этих миниатюрных фигурках.

С металлом и с металлической техникой, как это ни странно, приходится связывать ту отрасль прикладного искусства, которая нам известна менее всего, — керамическое производство. То немногое, что дошло до нас, — украшения глиняных оссуариев, отдельные терракотовые фигурки, изображающие сидящих царей, цариц и богинь, традиционных львов, формочки для изготовления этих фигурок, сохранивших прекрасно весь облик сасанидских царей и вельмож, — найдено в Средней Азии. Все эти вещи, а особенно, прилепы оссуариев или, например, терракотовый медальон Эрмитажа действительно так близко стоят по отделке деталей, по характеру рельефа, хочется сказать — технике, к сасанидской торевтике, что можно уверенно говорить о внутренней связи в развитии этих отраслей прикладного искусства, так же как и штуковой декоровки с изображениями животных, прекрасные образцы которой происходят из Ктесифона.

VI

В более трудном положении мы оказываемся, когда обращаемся к сасанидским тканям, так как здесь мы располагаем, повидимому, минимальным количеством непосредственно сохранившихся подлинно сасанидских произведений и в то же время являемся изумленными свидетелями того поразительного факта, что на протяжении многих столетий, истекших после



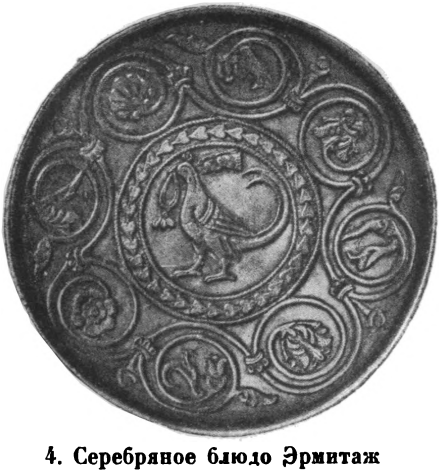
1. Серебряное блюдо. Эрмитаж
Диам. 20,3 см.



2. Серебряное блюдо. Эрмитаж
Диам. 22,8 см.



3. Серебряная ваза. Эрмитаж
Выс. 18,5 см.



4. Серебряное блюдо Эрмитаж
Диам. 20,2 см.



5. Медальон серебряного блюда. Эрмитаж
Диам. 16 см.

падения сасанидской монархии, сасанидские ткани и рабски им подражающие произведения других народов, и близких к Персии, и очень от нее далеких, наводняют все уголки культурного мира от Кавказа до Новгорода, от Ирана до Египта, Италии, Франции, Испании, от западной Европы до Индии, Китайского Туркестана, Китая и Японии.

Это естественно. Мусульманское и восточно-христианское искусство и художественная техника, выросшие на сасанидских корнях, в течение долгого времени продолжали следовать образцам, унаследованным от искусства разгромленной исламом империи. Те ткани, которые в громадном количестве распространялись и путем торговых сношений Запада, Византии, Руси с мусульманским миром, с Кавказом, и те «сарацинские» ткани, которые вывозились возвращавшимися на родину крестоносцами, находя себе непосредственное применение в местах ввоза, не могли не оказывать сильнейшего влияния на местные производства и в силу своих художественных достоинств, и в виду высокой материальной ценности действительно привезенных с Востока образцов.

Последнее обстоятельство естественно должно было вызвать сначала подделку, а затем и организацию своего широкого производства по заданному и излюбленному образцу, а затем — продукты этого производства, например Палермо и Лукки, нашли себе применение на том же Востоке, то-есть произошло то же, что было с восточным стеклянным, фаянсовым и металлическим производством, в значительной мере парализованным конкурирующими в тех же областях мастерскими Венеции. На наших глазах то же было и у нас, когда Москва поставляла «настоящие» персидские и турецкие ткани, керамику и стекло на восточные рынки и во многих местах задушила местное производство.

Вследствие всего этого, при изучении сасанидских тканей необходимо привлекать в качестве одного из источников и эти подражания, и старые подделки, как западные, так и восточные, и не только мусульманские, но и китайские и японские; во многих случаях здесь нам сохранены те сюжеты и детали, которые не сохранились в подлинных сасанидских произведениях, но несомненно от них идут, при чем, конечно, наиболее для нас ценны произведения ближайших продолжателей сасанидского искусства, хотя бы претворенного, мастеров мусульманских, армянских, византийских.

Особенностью всех этих тканей, объединяющей их, являются последовательность и единство композиции и выбор сюжетов, чаще всего — сочетание изображений зверей и птиц в растительной обстановке, по сторонам ли дерева или пышного цветка, или в завитках побегов, или, наконец, в излюбленных ромбах и кругах, нормальном обрамлении сасанидских чудовищ; объединяет их и заполнительный орнамент.

Но, конечно, этого подражания в выборе сюжетов и композиционных приемов было бы недостаточно, если бы все эти ткани не носили на себе в большей или меньшей мере отражения силы и стремительности сасанидских зверей, если бы они не следовали каноническим образцам сасанидского искусства.

А для суждения о том, что они действительно следовали этим образцам, мы имеем материал как в древнейших подлинно сасанидских тканях, сохранившихся под сборным названием восточных и «коптских» тканей, так и в древнейших образцах мусульманских тканей с куфическими надписями, заведомо воспроизводящих сасанидские ткани, так и, что особенно ценно, в изображениях тканей на сасанидских памятниках.

Колоссальные рельефы на скалах, изображения на блюдах, миниатюрные фигурки на резных камнях сохранили нам воспроизведения тканей, из которых были сшиты одеяния царей, их приближенных, воинов и слуг,

и тех тканей, которые служили покрывалами на их ложах. Здесь мы видим все те же сюжеты в тех же традиционных обрамлениях, с тем же характерным заполнительным орнаментом в виде веночков, разнообразных розеток с характерными сердцевидными лепестками и миндалевидными листьями, при чем особенно замечательно то, что, изображая рисунок на ткани, высекая его на скале, сасанидские мастера как бы облегчали нашу задачу, подчеркивая зависимость тканого орнамента от резьбы, от чекана по металлу; рельефное шитье, изображенное на скале, если его рассматривать по фотографии, трудно отличить от фотографии чекана по серебру. Нельзя не признать знаменательным тот факт, что типичный сасанидский зверь в круглом обрамлении, изображенный на великолепном кувшине Эрмитажа (тбл. VIII) и на чаше того же собрания, в тех же формах представлен на шелковой ткани Кенсингтонского музея, на ткани царского одеяния на рельефе в Так-и-Бостане и на фресковом воспроизведении ткани в церкви Тиграна Хоненца в Ани; того же зверя в ромбическом обрамлении мы находим на кувшинчике Эрмитажа и на «коптской» ткани.

Когда мы видим воспроизведение сасанидской ткани со зверями на расписной статуе Будды в Восточном Туркестане, изображение сасанидской ткани с птицами в кругах в росписях буддийских пещер, когда мы видим ближайше связанный с этим рисунок с заключенными в кружки птичками на изображении царской парчи армянских рельефов Ахтамара, в миниатюрах киликийского армянского евангелия, в изображениях облачения византийских императоров, в облачении святого князя на русской иконе и т. д., то мы действительно являемся свидетелями поразительно широкого распространения в культурном мире сасанидских тканей. А ведь ткани всегда и везде являлись наиболее подвижными и деятельными распространителями орнамента, форм и композиций.

Но не только ткани зависели от металлических изделий и повторяли знакомые нам по металлу и камню сюжеты.

Еще более интересны те случаи, когда мы можем наблюдать обратное явление: влияние техники ткани и зависящей от этой техники композиции на нетканные картины. Совершенно ясно, что ткань, иногда украшенная рисунком затканным, а иногда — вышитым, влияла на художника, ограничивая его в композиции непременным условием сохранения внешней связи между отдельными частями картины, для предохранения ткани от разрыва, особенно в тех случаях, когда вышивка, сложная и тяжелая (материально, не в смысле рисунка) выполнялась по тонкой ткани или даже по кисее. В таких случаях заполнительный орнамент, безразлично — растительный или животный, должен был располагаться так, чтобы отдельные материально тяжелые части композиции были по возможности связаны между собою вышивкою же; именно такой случай мы имеем, например, в поздней, сравнительно (но не позднее XIII века), кисее с вышивкой из Ани, где вышиты несомненно происходящие из сасанидского круга тигр и лев и где нижняя часть ствола и корни дерева, излюбленного фона сасанидских композиций, прекрасно использованы для установления связи между лапами тигра.

Если взглянуть на одно из блюд Эрмитажа (табл. VII, 1), то всякому станет ясно, что такая загроможденная композиция могла быть создана только под давлением технических требований работы по ткани, так как в других случаях мы видим, как блестяще умели сасанидские мастера разрешать задачу заполнения пространства, не прибегая к утомительным и ненужным привходящим деталям; достаточно вспомнить чудовищного зверя, парящего на одном из блюд Эрмитажа, или раздирающего лань льва на другом блюде Эрмитажа (табл. VII, 5).



Серебряный кувшин с крышкой. Эрмитаж
Выс. 33 см.

VII

Наш беглый обзор памятников сасанидского искусства был бы еще менее полон, если бы мы не коснулись той его отрасли, которая главным образом привлекала к себе внимание почти исключительно эпиграфистов, стремившихся разобрать находящиеся на произведениях глиптики надписи, но не интересовавшихся изображениями на сасанидских резных камнях. Здесь впервые нам придется констатировать резкий упадок, ясный для всякого, кто пробовал сравнить сасанидские резные камни, за единичными исключениями, с произведениями античной и древне-восточной глиптики. Но не надо забывать, что тот период, когда развивалась в сасанидской Персии глиптика, — период полного упадка этого искусства вообще, и тем большую ценность приобретают некоторые, действительно высокие образцы резных камней, дошедшие до нас от времени Шапуров и Варахранов.

Сасанидские камеи — исключительно редкое явление, и среди них первое место бесспорно занимает вправленный в дно хранящейся в Национальной библиотеке в Париже золотой чаши с инкрустациями, по преданию присланной Гарун-ар-Рашидом в дар Карлу Великому, великолепный горный хрусталь с изображением сидящего на троне Хосроя I Ануширвана. Не менее прекрасна хранящаяся там же камея со сценой победы Шапура I выполненная вполне в стиле западных изделий.

Инталий сохранилось много.

Резные камни в сасанидском быту должны были быть очень распространены, печати имели там самое широкое применение и в быту государственном, на официальных грамотах, скреплявшихся царской печатью с изображением кабана, и на письмах и посланиях частных лиц, и в домашнем быту, как гарантия неприкосновенности помещения. Литературных свидетельств о различных применениях печати в сасанидском быту сохранилось очень много, но едва ли не самым характерным является рассказ Фирдауси о том, как верный царедворец Арташира Папакана, чтобы дать своему повелителю доказательство того, что он не коснется нашедшей в его доме приют осужденной царем на смерть царицы, носившей в себе будущего царя Шапура I, зверски изуродовал себя и, положив в ларец то, чего он лишил себя, опечатал ларец своей печатью и передал его на хранение в царскую сокровищницу.

На сасанидских резных камнях, в соответствии с разнообразием их назначения, мы видим изображенными совершенно разнородные сюжеты. Наиболее технически совершенны и, как датирующие вехи, наиболее для нас ценны те, на которых мы видим портреты царей, цариц, вельмож, повидимому владельцев печати или их покровителей. Портреты эти в некоторых случаях, как великолепные аметисты Британского Музея и Эрмитажа с изображением, кажется, Варахрана IV, действительно, прекрасны и носят несомненные признаки портретного сходства, так же, как хранящийся в Эрмитаже Строгановский аметист с изображением царицы Динак. Изображения эти детально разработаны и по глубине резьбы и совершенству техники могут быть признаны действительно превосходными.

Почетное место в ряду этих камней занимает единственный в своем роде большой халцедон Эрмитажа, никогда, впрочем, не служивший печатью, с пространной пехлевийской надписью, представляющей палимпсест: поверх искусственно стертой надписи эпиграфическим шрифтом вырезана другая, обычными для монет и резных камней буквами.

Более распространены камни с изображениями зверей, реальных и фантастических, хорошо нам знакомых по торевтике и тканям чудовищ,

а также особого подбора реальных и фантастических животных и птиц, быков с человеческой головой, крылатых быков, оленей, зебу, крылатых коней, царственных птиц и баранов с повязками, скорпионов, птиц, несущих в клюве цветок или скорпиона, и наконец с изображениями переплетенных сочетаний разрозненных частей животных, как, например, свастика из четырех голов.

Этот своеобразный подбор сюжетов, во многих случаях несомненно стоящий в связи отчасти с религиозными, отчасти с магическими представлениями, являясь отражением наиболее интимной стороны жизни древних персов и культурно с ними связанных народов, полон особого интереса, и широкий диапазон степени технического совершенства этих изделий, от высоких до самых примитивных и грубых, не дающих возможности даже определить сюжет, еще более подчеркивает близость этих вещей к повседневной жизни.

VIII

Если еще более расширить круг материала и попытаться в результате глубокого изучения (задача будущих дней) разобрать с точки зрения историко-художественной и историко-культурной вообще, не упуская ни одной мелочи, ни одной бытовой черты, все наследие сасанидского искусства, от жалкого сердолика с нацарапанным скорпионом до великолепного царя Нарсе, получающего инвеституру от богини Анахиты, то станет ясно, какую действительно яркую картину жизни средневековой Персии мы бы получили, осветив колоссальные рельефы на скалах и четкий, но нежный чекан на блюдах и вазах от них получающим яркость светом письменных свидетельств, будут ли то ромейский или армянский историк, описывающий современные ему события, арабский географ или историк, излагающий факты недавно минувшего прошлого, или великий персидский поэт, проникнутый духом древней Персии, в своем гениальном творении открывший ему ведомые тайны.

А если бы суметь собрать в один фокус разрозненные лучи, исходящие от многих бытовых пережитков седой старины, по сей день живущих в древнем Иране, в горах Армении и Курдистана, не боясь сравнивать церемониал, принятый в доме захудалого курдского бека, с церемониалом двора блистательного Хосроя Ануширвана, так как и это нам может открыть глаза на многое, — тогда, может быть, была бы разрешена трудная задача изучения сасанидского мира так, как ее начал решать, умел и мог решить впервые на широкую и строго научную почву поставивший исследование сасанидского серебра академик Яков Иванович Смирнов.

22 ноября 1923 г.

Иосиф Орбели



1. Серебряная чаша. Эрмитаж
Длина 29,2 см.



2. Бронзовый кувшин. Эрмитаж
Выс. 39 см.



3. Бронзовый кувшин. Эрмитаж
Выс. 42 см.

СТРАНСТВОВАНИЕ СКАЗКИ

Голос из-за могилы говорит нам о том, что Индия дала Западу, послав ему свои сказки. Все еще не разрешенный вопрос о странствовании сказки нашел себе после знаменитого немецкого исследователя Бенфея, книга которого об индийском сборнике рассказов Панчатантра составила эпоху в истории изучения сказки, поборника в лице Э. Коскена, известного как яркого представителя так называемой индийской теории; собрания его монографий вышли недавно, после его смерти во время великой войны.

Уже пятьдесят лет тому назад [1]) Коскен встал всецело на сторону Бенфея, считая, что мир обязан Индии своими сказками и повестями. Этой идее он остался верен всю жизнь, как это видно из напечатанного с богатыми примечаниями сборника сказок и из двух вышедших после его смерти больших сборников статей [2]). В какой же мере справедливо это утверждение и в какой мере правильны приемы исследования, к которым прибегает Коскен и последователи индийской теории?

Мы знаем действительно, что через посредство персов и арабов средневековая Европа познакомилась с индийскими сборниками рассказов, что легенда о Будде вошла в обиход того же средневекового Запада, как житие святого царевича Иосафа, пройдя, по всей вероятности, через манихейские круги. Гораздо позже, уже в XVIII веке арабский сборник 1001 ночи, восходящий к персидскому и, может быть затем и к индийскому источнику, пользовался и пользуется громадной популярностью в Европе; мы видим, наконец, что целый ряд рассказов, повестей, сказок, пленявших Запад в средние века и позже, находит себе, несомненно, индийские параллели. Все это факты несомненные, вполне паукою установленные. И столь же несомненно установлен факт давних и долгих сношений Индии с Западом и вообще с соседними странами. И опять также несомненен факт, что с очень ранних пор развивалась в Индии повествовательная литература и получила здесь широкое распространение, достигнув высокой степени совершенства. Дает ли все это нам право утверждать, что родиною сказки является Индия?

---

[1]) *E. Cosquin.* Les contes populaires européens et leur origine. Paris 1873. Extrait du Correspondant.

[2]) *Его же.* Contes populaires de Lorraine comparés avec les contes des autres provinces de la France et des pays étrangers et précédés d'un essai sur l'origine et la propagation des contes populaires européens. Paris 1886.

Его же. Etudes folkloriques. Recherches sur les migrations des contes populaires et leur point de départ. Paris 1922.

Его же. Les contes indiens et l'Occident. Petites monographies folkloriques à propos de contes maures recueillis à Blida par M. Desparmet. Ouvrage posthume. Paris 1922.

Прежде всего, во избежание всяких недоразумений, мы должны сделать несколько предварительных замечаний общего характера. Под определенною сказкою или рассказом мы разумеем определенное сочетание мотивов, рассказочных единиц, так что определенный рассказ мы можем изобразить формулою $a+b+c+d$ и т. д., при чем каждая такая совокупность носит обыкновенно общепринятое название: «Золушка», «Иван царевич и серый волк», «Конек Горбунок», «Семь Симеонов», «Красная шапочка» и т. д. При этом непременно бывают известные отступления в отдельных мотивах, и формула становится напр: $a+b_1+c_1+d_1$ и т. д.; или же являются новые мотивы: $a+f+c+k+d$ и т. д. Если число отступлений не слишком велико и не указывает на принадлежность рассказа к другой теме, то мы в праве считать, что имеем дело только с вариантом одной и той же темы.

Каждая сказка должна считаться произведением того, кто ее пересказал, ибо каждый пересказчик и выбором самой темы, и способом ее изложения совершает творческий акт, вносит свой субъективный элемент; старое представление о каком-то массовом народном творчестве должно быть отброшено.

Необходимо иметь в виду, что далеко не все страны исследованы с точки зрения сказок, при чем для некоторых стран это еще дело поправимое, ибо народная сказка в них еще не вымерла, но для целого ряда других стран уже ничего сделать нельзя, и потому при вопросе о странствовании сказки и ее происхождении мы должны считаться с громадными пробелами, которые позволяют многое решать только гадательно и предположительно. Если при этом принять во внимание, что, в подавляющем большинстве, записи сказок сделаны не научно, при немногих только имеются необходимые сведения о рассказчиках, что, кроме того, старая книжная литература печатная и рукописная по отношению к сказкам и рассказам исследована далеко не полно, то ясно, как осторожно мы должны пока делать выводы.

Посмотрим теперь, на чем же строится «индийская» теория. Она берет определенные сказочные темы и указывает, что громадное большинство этих тем встречается и в Индии; раз это так, раз ни одна страна не может выставить такого громадного количества «международных» сказочных тем, как Индия, то надо считать ее родоначальницей сказок, источником, из которого они растеклись по всему свету.

Камнем преткновения такому категорическому утверждению является наличность сказок в древнем Египте, в такое время, когда невозможно предположить заимствования из Индии в Египет. Отрицать наличность сказочных мотивов и даже тем, близких к сказочным, в древнем Египте нельзя, но тогда разрушается основная постановка вопроса «индийскою» теориею, которая хочет вести «все» сказки из Индии. Приходится рассмотреть вопрос под другим углом зрения, и тогда индийская теория уже не вызовет такого резкого возражения.

Если поставить вопрос так, что источник весьма многих сказок следует искать в Индии, то против такой постановки вряд ли встретятся возражения. Мы уже видели, как велико количество тех сказок, относительно которых мы имеем прямые указания на то, что они пришли на Запад из Индии. Относительно целого ряда других сказок, мало еще пока исследованных, мы тоже имеем право предположить, что и они проникли из Индии на Запад и в средние века, и может быть даже еще раньше, и несомненно в более позднее время. Но здесь надо в исследовании итти крайне осторожно; мы видим, к сожалению, что последователи индийской теории зачастую забывают, что дело, как указывалось уже и выше, именно должно итти о сказках, о сказочных темах, т. е. более или менее сложных сочетаниях сказочных эпизодов, мотивов, а не об отдельных мотивах, которые совершенно независимо могут возникать в разных странах, повторяясь, вне всякого внешнего влияния. Таков, напр., мотив преследования падчерицы мачехою, говорящие животные, волшебные предметы, обладающие разными чудесными свойствами, воскрешение умерших при помощи разного рода чудес, и т. д.

У горячих последователей индийской теории, как напр. у Коскена, сплошь и рядом проскальзывает сопоставление мотивов, связанных между собою только

внешне и в сущности ничего между собою не имеющих. Правда, делается это обыкновенно с оговорками, но тем не менее сопоставление делается и у менее осторожного читателя вызывает впечатление доказательства связи между двумя совершенно чуждыми темами. Так, напр., Коскен упоминает рядом, хотя и с оговорками, потерю башмака индийского царевича в индийской сказке с потерею туфли Золушкою, хотя обстоятельства, при которых происходит потеря ничего общего между собою не имеют. Есть и еще один крупный недостаток в исследованиях представителей индийской теории,—это недостаточная выясненность того, какими путями шло и могло итти заимствование одним народом сказок другого в те или иные периоды истории. Это вообще упрек, который зачастую приходится делать исследователям истории литературы. Не выяснены достаточно не только периоды или пути заимствования, но не ясно и то, кто же собственно были передатчики. Правда, мы слышим постоянно повторяемое указание на торговлю и купцов, но для всякого, кто видел в действительности, напр., восточнаго купца, разъезжающего по разным странам продавать свои товары, подобного рода предположение вызовет к себе самое отрицательное отношение, ибо совершенно невероятно, чтобы такой купец унизил себя в своих глазах до того, чтобы рассказывать сказки! У взрослых людей на Востоке вообще трудно выпытать сказку, если только тот, к кому вы обращаетесь, не рассказчик по профессии; вы услышите резкое отрицание, зачастую вообще отрицание наличности сказок, хотя несомненно, что данное лицо слышало сказки, во всяком случае в детстве, а может быть и потом. Кто же передавал сказки? При современном состоянии исследования сказок на этот вопрос исчерпывающе ответить нельзя, но два класса людей уже сразу ярко выделяются: солдаты и моряки, и те и другие люди бывалые и люди странствовавшие и странствующие не мало. Некоторые исследования, которые мы имеем о сказателях сказок, позволяют нам в известной мере установить типы солдатских и морских сказок, и по этим современным типам мы имеем право заключать и о прежних рассказчиках-передатчиках. Профессиональные рассказчики, столь много сделавшие и делающие для сохранения сказки, чрезвычайно мало сделали для ее распространения. Оно и понятно: профессионал рассказчик обладает обыкновенно специфически национальными чертами, которые делают его любимцем слушателей дома, там, где есть цепители и его манеры рассказывать, и его языка, и отдельных, чисто местных выражений и черт; в чужой стороне их никто не оценит, и профессиональный рассказчик никогда далеко не идет. Такие местные профессионалы существовали, на Востоке по крайней мере, очень давно и принадлежали, в области, напр., благочестивых рассказов, к разным духовным общинам. Так, в старых буддийских сочинениях мы встречаем термин «старец, рассказчик джатак (т. е. рассказов о перерождениях Будды). Такой старец, повидимому, принадлежал своему монастырю и редко странствовал. Мы точно так же знаем, что другие плодовитые рассказчики в Индии—джайны, последователи учения, возникшего раньше буддизма, за пределы Индии не выходили.

Мы видели таким образом, как нелегко пока знать точно и несомненно, кто и как передавал сказки от народа к народу, и в этом и заключается слабость исследований представителей индийской теории, что они не дают нам точных и определенных указаний, за невозможностью их дать при той постановке вопроса, которой держатся они.

Мы теперь подошли к выяснению того, как же должно совершаться исследование взаимоотношений отдельных стран в деле передачи и заимствования сказок для выяснения вопроса о том, где возникли сказки и как они странствовали и странствуют.

Прежде всего необходимо выяснить, какие сказки существуют в отдельных странах, какие темы в них особенно популярны, какие перешли в литературу, какие остались в устной передаче. К сожалению, приходится признать, что в настоящее время эту первую ступень исследования мы знаем еще крайне плохо; как уже было сказано выше, работа по собиранию сказок в громадном большинстве стран сделана неудовлетворительно, и подлежащий обработке материал далеко не всегда надежен. Кроме того, ни для одной страны не сделано еще даже попытки свести

воедино существующие материалы и подготовить их так, чтобы ими свободно мог пользоваться сравнительный исследователь. Нет еще общих характеристик сказок отдельных стран, указаний на местности, где особенно много, и притом хорошо рассказанных, сказок, нет еще и попыток определить, когда примерно в данной стране могла впервые появиться известная сказка. Как ни слабы в настоящее время наши знания по отношению к затронутым здесь вопросам, мы все же имеем некоторую возможность определить круг сказочных тем известных стран и, тщательно подбирая варианты, встречающиеся в тех или других местностях или странах, мы можем начать прослеживать движение отдельных сказочных тем. Этим методом, который принято называть историко-географическим и которым с особенным успехом пользовались финские ученые, мы начинаем достигать более или менее конкретных результатов, при чем мы далеко не всегда приходим в Индию, как к исходному пункту.

При пользовании историко-географическим методом систематически привлекается очень большой материал, и мы лишний раз убеждаемся, какое существенное и исключительное значение имеет использование массового материала. Только теперь мы можем начать выходить из круга неопределенных постановок вопросов, в общих, а не в строго конкретных формах, из круга, в котором зародилась и индийская теория происхождения сказки.

Мы убеждаемся из этих исследований над массовым материалом, что действительно есть страны, которые создают больше сказок, чем другие, и к этим странам, несомненно, принадлежит и принадлежала Индия. Мы видим, что были периоды в истории, когда, при усилении международных сношений вообще, особенно при войнах, на ряду с другими проявлениями культурной жизни и сказка начинала усиленно странствовать. К сожалению, далеко не всегда нам ясны эти исторические моменты усиления международного обмена, мы еще не умеем вскрывать с достаточной точностью и расчленять отдельные культурные элементы (слова, обычаи, идеи) духовные или материальные (предметы обихода, названия должностей и т. п.), которые упоминаются в передававшихся литературно или устно сказках. Мы не умеем еще настоящим образом понять язык наших источников, который, конечно, станет понятным нашим преемникам. Перед ними стоят заманчивые задачи, нам пока недоступные еще, при недостаточной точности наших методов работы: у нас хватает знаний, чтобы успешно критиковать применяемые ныне методы, и потому нетрудно было показать те ограничения, с которыми надо принимать индийскую теорию странствования сказки, но не хватает у нас еще знаний, чтобы работать с тою точностью, с которою работают наши товарищи естественники. Между тем, к несчастию, сейчас именно наблюдается сильное ослабление гуманитарных изучений; с удивительной близорукостью наши современники и на Западе, и у нас не хотят или не могут сознать, как важно именно изучение человека, которого мы знаем неизмеримо хуже, чем камни, растения, животных.

Боюсь, мало кто в наши дни почти повального увлечения техникой или естествознанием, сознает, что вопрос о странствовании сказки и о значении Индии в деле создания сказки и передачи ее на Запад не есть вопрос отвлеченного любопытства, а одно из тех звеньев, которые связывают народы, заставляют их лучше понимать друг друга, интересоваться взаимно жизнью и культурой и ведут к тому настоящему объединению, к которому без настоящего, научного, а не любительски обиходного понимания, человека нет путей.

Индийская теория происхождения сказки не выдержала конечного испытания, на ее место явилась другая теория, знающая и иные центры происхождения сказки, чем Индию, но индийская теория своею цельностью и определенностью несомненно помогла нам подойти ближе к правильному решению важного культурного вопроса.

Сергей Ольденбург

РАСКОПКИ В ФИВАХ

Нам уже приходилось говорить на страницах «Востока» о раскопках нью-йоркского музея изящных, искусств в Египте, — в тот раз мы останавливались на раскопках Лиштской пирамиды, производившихся Мэсом в сезон 1921 — 22 гг. Теперь я хочу сказать несколько слов о раскопках, ведшихся в то же самое время и той же самой экспедицией, в Фивах. Если работы в Лиште велись строго систематически, по определенному плану и в концентрированном месте, то того же самого нельзя сказать о работах близ Фив. Здесь раскопки велись более разбросанно, как по месту, так и по хронологическим слоям, но все же они дали богатый и интересный материал.

Главное внимание американской экспедиции привлекли в фиванском некрополе могильные храмы фараонов XI династии: Ментухотепов III и V, царствовавших в конце XX века до Р. Х., и гробницы, их окружающие. Исследователям приходилось, конечно, касаться и позднейших периодов, так как за недостатком места фиванцы часто принуждены были для устройства своих могил пользоваться древними гробницами. Отсюда то смешение эпох, которое мы постоянно видим в фиванском некрополе, и та несистематичность в работе, которая из этого проистекает. Уинлок в своем отчете о раскопках в Фивах (Part II of the Bulletin of the Metropolitan Museum. N. Y. Dec. 1922) часто перескакивает с одиннадцатой династии на восемнадцатую и с восемнадцатой на двадцатьпятую, чего, конечно, при разнообразии находимых памятников, невозможно было избежать.

Главные работы по очистке и раскопке храма Ментухотепа V были произведены уже в предшествующие годы, теперь же исследователям удалось довольно точно установить принадлежность этого могильного храма именно этому фараону одиннадцатой династии. Это оказалось возможным благодаря следующей счастливой находке. Высоко в горах, на половине дороги между этой неоконченной могилой, которая приписывалась раньше Ментухотепу V, и могилой Ментухотепа III в Дейр-эль-Бахри, на краю извилистой горной тропки находится скала, покрытая множеством имен и надписей, принадлежащих жрецам одиннадцатой и двенадцатой династий. Некоторые из них тут же указали место своей службы в храмах Ментухотепа III и V. Так как храм в Дейр-эль-Бахри несомненно принадлежал Ментухотепу III, то раскапываемый могильный храм, очевидно, должен был принадлежать Ментухотепу V. Пока это косвенное указание не будет опровергнуто, мы не имеем достаточных оснований его оспаривать.

Я уже говорил о близком чередовании в фиванском некрополе различных культурных слоев, — храм Ментухотепа V, фараона одиннадцатой династии, дает этому ряд реальных подтверждений. Здесь в течение двух лет был найден целый ряд погребальных колодцев, принадлежавших позднейшим поколениям.

Владелец одного из них нам известен, так как имя его сохранилось на обрывке ткани с его мумии. Это — один воин, служивший, очевидно, в войске Тутмоса Первого, который подарил ему кинжал, найденный в той же самой могиле. Тут же исследователи нашли его лук, обломки его кресла из черного дерева, украшенного слоновой костью, и его стол. Остальные вещи были либо похищены, либо разломаны грабителями.

В других погребальных колодцах, также относящихся к восемнадцатой династии, были найдены пучки фальшивых женских волос, заботливо завернутые в полотно, и образцы керамики в виде посуды и подставки для головы.

Главная часть работы американской экспедиции в Фивах сконцентрировалась в храме Ментухотепа III в Дейр-эль-Бахри. На эти работы была затрачена колоссальная энергия, так как здесь работало около 400 рабочих, но здесь же были найдены и самые любопытные памятники, которые вполне вознаградили все усилия американских ученых.

Храм Ментухотепа III построен на большой площадке, высеченной под громадной нависающей скалой. Благодаря раскопкам Картера в 1900 году, Навилля и Холла в 1903 — 1907 годах и, наконец, раскопкам американской экспедиции в 1920 — 1922 гг., весь план храма и гробницы фараона в главных чертах нам стал известен. К храму вела аллея, окруженная с двух сторон двумя параллельными стенами, от которых сохранились одни следы. Аллея оканчивалась просторным прямоугольным, почти квадратным, двором, также обнесенным каменной стеной, которая отчасти сохранилась. Недалеко от середины двора, в его северо-восточной части, находится громадная гробница, получившая у арабов название Баб-эль-Хасан. Продолжением первой аллеи внутри двора служила вторая аллея, обсаженная смоковницами и украшенная статуями фараона, ведшая непосредственно к дверям храма и к его главной колоннаде и затем уже к могиле фараона Ментухотепа III.

Раскопки американской экспедиции ограничились на этот раз подробным исследованием южной части большого предхрамного двора с целью найти гробницу, соответствующую Баб-эль-Хасану, и другие какие-либо могилы. Хотя это и не было найдено, работы были произведены не даром, так как при этом были открыты другие, весьма любопытные памятники. При раскопках были первым делом обнаружены остатки различных неоконченных и разломанных сооружений, которые указывают на то, что храм был построен не сразу и не по определенному плану, а что во время его постройки намерения его строителей несколько раз изменялись. Таких изменений плана Уинлок насчитывает три, пока, наконец, храм был построен в его окончательном виде.

Посредине двора, по направлению ко входу в храм был обнаружен двойной ряд, состоящий из двенадцати ям, каждая из них тридцати футов глубиной. В этих ямах были найдены корни и остатки смоковниц, статуи фараона и маленькие алтари близ них, — очевидно, это была грандиозная аллея из смоковниц, ведшая ко входу в храм. Близ южной линии смоковниц было найдено три параллельных ряда по семи ям в каждой с остатками в них тамарисковых деревьев, что наводит на мысль о существовании здесь в древности искусственно насажденного парка. Возможно, что в северной части двора будет найдено соответственно большее количество таких ям так как к северу от входа колоннада храма шире, что обнаружило бы симметричное нахождение близ храма двух парковых насаждений. Тут же был найден чрезвычайно любопытный памятник, указывающий на высоту архитектурного и топографического искусства древних египтян. Это обломки каменной плиты, изображающей план храма на котором аккуратными ровными линиями нанесены схематические очертания храма части двора и части тамарисковых и смоковничных аллей. Следующей интересной находкой была находка углового или краеугольного камня. Обычай торжественной закладки здания, в виде первого его камня, перешел к нам из глубокой древности. Мы находим его в Египте, где у каждого угла выстраиваемого здания клались особые основоположные угловые камни и около них целый ряд вотивных пред-

метов. На этот раз в храме Ментухотепа III было найдено в одном углу храма четыре кирпича, из которых три заключали в себе инкрустированные таблички из дерева алебастра и бронзы. Таким образом, четыре материала: кирпич, дерево, алебастр и бронза—символизировали те четыре строительных материала, из которых был построен этот храм. Такой же угловой камень был найден и в Дейр-эль-Бахрийском храме Хатшепсут, но там около него оказались другие предметы: кроме обычных жертв здесь были найдены перепелка, несколько фиг и лоток из фиговых веток, наполненный пучками сельдерея, а вместо четырех символических кирпичей — набор строительных инструментов, состоящий из топора, тесла, колотушки, двух родов долот, плавильника, формы для кирпичей, деревянной кирки и камышевой корзинки для песка.

Наконец, в храме Ментухотепа III было найдено еще несколько любопытных памятников; остатки подлинных строительных материалов и строительных инструментов того времени — сорок громадных веревочных корзин, наполненных осколками камня, и мотовило с намотанной на него веревкой.

Около храма, принадлежавшего Ментухотепу III, помещалось небольшое кладбище знатных фиванцев, может быть, всего лишь одного семейства, относящееся уже к концу двенадцатой династии. Владельцы этих могил происходили из высшего жречества и чиновничества Фив: «Хранитель Царской Печати», «Начальник пророков Карнака», «Главный пророк» — вот те титулы, которыми они украшали свои имена в местах своего вечного успокоения. От этих могил сохранились часовни из кирпича, в стены которых иногда были вделаны раскрашенные алтари из известняка, предназначавшиеся для статуй хозяина и его жены. Тут же были найдены деревянные и надгробные стэлы, очевидно, обычные древне-египетские вотивные плиты с изображением покойного перед столом жертвенных приношений. А оказавшиеся здесь определенного вида черные прямоугольные саркофаги благодаря другим указаниям теперь вполне точно датируются концом двенадцатой династии.

К концу восемнадцатой династи, как известно, Дейр-Эль-Бахри стал одним из центральных пунктов культа богини Хатор, и в храме Ментухотепа III был построен алтарь, в котором помещалось то священное изображение божественной коровы, которое было найдено Навиллем. Эта святыня пользовалась большой популярностью у набожных фиванцев, которые толпами стекались сюда, принося богине свои жертвы и дары. Они заключались обычно в нитках бус или в голубых фаянсовых тарелках с фруктами и цветами, которые возлагались молящимися к подножию высокочтимого кумира. Время от времени жрецы богини Хатор очищали храм от накопившихся в нем даров и выбрасывали малоценные предметы за ограду храма, где их нашел теперь заступ современного исследователя.

Прошла еще длинная вереница столетий, и большая песчаная дюна покрыла теперь разрушенную стену на южной стороне двора храма Ментухотепа III. Здесь в эпоху двенадцатой династии фиванская беднота, говоря современным языком — пролетариат, одного из крупнейших торговых центров древнего Египта устроил кладбище для своих покойников. Недостаток средств не позволял бедному люду устраивать себе дорогих погребений; здесь редко найдешь хотя бы грубый саркофаг, обычно же покойника просто напросто заворачивали в старые тряпки, перевязывали его тело пальмовыми ветками, а ноги и руки кроме того связывали вместе отдельно под этой скудной погребальной одеждой. Эти нищенские погребения фиванских бедняков позднего времени живо напоминают нам современные погребения недалеко ушедших от них феллахов и египетских арабов, наследовавших их землю и отчасти их культуру. Никаких приношений, никаких жертв и памятников не находим мы здесь, только изредка гирлянды листьев и корзины с бусами.

Одна могила одиннадцатой династии, раскопанная американцами и принадлежащая к серии могил, уже описанных выше, была приспособлена для зажиточных людей двадцать пятой династии. Во дворе этой могилы была построена кирпичная часовенка, у входа в которую было посажено пальмовое дерево. В самой же могиле и в маленьких комнатах близ нее были найдены антропоидные саркофаги и четыре

деревянные стэлы семьи жрецов и жриц Аммона. На одной стороне этих стэл изображен Анубис, ведущий душу покойного к восседающему на престоле Гармахису, а на другой богиня Нейт, исходящая из дерева и утоляющая двумя длинными струями влаги жажду покойных, сидящих по обе ее стороны на креслах. Вот те разнообразные памятники, относящиеся к разным периодам египетской истории, которые были найдены у южной стороны двора храма Ментухотепа III в Дейр-Эл-Бахри.

Не менее интересные памятники были найдены и к северу от этих мест, также вблизи этого храма.

Здесь придворные эпохи одиннадцатой династии, строго соблюдая установленную табель рангов, расположили свои гробницы. Под высокими нависающими скалами каждый из них вырубал себе просторную площадку, а там, где камень был недостаточно прочным, делал кирпичный фасад с дверью посередине. Гробница начиналась коридором, высеченным в скале и ведущим к квадратной комнате, в которой находилась стэла или статуя покойного. А под полом этой комнаты был скрыт потайной ход, ведший в комнату с саркофагом. Но, несмотря на эти предосторожности, почти все могилы были разграблены. Вполне типичной для этого разряда могил является могила некоего Ипи. Вокруг нее расположился целый ряд могил членов его семьи, его челяди и домочадцев. В этих могилах были найдены интересные памятники, дающие представление об искусстве бальзамирования покойников и приготовлении мумий в древнем Египте. Вся эта процедура производилась, как теперь ясно обнаружилось, в особой комнате недалеко от погребального покоя, в которой и были найдены кувшины с различными составами, горшки с солью и с тряпками и, наконец, деревянная платформа с четырьмя перекладинами, на которой происходил, очевидно, самый процесс бальзамирования, таинственный смысл которого потерян в глубине веков. О несомненно магическом характере этого ритуала свидетельствуют деревянные изображения символа жизни, помещенные на углах платформы, маленькая восковая мумия в особом саркофаге и любопытные магические заклинания, начертанные на деревянных гвоздях и скрепах этого саркофага.

«Пусть будут соединены твои кости на Великом Кладбище Гором, обнимающим тебя» — гласит одно из них; в другом же говорится о том, чтобы дети Гора закутали покойного в нетленные полотна. Такие же магические заклинания писались часто на коже руки или на полотнах мумии. Иногда горло, локти, запястья и лодыжки мумии перевязывались веревкой, которая снабжалась магическим числом узлов (7, 14, 21). Наконец, в одной могиле были найдены листья одной чудодейственной травы, веником из которой жрец обметал погребальную комнату, изгоняя этим оттуда следы злых духов.

В этих могилах были найдены любопытнейшие папирусы, которые нам дают богатейший материал для суждения об экономическом состоянии Египта в эпоху раннего Среднего царства и рисуют яркую картину семейной жизни того времени. Описание этих папирусов выходит за пределы настоящей заметки и могло бы послужить предметом особой статьи.

В. Авдиев

ШЕЙХ АБУ НАДДАРА

ОСНОВАТЕЛЬ АРАБСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ В ЕГИПТЕ (1839 — 1912)

В современной арабской литературе, про которую так мало знают не только обыкновенные читатели, но и специалисты, можно заметить целый ряд явлений, невольно заставляющих вспомнить эпоху ее расцвета в IX — X веке. Одним из таких фактов приходится считать участие в ее развитии не только арабов по национальности или мусульман по религии. Втянутыми в это течение оказываются даже европейцы: достаточно назвать обарабившуюся семью Корнелия Ван-Дейка, которому поставлен в Бейруте за его полувековую общественно-литературную деятельность памятник, или италианца Мансура Карлетти, многолетнего редактора одной арабской газеты в Тунисе. Персы и турки, копты и берберы принимают живое участие в возрождении арабской литературы XIX века; нации, даже далеко стоящие от арабов, выдвигают отдельных представителей. Армяне могут указать двух братьев Абкариус или Артына Пашу; курды по справедливости должны гордиться борцом за женское равноправие Касимом Амином или основателем одного из лучших научно-литературных арабских журналов Мухаммедом Курд Али, нынешним президентом дамасской Академии.

Реже, чем в IX — X веке, встречаем мы в этой пестрой, объединенной арабским языком массе евреев. Объяснение этому, быть может, дает с одной стороны сильное сионистское течение, с другой — ассимиляционное воздействие запада, который заставляет восточных евреев забывать про своих собратьев по крови, хотя общение с ними создавало когда-то эпохи, выдвигавшие еврея — еврейского поэта Иегуду Галеви и еврея — арабского поэта Ибрахима ибн Сахля. Все же иногда и теперь на арене общественной и литературной жизни арабского востока мы видим евреев, оставляющих заметный след именно в арабской письменности. Примером этого может служить лицо, названное в заголовке; пользуясь случаем, я хочу вспомнить близкую 85-летнюю годовщину со дня рождения этого деятеля, имя которого едва ли не впервые появляется на страницах европейского издания.

Шейх Абу Наддара — «Старшина в очках» — прозвище, утвердившееся почти с начала литературной деятельности за Якубом сыном Рафаила Санну́ (James Sanua). Родился он в семье каирских евреев 9 февраля 1839 года и получил обычное для детей этого полу-арабского, полу-международного города первоначальное образование: с одной стороны, традиционно-еврейское, с другой — интернационально-арабское, сводившееся главным образом к практическому знакомству с новыми языками. Отец его был доверенным лицом у паши Ахмеда Йекуна, внука основателя хедивской династии Мухаммеда Али; паша рано заметил способности мальчика и дал ему возможность продолжить образование в Италии, в Ливорно, где он пробыл три года, занимаясь попрежнему, главным образом, изучением языков и литератур.

По возвращении в Египет Санну не застал уже в живых ни своего отца, ни покровителя; для него началась серенькая жизнь учителя новых языков, и только старые связи отца помогали ему находить хорошие уроки среди представителей хедивской фамилии.

Второй период его жизни совпал со временем хедива Исмаила (1863 — 1879), первая половина правления которого до наступления финансового кризиса открывала, казалось, блестящие перспективы для дальнейшего развития Египта. Прорытие Суэцкого канала (1869), признание Турцией автономии Египта (1873), подчинение стран к югу почти до экватора (1874) — все это вызывало подъем экономической и общественной жизни, отражавшийся в самых разнообразных сферах. К открытию Суэцкого канала хедив приурочил, между прочим, открытие оперного театра в Каире, где впервые была поставлена специально для этого написанная «Аида» Верди. При поддержке хедива, знавшего его лично, Якуб Санну пробует свои силы на драматическом поприще. В 1870-м году он устраивает в Каире первый арабский театр, для которого сам пишет пьесы, обнаруживая необычайную производительность: в короткое время он сочиняет 32 комедии, начиная с одно-актных и кончая пяти-актными, за что и получает от хедива немного комично звучащий в наших ушах титул «Мольера Египта».

В эту эпоху театр не был уже, строго говоря, новинкой для арабского востока. Первая серьезная попытка создания драмы на арабском языке была сделана еще в 40-х годах в Бейруте Маруном Наккашем; с его смертью, однако, предприятие заглохло и было возобновлено племянником покойного в Александрии только около 1874 года. Таким образом, для Египта театр Санну был все же первой ласточкой. Он сам, однако, не удовлетворяется этой деятельностью, основывает два небольших, научных общества, а в 1874-м году едет вторично в Европу. По возвращении оттуда он окончательно примыкает к кружку знаменитого Джемаль-ед-дина Афганского, с которым был знаком еще до поездки; выдающаяся личность последнего дает другой поворот всей его дальнейшей деятельности.

Фигура Джемаль-ед-дина (1838-1897) представляет несомненно одно из наиболее интересных явлений мусульманского мира во второй половине XIX века. Обыкновенно его считают основателем так называемого пан-исламизма, представление о котором достаточно расплывчато в умах европейских публицистов. Целью своею Джемаль-ед-дин ставил, повидимому, освобождение мусульманского мира от европейского влияния и объединение его в одно целое на почве мусульманства с выборными учреждениями в национально-автономных единицах. Роль его в освободительном движении Персии, развившемся с большей силой уже после его смерти, вскрыта за последние годы с достаточной ясностью.

Не с такой отчетливостью вырисовывается перед нами его деятельность в Египте, где он пробыл с 1871 по 1879 год. Не без его влияния проходило, повидимому, национальное движение во второй половине правления Исмаила, закончившееся восстанием Араби паши и оккупацией Египта англичанами. Несомненно, что его домашние лекции и беседы оформили то модернистское течение в исламе, которое впоследствии изложил в более или менее стройной системе его выдающийся ученик и друг, муфтий Египта Мухаммед Абдо (1842 — 1905). Разнообразие элементов, подпадавших под влияние его личности, показывает, однако, что ограничивать его деятельность рамками панисламистской пропаганды было бы слишком узко. Несмотря на крайне слабую литературную продуктивность, влияние Джемаль-ед-дина отразилось несомненно в самых разнообразных областях арабской литературы, при этом далеко не у одних мусульман, но и у христиан. Следы такого влияния можно было бы заметить в творчестве дамасского поэта конца прошлого века Селима Анхури-неизгладимый отпечаток общение с ним наложило на всю идеологию молодого публициста Адиба Исхака (1856 — 1885), одного из законодателей арабского газетного стиля, нервный слог которого так мало напоминает уравновешенного Мухаммеда Абдо.

Якуб Санну не мог не подчиниться обаянию личности Джемаль-ед-дина и его младшего друга Мухаммеда Абдо, знакомство с которыми завязалось у него на почве уроков французского языка. Он не представлял, конечно, такой оригинальной индивидуальности, как большинство перечисленных членов кружка Джемаль-ед-дина, но все же и он внес нечто новое в деятельность этой среды. Уже и раньше в своих комедиях Санну пользовался иногда вместо обычного литературного языка, не понятного широкой массе без школьного образования, простонародным египетским диалектом, путем которого было гораздо легче демократизировать те или иные идеи. Теперь, под влиянием бесед с Джемаль-ед-дином и Абдо, у него зародилась мысль о создании политическо-сатирической газеты на народном диалекте. Официальным редактором должен был быть Санну, главными сотрудниками Джемаль-ед-дин и Мухаммед Абдо. Газета вышла в 1877 году под названием «Абу Наддара Заркa» («Человек в синих очках»), имя — превратившееся с этой поры в литературное прозвище самого Санну. Успех ее был очень велик. Живой, непринужденный язык, понятный всякому умеющему читать и не похожий на обычный схоластический стиль, животрепещущие темы, участие — хотя и без подписей — хорошо известных литературных имен — все это создало необычайную популярность первой попытке заговорить с народом на народном языке.

Еще до этого времени у Санну произошел разрыв с прежним меценатом хедивом Исмаилом, неосмотрительная финансовая политика которого за вторую половину правления вела страну к полному краху и все более настойчивому вмешательству европейцев. Санну не сдерживал своих саркастических выпадов по адресу «старшины квартала», и в этом прозрачном псевдониме хедиву было не трудно узнать себя. О дальнейших результатах тоже не трудно догадаться: газета на 15-м номере была закрыта, и «человеку в синих очках» пришлось эмигрировать в Европу. Когда он был уже на палубе парохода в Александрии, провожаемый громадной толпой своих почитателей, друзья обратили его внимание на «старшину квартала» — хедива, проезжавшего в это время по набережной, чтобы позлорадствовать над изгоняемым врагом. «Ничего, — ответил Санну, — через год ему самому придется уехать». Слова оказались пророческими: в 1879 году хедив Исмаил был низложен по настоянию европейских держав.

После эмиграции Санну поселился в Париже и здесь продолжал свою деятельность в прежнем направлении. В том же 1878 году он выпустил газету под несколько измененным заглавием «Странствование человека в очках». Она встретила в читающей публике на родине прежний успех: тираж ее доходил до 15 тысяч — цифра для арабского периодического издания того времени очень солидная. Цензурные условия часто заставляли редактора менять заглавие своего органа: назывался он и «Человек со свистком», и «Человек с флейтой», и «Заклинатель», и «Египетский патриот» и т. п. По существу она не меняется, выставляя своим девизом «Египет для египтян»; прежними остаются и главные сотрудники Джемаль-ед-дин, Мухаммед Абдо и примыкающий к ним Абдаллах Недим (ум. 1897 г.). В 1887 году Санну сделал первый в арабской журналистике опыт выпуска газеты с иллюстрациями и здесь не побоявшись быть пионером.

С переездом в Париж он принимает участие в французской общественной жизни, выступая с докладами и лекциями и сотрудничая в газетах «Temps», «Matin», «Figaro» и др. Владение языками позволяет ему иногда щеголять своего рода фокусами — в 1886 году он выпускает газету «Египетский болтун» на 8 языках, в 1900 г. на парижской выставке произносит речь на 10 языках. Его политическое влияние на общественное мнение мусульманских стран сильно растет, и все властители стараются в нем заискивать. У него происходят свидания с шахом Персии, хедивом Аббасом; у султана Абдулхамида он одно время играет роль его неофициального представителя при президентах Карно и Лубе. Не отказываясь от сношений с властителями, Санну, однако, оберегает свою самостоятельность; несмотря на усиленные приглашения хедива Аббаса, он отказывается вернуться в Египет, «пока

там англичане». Всеобщее признание его заслуг ярко обнаруживается в 1902 году, когда празднуется 25-летний юбилей его первой газеты, еще больше в 1905-м, когда чествуется впервые в арабском мире полувековой юбилей литературной деятельности.

Годы не ослабляют отзывчивости Саннy к общественным событиям: еще в 1908 году он едет на несколько дней в Константинополь, чтобы присутствовать на торжествах по случаю конституции. Лишь почти полная потеря зрения заставляет его отказаться от газетной работы: 31 декабря 1910 года он выпускает последний номер «Человека в очках» после 34-летнего существования газеты под разными названиями. Умер Якуб Санну 30 сентября 1912 года.

Для полной характеристики его взглядов и деятельности потребовался бы, конечно, другой объем настоящей заметки. На его примере можно показать, что и современная арабская литература обладает для не араба теми же притягательными свойствами, какие отличают ее в эпоху расцвета. В свою очередь элементы, вовлекаемые в ее сферу, очень часто вносят новую струю в основное течение. Быть может, в таком взаимодействии кроется секрет жизненности этой арабской литературы, обнаружившийся в возрождении XIX века, несмотря на целый ряд неблагоприятных условий предшествующего периода.

И. Крачковский

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

Тридцатипятилетие Восточной Комиссии

Основанная в 1887 году, Восточная Комиссия Московского Археологического Общества вступила уже в почтенный возраст, но итоги ее все-таки микроскопичны. Условия востоковедной работы в Москве постоянно были неблагоприятны. Были блестящие (и гениальные) представители востоковедения, но отсутствовала научная преемственность уже потому, что востоковедная школа — рассадник московского востоковедения — носила прикладной характер, и молодые научные силы, кончая Специальные Классы, обыкновенно пропадали для востоковедения... Несмотря на то, что Специальные Классы Лазаревского Института восточных языков возникли в 1872 году, мысль о востоковедном Обществе зародилась среди лиц, посторонних Лазаревскому Институту, и первый президиум Восточной Комиссии был избран из кругов университетских и академических (председатель Ф. Е. Корш, товарищ председателя Вс. Ф. Миллер, секретарь М. В. Никольский). Преподавательский персонал Специальных Классов, конечно, участвовал в Восточной Комиссии и вносил отзвуки мусульманского и христианско-кавказского Востока, но стержень интересов шел к Древнему Востоку. По мысли инициатора, М. В. Никольского, Восточная Комиссия должна была стать одним из центров разработки ориентальной науки, а именно — восточно-русской археологии, но надежды его были обмануты. Неисправимый оптимист, зараженный московским патриотизмом, М. В. Никольский и накануне революции (в 1916—1917 гг.) тоже мечтал о создании в Москве грандиозного переднеазиатского Общества. К концу XIX века в жизни Восточной Комиссии наметился перелом, закончившийся с переездом (временным) М. В. Никольского в Петроград. Вступление председателя и товарища председателя Восточной Комиссии в число преподавателей Специальных Классов, естественно, образовало, так сказать, унию между Специальными Классами и Восточной Комиссией. Когда в 1901 г. секретарем был избран А. Е. Крымский, Восточная Комиссия устремилась в мир мусульманский (часто в современных и актуально-политических отголосках). Возобладал филологический подход к изучению Востока; изредка вспоминаются, впрочем, и старые традиции (широту взглядов сообщал председатель Комиссии Вс. Ф. Миллер, часто знакомивший и с востоковедными книжными новинками, русскими и иностранными). Скоро Восточная Комиссия превратилась в учебно-показательное учреждение; заседания усиленно посещались студентами Специальных Классов, которые как бы восполняли здесь востоковедное образование. В 1911 году опять совершается надлом: Вс. Ф. Миллер, избранный академиком, навсегда покинул Москву; Ф. Е. Корш, уезжавший в Петроград или хворавший, отходил от Комиссии; умерли и кавказоведы (Г. А. Халатьянц, А. С. Хаханов); Восточная Комиссия все более и более сиротела. Президиум ее составился из В. К. Трутовского (председатель), П. С. Уваровой (товарищ председателя) и А. Е. Крымского (секретарь). Революция развеяла Восточную Комиссию, ибо оказалось, что и все московское востоковедение построено было на песке. В течение четырех лет (с февраля 1917 года по январь 1921 года) Восточная Комиссия пребывала в летаргическом сне; после долгого перерыва она возобновила заседания, но дышала и дышит на ладан, ибо преподаватели-востоковеды, очевидно, равнодушны к судьбам Восточной Комиссии. Только раз, в 1922 году, Восточная Комиссия проявила, как будто, инициативу и созвала организационное собрание по вопросу об изучении кавказско-горских языков в Москве, заложив при Институте Востоковедения (последнем перевоплощении Специальных Классов) фундамент кавказского разряда.

За тридцать пять лет Восточная Комиссия собиралась более полутораста раз: она издала пять больших томов «Древностей Восточных»; украшением «Древностей» навсегда останутся труды ассириолога, энтузиаста-русака, М. В. Никольского («Документы хозяйственной отчетности древней Халдеи», 1908 — 1915, 2 тома), который пустил в научный оборот лихачевское собрание клинописных таблеток.

Вл. Гордлевский

Восточные влияния в античной глиптике

Открывшаяся 10 июля 1923 года выставка античных резных камней в Государственном Эрмитаже на сравнительно немногих образцах показывает, как велико и богато собрание этого крупнейшего в России хранилища.

По прекрасным экземплярам инталий, благодаря искусному подбору и распределению материала, можно легко проследить, как значительны были дары и влияния востока в этой отрасли искусства. Сказались они с древнейших эпох, прежде всего широким распространением у греков камней в форме египетских скарабеев и скарабеоидов, усилившимся особенно в VI в. до Р. Хр. Далее интересно отметить заимствование греками восточных сюжетов, каковы, например, сцена из египетской сказки о «потерпевшем кораблекрушение» (стол А I 5) или голова перса (стол А III 1). Подлинный древний восток представлен камнями и печатями Финикии VI в., Персии V — IV в.

Прекрасный портрет царя Понта Митридата IV (II в. до Р. Хр.) напоминает значение иранской культуры для России.

Дары востока в области глиптики были не только идейными, но и материальными: эпоха эллинизма вводит в употребление целый ряд редких и красивых пород камней, между прочим из Индии. Следует отметить интересную группу так называемых «гностических» камней, где восточные символы и сюжеты особенно бросаются в глаза (стол С III 6).

Среди камней, где большинство выставленных экземпляров носит портретный или мифологический характер, выделяется изображение бюста египетской богини Гатор (витрина I 3).

Ко дню открытия отпечатан краткий указатель выставленных образцов и в ближайшем будущем появится полный каталог.

В. Крачковская

Конгресс ориенталистов в Берлине

В апреле состоялся в Берлине 2 германский конгресс ориенталистов, на который съехалось несколько сот ориенталистов из Германии и из-за границы. Конгресс открылся собранием членов Германского Востоковедного Общества (Deutsche Morgenländische Gesellschaft), после чего в общем заседании А. Бертолет прочел доклад: «О вкладе ветхого завета во всеобщую историю религии». Вечером того же дня проф. Ранке прочитал ожидавшийся с большим нетерпением доклад «Гробница царя Тут-анх-Амона», иллюстрированный картинами. На этом докладе присутствовало вместе с гостями около 2000 человек. На следующий день проф. Циммерн говорил «О современном положении хетитологии», а вечером проф. Деген продемонстрировал фонографические записи восточных песен и проб языка. Последний день члены конгресса посвятили осмотру богатых коллекций Берлинских музеев: египетской, передне-азиатской, исламской и турфанской. Главная работа конгресса, с научными прениями после докладов, была сосредоточена, конечно, в групповых заседаниях по специальностям. Из читавшихся там докладов один из них, Лемана-Хаупта, был посвящен результатам русской экспедиции в Ван 1916 г. Н. Я. Марра и И. А. Орбели.

Было образовано 6 групп: а) по Египтологии, б) по Ассириологии, в) по ветхому завету, г) по Семитологии, Туркологии и Исламу, д) по Индологии и Армянистике и е) по Дальнему Востоку.

Хетскому вопросу, возбуждающему ныне повсюду живой интерес, были посвящены помимо доклада, читавшегося Циммерном в общем собрании, еще сообщения Франка: «Путь к расшифровке так называемых хетитских иероглифических надписей», и Иенсена на ту же тему. Несколько докладов было прочитано о восточных религиях. В связи с последним изменением турецкой конституции был прочитан А. Фишером доклад о халифате и султанате. Недостаток места и характер журнала не позволяют перечислить все читавшиеся там доклады. Всего было их сделано 34.

А. Фрейман

Выставка индийской живописи в Берлине

Весной текущего года в Берлине состоялась выставка современной индийской живописи. Выставка устроена была в помещении дворца бывшего кронпринца директором немецкого музея Юсти при содействии «Германского Востоковедного Общества» («Deutsche Morgenländische Gesellschaft»). Всего было выставлено около 100 произведений современных индийских художников. Каталог насчитывал около 50 имен.

Немецкая критика указывает на внутреннее единство работ различных индийских художников. Круг тем индийской живописи довольно широк: пейзажи, образы героических легенд, бытовые сцены, но при всем разнообразии сюжетов картины индийских художников отличаются общими характерными особенностями — сдержанностью в красочной композиции, некоторой архаичностью рисунка и строгостью формы. В выставленных работах усматривается известное влияние европейской живописи XIX и XX столетий, особенно английских «прерафаэлитов», а у одного из художников наблюдается даже попытка внести приемы экспрессионизма в современную восточную живопись. Среди участников индийской выставки особое вни-

мание привлекают члены семьи Тагор Абаниндранат и Гогонендранат, совсем близкий к последним устремлениям западного искусства. *Бр.*

● На 26 — 29 сентября с. г. назначен в Мюнстере 54-й съезд немецких филологов и педагогов. Съезды эти пользуются, как известно, заслуженным научным авторитетом. По обыкновению и в этом году организована востоковедная секция, президиум коей составляют мюнстерские востоковеды Grimme, Herrmann и Koppelmann. *А. Ф.*

К изучению востока в Италии

С 1921 года Италия обогатилась новым востоковедным учреждением — «Восточным Институтом» («Istituto per l'Oriente»), основанным 13 марта 1921 года. Ближайшей целью его является распространение сведений о культурной, политической и экономической жизни востока, преимущественно мусульманского. Для достижения этой задачи Институт выпускает ежемесячный журнал «Современный Восток» (Oriente Moderno), издает научно-популярные работы общего характера, собирает специальную библиотеку, следит за периодической печатью на европейских и восточных языках и т. д. Состав Института производит очень серьезное впечатление. В административном совете среди прочих принимают участие Конти Россини, один из крупнейших современных абиссиноведов, семитолог Леви делля Вида, профессор Римского университета. Директором научной части является известный арабист академик Наллино, бывший одно время профессором в Каирском университете, генеральным секретарем—проф. Микельанжело Гвиди, сын известного патриарха востоковедения в Италии академика Иньяцио Гвиди.

Журнал Института выходит ежемесячно тетрадями большого формата в 64 страницы; с появлением его Европа получает информационный орган первоклассного достоинства. До сих пор большинство предприятий аналогичного характера носило определенно выраженную политическую физиономию, часто в них повторялись ошибки относительно наиболее типичных и основных фактов жизни востока (достаточно напомнить вопрос о халифате), сведения хроники попадали не столько из первоисточника, сколько из вторых и третьих рук. Новый орган «стремится знакомить с современным востоком, наблюдая события, развивающиеся там, тенденции и идеи, которые ими руководят, социальные и экономические условия, в которых они зарождаются». Информация основывается, главным образом, на оригинальных источниках, в изложении по возможности полностью с объяснительными примечаниями. В случае необходимости даются критические разъяснения, указывающие ошибки или выясняющие определенную тенденцию. Журнал не ставит своей задачей решение или обсуждение политических проблем; его цель—собрать проверенные данные, которые позволят и политику, и деловому человеку узнать неприкрашенную правду про восток и сделать самостоятельно уже все нужные ему выводы. В то же время журнал обращает особенное внимание на культурную жизнь, как знакомя с работами ориенталистов в этой области, так и сообщая в хронике наиболее интересные факты из первоисточников.

Географически материал ограничивается ближним востоком, в главной части мусульманским; не исключаются, конечно, из обзора вкрапленные в этот мир христианские и еврейские островки (Ливан, Сирийское побережье, Палестина, Армения, Грузия, Абиссиния). В противоположность этому исключаются вопросы чисто колониального характера, как по их близкой связи с политикой, так и потому, что им посвящены другие издания.

В журнале три секции. Политико-историческая посвящена политическим, административным и военным событиям современности, которые фиксируются в хронике, а равным образом, в итогах определенной серии событий и синтетической истории отдельных стран или выдающихся политических институтов. Культурная секция иллюстрирует умственную, религиозную, социальную и моральную жизнь народов востока, дает отзыв о движении европейских востоковедных студий в областях филологии, истории, географии и этнографии. Экономическая секция обращается преимущественно к деловым людям, но расчитывает быть полезной политикам и вообще всем интересующимся вопросами географии и востоковедения.

Попавшие в Петроград отдельные номера журнала за 1921 и 1922 год служат хорошим доказательством богатой информации и строгой проверки материала; видно, что дело находится под наблюдением авторитетных лиц. *П. Кр.*

Пекинский национальный университет

В настоящее время одно из самых значительных высших учебных заведений Китая — Пекинский национальный университет — получил организацию, в значительной мере отличающую его от университетов Европы. Пекинский университет разделяется на два факультета: подготовительный и основной.

Подготовительный факультет соответствует по своей программе старшим классам средних учебных заведений Европы, или, до известной степени, нашим рабфа-

кам. На нем проходятся разные обще-образовательные предметы как гуманитарные, так и естественно-исторические, при чем особое внимание обращается на изучение новых иностранных языков, в особенности английского; продолжительность обучения на подготовительном факультете определяется в два года. Только основной факультет, собственно говоря, и является университетом в обычном понимании этого слова. Подразделяется он на пять отделений: 1) наук математических, 2) биологии, 3) наук философских, 4) словесное и 5) истории, права и экономических наук. Продолжительность прохождения курса — 4 года.

На всех гуманитарных отделениях объектом изучения является помимо Запада и Восток, в особенности родной Китай. Так, например, на философском отделении на ряду с курсами по логике, экспериментальной психологии, истории философии XIX и XX вв. преподаются такие предметы, как философские системы Индии, история китайской философии, тибетский язык.

На историческом отделении все внимание обращено на Китай; по истории Европы читаются лишь следующие курсы: история Европы в средние века; новейшая история Европы и экономическая история Европы. На отделении этом, кроме того, преподаются: методология истории, исторический материализм, археология и этнология.

Преподавание на отделе русского языка и литературы поставлено плохо, во всяком случае гораздо хуже, чем на отделах западно-европейских языков. Объясняется это, с одной стороны, отсутствием достаточного числа хорошо подготовленных преподавателей, с другой стороны—малым интересом, проявляемым китайским студенчеством к изучению русского языка и, наконец, отсутствием материальной поддержки со стороны заинтересованных русских кругов, чего совершенно нельзя сказать по отношению, хотя бы, к английскому и французскому отделам.

Равнодушие китайского студенчества к изучению русского языка, помимо плохой постановки преподавания, объясняется также тем, что оно не видит — пока — в будущем возможности практического применения своих познаний.

В текущем 1923 — 24 г. прием студентов на русский отдел прекращен вовсе.

П. Воробьев

Деятельность китайцев китаистов

Наконец-то мы дождались давно желанной эпохи, когда китаеведение, разделенное доселе своеобразною стеной взаимного непонимания на два лагеря, соединяется в один общий поток знания и исследования! Приветствуем появление китайского научного журнала, делающего, хотя и не первый, но окончательный шаг к установлению совместного китаеведения. Журнал называется по-китайски «Годи Бэйцзин Дасио Госио цзикань» и по английски «The Journal of Sinological Studies» Издательский Комитет состоит из десяти человек, во главе с известным реформатором, писателем и ученым Ху Ши. Два вышедших нумера (в январе и апреле 1923) полны интересных статей—исследований по вопросам, давно уже волнующим китаеведов, как, например, статья Махэна о знаменитых «каменных барабанах», относящая этот считающийся едва ли не самым архаичным из сохранившихся каменописных памятников, вопреки традиции, лишь к III веку до Р. Хр., о китайских историках (Чженцяо и др.). Кроме того, и главным образом, журнал посвящен ближайшему сотрудничеству с европейцами, что видно, например, из переводов статей Пеллио, Сталь-Гольстейна и ближайше навеянных этими исследователями статей о древнем китайском произношении, о манихействе и зороастризме в Китае, и т. д. *В. А.*

Из жизни Китая

Самым характерным явлением культурной жизни современного Китая является стремление сохранить и изучить памятники своей прошлой истории. То, чем раньше занимались главным образом европейцы—это теперь в неменьшей, если не в большей степени начинает интересовать самих китайцев. В Китае начинают возникать общества по охране и изучению памятников своей старины, своей древней культуры, насчитывающей около 3-х тысяч лет существования. При этом инициатива создания таких обществ в большинстве своем исходит не из официальных учреждений, а от частных лиц, затрачивающих на это довольно крупные средства.

Примером такого рода обществ является только что возникшее в Пекине 6-го августа сего года «The Eastern Culture Society», поставившее себе целью изучение культур Дальнего Востока в широком понимании этого слова, включая философию, историю, литературу и искусства. Видным археологом и финансовым деятелем Китая Ло-чжэньюй'ем пожертвованы этому обществу богатая библиотека, музей, а также документы канцелярии маньчжурской династии, приобретенные г. Ло-чжэнь-юй'ем от живущих ныне в Пекине представителей этой династии за 25.000 кит. долларов.

Названное общество совершенно не имеет в виду замкнуться в процессе своей работы в узкие национальные рамки, а, как явствует из устава общества, «вступление в члены общества открыто для всех, без различия расы и национальности». Общество даже в начале своих работ включило в состав временного президиума двух иностранных ученых: проф. А. И. Иванова и

д-ра Вильгельма. Далее, как видно из устава общества, председатель его, «наиболее известный ученый, будет избран вне зависимости от национальности». Временным председателем в настоящее время является г. Кэ-ши-пин.

Затем, в настоящее время в Пекине подготовляется к открытию Американо-Китайский Археологический Институт, открываемый главным образом на средства, отпущенные Америкой. Во главе этого Института встанет, по всей вероятности, знаток Китая— Карл Бишоф. Названным Институтом под непосредственным руководством Бишофа предположено в первую очередь организовать археологическую экспедицию в район г. Лояна для производства раскопок на месте бывшего первого буддийского храма Бай-ма-сы. Эта экспедиция, по всей вероятности, осуществится в течение сентября.

Необходимо также отметить глубокий интерес, который проявляется в настоящее время в Китае к культурным ценностям сошедшей с исторической арены маньчжурской династии. В данное время появилось много коллекционеров, собирающих материалы по истории и литературе маньчжуров. Кроме отмеченного нами выше г. Ло-чжэнь-юй'я— прекрасная библиотека маньчжурских документов и печатей имеется у г. Цзин-лян'а, специально работающего по маньчжурской филологии. Пишущему эти строки удалось найти у г. Цзин-лян'а маньчжурские рукописи, написанные без употребления точек, которые, по определению проф. В. Л. Котвича, могут быть отнесены к началу XVII столетия. Одновременно с этим г. Цзин-лян'ом приступлено к печатанию «китайско-маньчжуро-солоно-дахуро-орочонского словаря» в китайской транскрипции.

Изучение китайского фольклора также встало наконец на правильный путь, что можно видеть из учреждения при Национальном Пекинском Университете даже специальной «песенной комиссии», занимающейся собиранием китайских народных песен и научным их изучением. В течение ближайшего времени труды этой комиссии увидят свет, и надо думать, что для специалистов-синологов в этих трудах песенной комиссии найдется весьма много ценного и интересного. Наконец проф. А. И. Ивановым собрано около 600 народных песен, главным образом Су-чжоу'ской провинции. Перевод и научная обработка материала их проф. Ивановым уже закончены.

Из приведенного выше можно вполне согласиться с тем, что при том интересе, который начинает проявлять сам Китай к изучению своего прошлого методами и путями европейской науки — европейская синология в лице китайских ученых найдет вполне достойных и ценных товарищей.

П. Воробьев

● В Тифлисе основана Закавказская Научная Ассоциация, которая ставит своей целью изучение Грузии, Армении, Азербейджана и стран Ближнего Востока. Главным образом исследуются вопросы, с одной стороны, политико-экономические и социальные, с другой, историко-этнологические. В состав ассоциации входят действительные члены и члены-корреспонденты; президиум находится в Тифлисе.

И. Кр.

БИБЛИОГРАФИЯ

● Антология китайской лирики VII — IX вв. по Р. Х. Перевод в стихах Ю. К. Щуцкого; редакция, вводные обобщения и предисловие В. М. Алексеева. «Всемирная Литература». Госуд. Изд. М.—Птрг. 1923 г., стр. 143, тираж 4.250 экз.

Появление «Антологии китайской лирики», изданной «Всемирной Литературой», является крупным событием в жизни нашей синологии, именно той ее части, которая работает над приобщением к большой сокровищнице европейской и—в ближайшую очередь—русской художественной литературы произведений издревле соседнего с нами, но нам столь еще чуждого народа. Переводчик и редактор избрали для своей цели как раз ту эпоху в истории китайской поэзии, которая отличается наибольшим блеском в развитии этого вида словесного искусства, — эпоху, соединяемую всегда с именем династии Тан, в правление которой ряд объективных культурно-исторических условий, в сочетании с действиями просвещенных меценатов на троне, вызвали к жизни целую плеяду великих художников слова, имеющих все основания занять места в пантеоне мировой литературы, рядом с наиболее прославленными гениями Европы. Переводчик и редактор, кроме того, сумели выбрать из бесконечной массы поэтических произведений этой эпохи действительно очень ярко эту танскую поэзию представляющие, а своим умелым расположением материала — по основным темам стихотворений, — дали русскому читателю возможность войти в круг наиболее характерных поэтических настроений китайских авторов. Обобщающие введения редактора, предпосланные каждой такой группе стихотворений,—введения, основанные на глубоком знании китайской духовной культуры вообще, — еще более облегчают профану вхождение в дух и содержание этих основных тем. Подлинное же знание китайской поэтической речи, китайского языка в целом и китайской культуры вообще, которое прочным фундаментом лежит в основе всей проделанной переводчиком и его редактором работы, дает возможность a priori не тревожиться насчет возможности каких-нибудь фальсификаций переводов с китайского, к чему достаточно привыкла читающая публика во всех странах Европы. А стихотворное мастерство переводчика, явленное с достаточным блеском в его стихотворных переводах, дает всей книжке яркий поэтический облик. В нашей популярной синологической литературе книжка Ю. К. Щуцкого — событие несомненно исключительное; ничего равного ей у нас до сих пор еще не было, и можно лишь радоваться за судьбу новой русской синологической школы, обладающей представителем, который сумел так начать свое печатное служение избранному делу. Можно только благодарить редактора перевода проф. В. М. Алексеева за его внимательное руководство в настоящем издании, а издательство «Всемирную Литературу» — за выпуск такой «Антологии» в свет.

Однако ценность книжки Ю. К. Щуцкого не исчерпывается одною лишь искусной популяризацией художественного китайского слова.

Синологическая подготовленность переводчика к его работе и его русское поэтическое мастерство настолько явно выражены в настоящем издании, что дают право отнестись к его труду со всей полнотой и строгостью научной критики. Работа Ю. К. Щуцкого настолько серьезна, что дает право и возможность оценивать ее с точки зрения самых высоких требований, могущих быть предъявленными переводчику китайских стихов, т. е. тех требований, которые было бы совершенно неуместно ставить перед кем-либо другим и которые в русской синологической критике до сего времени ни перед кем и не ставились. В этом, может быть, даже и наибольшее грядущее значение «Антологии» в истории русской популярной синологии. Она дает право поставить во всей широте проблему художественного перевода китайского лирического стихотворения, — в частности, той его разновидности, которая более всего представлена в сборнике: т. наз. «усеченной пятисловной строфы» (у янь цзюэ цзюй), т. е. пятисловного (пятизначного) четверостишия.

Теоретически можно представить себе три пути художественного перевода с китайского. Первый из них заключается в стремлении адэкватно передать китайское

стихотворение так, как оно проецируется на фоне общечеловеческом. Это значит, что переводчик, пользуясь китайским текстом всего лишь как вратами для входа, должен проникнуть в то общечеловеческое, что кроется за специфически-китайской оболочкой; проникнуть путем своей художественной интуиции — этого единственного мостика — в «потусторонний» для нас — китайский поэтический мир; воспринять общечеловеческую поэтическую наполненность стихотворения и затем, совершив обратный ход, выразить результат своего интуитивного познания в оболочке своего национального поэтического языка. Результат при этом должен получиться — с точки зрения такого подхода — совершенно бесспорный, так как за переводчиком числятся данные непосредственного опыта, очевидные сами по себе и не требующие еще каких-либо дополнительных подтверждений.

Второй путь заключается в безусловном следовании тем принципам, которые возвещены, между прочим, и Н. С. Гумилевым. Он состоит в том, что переводчик не имеет ни малейшего права отступать в чем бы то ни было от оригинала. Весь механизм китайского стихотворения, т. е. именно то, что и делает его стихотворением, а не «поэтической прозой», должен быть учтен и взвешен переводчиком; последний обязан внять всем реальным и формальным элементам стихотворения, оценить по достоинству и во всей полноте его стиль, тему, композицию и мелодику и, установив затем необходимые способы о р г а н и ч е с к о й передачи всего этого на русский поэтический язык, подыскав и обосновав соответствующие русские эквиваленты, передать китайское стихотворение уже в органически соответствующей ему — реально и формально — русской оболочке.

О третьем из возможных путей можно говорить пока лишь как о проблеме, очертания которой лучше всего обрисовываются при свете культурно-исторической концепции О. Шпенглера. Если исходить из общей предпосылки «культурных кругов» с «синхронизмами» во внутреннем содержании этих кругов — при их сопоставлении друг с другом a posteriori, — китайский и русский круги культуры, в пределах которых протекает, между прочим, и вся жизнь поэзии этих двух народов, будут иметь такие «синхронизмы», т. е. моменты полной эквивалентности в своей качественной относительности. Если признать раз навсегда абсолютную невозможность адэкватного перевода — в силу общей невозможности адэкватно повторить какое-нибудь явление, — остается устанавливать только одни такие эквиваленты и пользоваться ими в качестве наиболее доступного для проникновения в чужое явление средства. Разумеется, решающую роль на этом пути играет опять-таки момент интуитивный, то н е п о с р е д с т в е н н о е о щ у щ е н и е эпохи и ее продукта, которое переживается при соприкосновении с ними тем или иным способом. Здесь налицо опять такая же непосредственная данность понимания, однако — при всем том — тут возможно привлечение и объективного научного материала — данных истории: сначала как точек отправления, затем и как критериев проверки. Строгий исторический анализ отдельных кругов культуры может привести к установлению знака относительного равенства между двумя какими нибудь явлениями каждого круга. С точки зрения такого подхода возможно предположить, что в историческом содержании русской поэзии найдется как раз то, что соответствует эпохе Тан, — с ее содержанием и духом; найдется и та форма, которая будет mutatis mutandis равнозначащей пятисловному четверостишию, равнозначащей в аспекте «души» нашей культуры. Отыскивание ее — дело соединенной работы исторического знания и интуиции и требует огромного культурно-исторического кругозора и всей полноты лингвистического знания.

Переводы Ю. К. Щуцкого трудно отнести к какому-нибудь из этих трех типов: настолько они носят на себе все признаки методологической неустойчивости и принципиальной неразработанности. Из чтения книжки получается впечатление, будто переводчик твердо помнил только об одном: не искажать оригинал в смысловом отношении, иначе говоря — давать т е м а т и ч е с к и наиболее близкий к оригиналу перевод. Вся тяжесть вступительных оговорок редактора падает именно на эту сторону дела: проф. В. М. Алексеев указывает на небезызвестные «переводы» Готье и Егорьева с Марковым и совершенно справедливо подвергает их суровому осуждению и просто вычеркиванию из синологического обихода. И действительно, в этой области переводчик, работающий под контролем такого знатока языка, как проф. В. М. Алексеев, достигает поразительных результатов. Большинство переводов с тематической стороны так близки к оригиналу, что иногда являются как бы буквальным переложением на русский язык китайских фраз, — при всем соблюдении внешне-поэтического облика, устраняющего всякую ученическую дословщину. Берем наудачу одно стихотворение — с простой подстановкой русских слов под китайские, и в обработке Ю. К. Щуцкого:

Д о с л о в н а я п о д с т а н о в к а:

Белое солнце
За горами исчезает.
Желтая река,
вливаясь в море, течет.
Хочу изойти (вылиться целиком)
в тысячу верст взоре.
Снова восхожу
Этажем выше на башню.

Перевод Ю. К. Щуцкого:

Белея, солнце вскоре
Зашло за гребень скал,
И Желтая Река
Течет, вливаясь в море.
Я изойти хочу
Тысяче-верстным взором.
На эту башню скоро
Все выше восхожу. (стр. 24, I).

Таково большинство сделанных переводов, и возражать, поэтому, против каких-либо тематических неточностей почти не приходится: если и встречаются места, с которыми не совсем соглашаешься,—это оказывается всегда в случаях действительно возможных колебаний в понимании иероглифического текста. Иначе говоря, переводчик добросовестно исполняет заявленное в предисловии редактором обещание: давать только то содержание, которое существует в оригинале и не вносить ничего нового от себя лично. В этом смысле переводы Ю. К. Щуцкого стоят совершенно особняком в русской переводной с китайского литературе и могут занять одно из почетных мест среди переводов китайских стихотворений на европейские языки вообще.

Это стремление к наибольшей точности в передаче тематического содержания было, повидимому, доминирующим фактором в процессе всей работы. Если к этому присоединить еще два принципа, усматриваемые из перевода: соблюдение русской формы восьмистишия и передача целого хорошим русским стихом, — то этим и будут исчерпаны теоретически поставленные задания всей работы. И этого всего слишком мало, чтобы придать работе Ю. К. Щуцкого целостный методологический характер.

Ближе всего переводы Ю. К. Щуцкого относятся к типу «свободного» перевода,— первого из обрисованных трех видов. В самом деле, переводчик прежде всего дает прекрасную русскую поэтическую речь, благодаря которой его стихи совершенно не ощущаются, в большей своей части, как переводы. Искусственности в их построении не больше, чем это допускается всяким стихотворным произведением. Структура стиха—легка и изящна. Речь свободно укладывается в метрические рамки—и при этом в самых разнообразных очертаниях. Ю. К. Щуцкий блеснул большим богатством размеров; он стремится, как будто, использовать все возможности русского стиха, не только классического, но и современного,— впрочем, с явным уклоном от классического с его правилом равного количества неударных слогов между ударными на продолжении всего стихотворения, — к метру современному. Своеобразно употребление цезуры с предшествующей усеченной стопой только в четных (64, I) или только нечетных (79, II) строках; или когда она приходится в разных местах четных и нечетных строк (35, II). Ту же цель нарушения строгой правильности при равном количестве неударных слогов преследует анакруза (32, II; 75, I и II; 77, I; 114, II—односложная; 47, I, 80, II—двухсложная). Любопытно и удачно использование паузы, как значащей ритмической единицы, напр. «Уж шишки, вон там, под сосну Упали... Горы пусты» (69, II, см. также 91, I, 1; 80, II, 2). На фоне этих особенностей пропуск слога в строке, что встречается довольно часто, выступает как сознательный прием, тем более, что такой пропуск может быть очень легко устранен без малейшего ущерба для смысла стиха,—напр.

На холодном, (и) стынущем Цзяне (33, II).

Перед лодкой твоей (ю) течет, широка (59, I).

Когда такой пропуск подчиняется у переводчика определенному правилу, получается редкая в русском классическом стихе форма логаэда (22, I, 41, II, 46, I и II, 68, II, 70, II). Переводчик, как будто, даже тяготеет к этой форме. Дольник встречается явно только один раз (74, I; чередование четырехударных четных с трехударными нечетными).

Рифмою переводчик владеет не менее свободно, чем размером. Рифмы разнообразны, иногда по новому интересны (напр: сосновой — снова, 48, I; думой — ум мой; горном—двор нам, 39; весне—во сне 78, II). Разнообразно и расположение рифм. Чаще всего—обычная для русского восьмистишия перекрестная рифма для каждого четверостишия отдельно; но встречаются объединенные рифмою попарно двустишия, (напр. 31, II, 35, II); наблюдается кольцевое расположение рифм для четверостишия (31, I; 42, I; 51, II); есть и более изысканное—типа abcd abcd (43, II; 78, I); очень интересно кольцевое опоясывание всего восьмистишия (90, II). Очень удачно применение белого стиха на стр. 21. Не исключена совершенно и звуковая инструментовка: в форме звукоподражания она встречается, напр., в стихе «В камышах Шум осенний и ночной шевелит шурша» (40, II; см. также 42, II, 3; 79, II, 3—4).

Хуже всего переведена знаменитая «Лютня» Бо Цзюй-и. Если в коротких восьмистишиях пропуск слогов на фоне общей структуры стиха воспринимается, как поэтический прием, то здесь—в поэме, представляющей собою замкнутое и обособленное целое, этот пропуск, не упорядоченный и очень частый (на 176 строк — 48 с пропуском одного слога), нарушает во всем остальном правильный и однородный ритм и создает впечатление невыдержанности размера и плохих стихов вообще. Впечатление неряшливости производит и беспорядочное заканчивание то полной, то усеченной стопой и различное расположение рифм. Искусство, показанное Ю. К. Щуцким в коротких стихах, заметно падает с переходом его к переводу большой поэмы.

Такая картина переводов Ю. К. Щуцкого создает впечатление того, что переводчик стремился стать именно на путь «свободного» перевода, т. е. обеспечить себе наибольшую свободу действий в отношении метрики, ритмики и композиции русского переложения. Осознав с помощью своего знания языка оригинальный материал, он стремился дать свой перевод, как свободно претворенный в горниле его собственного творчества поэтический продукт, ибо все характерное в его стихе в формальном отношении следует отнести не столько к оригиналу, сколько к его собственной творческой работе. Однако он не дошел по этому пути до конца, основные принципы свободного творческого перевода им не выдержаны во всей своей полноте. На ряду с безграничной свободой в отношении рифм, размеров и пр.,—которую он себе не обинуясь разрешает, кое в чем он скован, кое в чем он ставит своей свободе определенные рамки, идущие от формальных моментов китайского стиха. Так, одно уже ревнивое соблюдение им русской формы восьмистишия для китайского «у-янь-цзюэ-цзюй», является искусственной рамкой, им себе поставленной. Такой же [illegible] следует считать то старательное сохранение китайских словобразов в элементарной переводной трактовке, которое редактор ставит ему в особую заслугу. Такие же выражения, как «птица отменно бела» (78, I, 2), «расправляя пару бровей» (98, II, 5) «отшельник одинокий подвизается взаперти» (50, II, 7—8), или поистине трагический стих: «это не имеет отношенья к воспитанию души моей» (130, I, 3—4)—символизируют моментами состояние полного пленения китайским стихом. Свободный творческий перевод отринул бы рамки и грани элементарного толкования иероглифического текста и смело выявил бы свое постижение истинного содержания стиха и его формы, не стесняясь увеличением или уменьшением количества строк, слов и т. под., сравнительно с китайским оригиналом.

Если Ю. К. Щуцкий не выдерживает до конца первый из указанных принципов перевода, он еще менее удовлетворяет второму, «Гумилевскому». Все, в чем он хочет следовать оригиналу, заключается в соблюдении словесно-смысловой точности и однообразно-восьмистрочного размера. И совершенно оставлены без сознательного внимания наиболее существенные элементы китайского стиха, т. е. то, что и делает то или иное нагромождение слов-иероглифов стихом. Элементы стиха идут меньше всего от того, что слова комбинируются в четыре строчки по пять слов в каждой, или от того, что весь материал их с тематической стороны какой-то особенный; они исходят от особенностей композиции, ритмики и мелодики. Лишь эти элементы сообщают китайской фразе специфическое стихотворное значение, и в них главная прелесть китайского лирического стиха.

Однако именно они оставлены переводчиком без сознательного внимания. Объясняется это, может быть, также и тем, что подобные проблемы не пользуются большим распространением в синологии; и принято полагать, будто композиционно-мелодическая схема китайского стихотворения не имеет практического значения при переводе. Но Ю. К. Щуцкий принадлежит к школе проф. В. М. Алексеева, всегда отдававшего много внимания проблемам китайской поэтики,—и ему следовало бы сознательно обработать свой перевод не только с тематической, но и с композиционно-мелодической стороны. Я говорю «сознательно» потому, что встречающиеся у него нередко места, как будто, полного совпадения с оригиналом — случайны и очевидно не являются результатом принципиального задания.

У переводчика прежде всего не обоснована сама форма восьмистишия, принятая им как обязательная для цзюэ-цзюй. В своем переводе он не исходит из того факта, что каждая строчка китайского четверостишия представляется характерной ритмико-синтаксической фигурой, распадающейся на две ритмико-синтаксические единицы. Ритмически это деление обнаруживается в цезуре после второго слова-слога, синтаксически—в строгом расположении грамматического материала, именно: основное господствующее представление — в первой, меньшей части (2 знака), основное отступающее — во второй, большей (3 знака). Обе половины каждой строчки есть именно ритмико-синтаксическое обнаружение процесса расчленения единого, данного первоначально, сложного представления на две части — господствующую и отступающую, и так как эти обе части оказываются в дальнейшем в себе замкнутыми и независимыми в известном смысле,—это и создает предпосылку для ритмического членения строчки — целой фигуры, на две половины — единицы. В силу этого размер восьмистишия скрыт уже в самом китайском стихотворении, и передача его в русском стихе является не вольностью переводчика, но его обязанностью. То же, что размер восьмистишия у переводчика оказывается не продуманным до конца, явствует из того, что он допускает две совершенно непозволительные с точки зрения композиции цзюэ-цзюй приема: перенос (enjambement) и опрокидывание, когда большая ритмико-синтаксическая единица оказывается на месте меньшей, и наоборот (см. «перенос» напр. на стр. 48, I, 2; «опрокидывание» — на стр. 47 II — все стихотворение целиком).

Затем, переводчик оставил без рассмотрения проблему строфического членения китайского стихотворения, и его перевод зачастую не передает характерного для

оригинала ритмико-синтаксического движения. Как известно, четыре строчки цзюэцзюй располагаются в порядке «зачина» (ци), «ответа» (чэн), «поворота» (чжуань) и «узла» (цзе). Эти моменты имеют первостепенное композиционное значение и указывают на соотношения строк между собою. При этом, в зависимости от характера связи «узла» с «поворотом», становится возможным двоякое строфическое членение: «зачин», с «ответом» и «поворот» с «узлом»; или же «зачин», «ответ» и «поворот» — с одной стороны, и «узел» — с другой. Такое членение должно найти свое отражение и в русском переводе, при чем необходимо соблюсти соединительный характер связи между «зачином» и «ответом», подчеркнутый переход ко второму сложному комплексу представлений при «повороте» и психологическое двоеточие перед «узлом», отражаемое в его начальной строчке.

В переводе Ю. К. Щуцкого ничего этого проследить в качестве систематического приема — нельзя, отчего русский облик китайского оригинала утрачивает свой специфический композиционный строй. Конечно, затруднительно всегда ярко это выявить, но незаметно, чтобы вопрос этот переводчика даже особенно беспокоил. Совершенно забыта переводчиком и мелодика китайского стихотворения в своих двух главнейших моментах: «запеве» — модулирующем или ровном (цзэ-ци и пин-ци) и «ладе» — прямом или уклоняющемся (чжэн-гэ и пянь-гэ). Принятие же в соображение и ее — исключительно важно по двум основаниям: прежде всего потому, что мелодика есть своеобразная организация стихотворения, не привносимая извне декламатором, но заключающаяся в самом стихотворении, ему присущая; организация, имеющая не только одно мелодическое, но, повидимому, и ритмическое значение; во вторых — это единственный путь к закономерному ритмическому разнообразию переводов, ибо такая мелодическая организация стихотворений может быть различна в зависимости от автора, от стиха. Соблюдение этой мелодики — хотя бы в ее одном ритмическом отражении — наилучший путь избегнуть той монотонности и однообразия при переводе, о которых говорит в предисловии редактор. Она дает возможность установить различное соотношение ритмов и метров при одной и той же форме пятисловного четверостишия. Конечно, эта сторона китайской поэтики наиболее неясна для нас, и способ перекладывать ее на русскую почву еще совершенно не определен, но все же столь крупные достоинства синолога и поэта, которые явлены Ю. К. Щуцким, заставляют желать, чтобы он занялся и этим.

Нельзя отнести Ю. К. Щуцкого и к переводчикам третьего типа. У него существует первый момент, необходимый для такого подхода к делу: художественная интуиция, есть и фактическое знание, но в его работе не обнаруживается своеобразного исторического чутья формы, столь важного в данном случае. У него одинаковая художественно-историческая мерка для китайских стихотворений, создававшихся на протяжении трех веков, т. е. нечто в роде того, как если б китаец стал одинаково подходить к стихотворениям Ломоносова, Пушкина и Сологуба; для поэзии VII, VIII, IX столетий — у него одно русское соответствие по форме: склонный к модернистским контурам стих. Впрочем, этот путь еще более труден, чем предыдущий — и о нем приходится лишь говорить для полноты критической картины.

Качества, явленные Ю. К. Щуцким, позволяют думать, что он сможет овладеть любым из этих трех способов перевода. Его творческие способности в области поэзии и его интуиция в отношении китайского поэтического содержания настолько заметны, что при желании он может стать талантливым творцом, претворителем в русскую оболочку китайского художественного материала. Он может сделаться и великолепным мастером перевода: так надежны его синологические познания. Может быть, он сумеет [illegible] в себе и историческое чутье лексикона, [illegible] и формы настолько, чтобы стать создателем наиболее органического переложения китайского стиха на русский лад. Но критик-синолог может заметить только одно: при первом подходе к проблеме перевода, полученный результат будет стоять, в сущности говоря, вне всякой научной критики; перевод не будет подлежать тогда обсуждению и проверке, ибо он явится плодом непосредственного творчества, свои законы черпающего исключительно из самого себя же. Критику останется только наслаждаться таким переводом или эмоционально протестовать против него. На всякое же возражение переводчик ответит только: «Так оно представляется мне!» — и этим спор будет закончен.

Второй путь создает общую основу для суждений и позволяет находить общий язык для определений и формул. Мастер перевода, работая над китайским и русским стихом, устанавливает объективные положения, которые подлежат и сами обсуждению, и могут служить хорошим критерием для определений.

Третий путь предъявляет большие требования к самому критику, но также открывает доступ к объективной до некоторой степени оценке.

Синологу же — в противоположность простому читателю — несомненно желательно не только наслаждаться переводными работами Ю. К. Щуцкого, что будет, вероятно, всегда, но и иметь право их полностью оценивать с точки зрения своей науки.

Н. Конрад

● **Новый Дальний Восток.** Бюллетень Дальневосточного Отд. Всер. научной ассоциации востоковедения при Н. К. Н. Владивосток №№ 1 — 11 (в 5 вып.) 4 февраля — 20 июня 1923. Редактор Е. Г. Спальвин.

Еще в 1922 в г. Чите возник Дальневосточный Отдел ВНАВ, но после эвакуации Приморской области японцами он был перенесен во Владивосток (после некоторых колебаний), и там именно начал выходить его орган — «Новый Дальний Восток», как дополнение к московскому «Новому Востоку». В отделе собрались, повидимому, все местные востоковеды, которые работают и на Восточном факультете Дальневосточного университета, и связи между этими двумя учреждениями настолько сильны, что они возглавляются одним и тем же лицом — проф. А. В. Гребенщиковым, и редакция нового органа помещается в здании университета. Здесь мы видим и заслуженных деятелей 6. Восточного Института во Владивостоке (Е. Г. Спальвин, Н. В. Кюнер, А. В. Рудаков), и целую плеяду новых: китаист П. Ю. Крастин, японисты П. С. Ануфриев, Т. С. Юркевич, К. А. Харисский, монголист А. И. Клюкин и ряд других. Многие из них уже приняли участие в органе Отдела.

Задачи Отдела и его печатного органа намечены линией, усвоенной в Москве ВНАВ и его органом «Новым Востоком». Из напечатанного обмена торжественными телеграммами видно, что Отдел считает указания ВНАВ залогом наибольшего успеха и что эти указания поставили перед Отделом, на ряду с изучением Востока, укрепление революционных связей с ним. В унисон с этим звучат и те статьи (Е. Г. Спальвина, А. В. Гребенщикова, С. Подольского), которые пытаются осветить пути грядущего востоковедения. Общие мысли в них сходны и особой новизной не отличаются: по мнению авторов, новые востоковеды не должны следовать по стопам старых, которые и вообще-то мало сделали, и совершенно проглядели живой Восток и то, чем он живет; что таких востоковедов, которые могли бы ориентировать в текущей жизни Востока, во всем ее многообразии духовной и материальной культуры, пока еще не существует; что поворотным пунктом в русском востоковедении является «знаменательный» факт учреждения ВНАВ и что в будущем через деятельность востоковедов, руководимую ВНАВ, угнетенные ныне народы Востока должны познать многогранные ценности нового мира. Не входя в подробный разбор высказанных взглядов, во многом весьма спорных, необходимо однако отметить, что низкая оценка достижений востоковедения в прошлом и его влияния на другие области знания объясняется, вероятно, некоторой удаленностью Владивостока от более крупных центров востоковедения; что «знаменательный» факт остался мало заметным в этих центрах уже в силу одного того, что произошел он в сферах, довольно далеко стоящих от дела изучения Востока; что перечисленные в статьях рассадники востоковедения (увы, список их далеко не полный!) возникли, за немногими исключениями, не в последние годы и некоторые из них успели отпраздновать даже не один юбилей своего существования; что осуществление намечаемой программы будущей деятельности не преминет вызвать последствия, которые инкриминируются старым востоковедам, — пренебрежение обширными сторонами жизни Востока, — и во всяком случае не выдвинет востоковедов, которые могли бы разбираться во многообразии духовной и материальной культуры даже современного Востока. Приходится также напомнить, что чрезмерное увлечение интересами текущего момента часто создает условия, мало благоприятные для исследовательской работы; лучший пример этому представляет, вероятно, хорошо памятный дальневосточным деятелям случай, когда Восточному Институту была навязана роль обыкновенного цензора изданий на восточных языках в явный ущерб его прямым задачам. Но, конечно, взять верный курс дело не легкое; все зависит от того, кем востоковеды на Дальнем Востоке больше себя чувствуют: востоковедами — политиками или востоковедами — учеными; это предрешит характер их дальнейшей деятельности, и, судя по той энергии, с какой они приступают к ней, можно надеяться, что их согласованная работа даст — в том или другом направлении — вполне реальные результаты. Их сила, по сравненно даже с ВНАВ, в том, что они близко стоят к Востоку и во всяком случае знают его лучше.

Отметим статью Н. В. Кюнера: «К современным событиям в Китае», в которой автор со свойственной ему обстоятельностью рисует положение вещей в Китае за последнее время с момента провозглашения республиканского строя, а также интересную статью этнографа И. А. Лопатина: «Национальный вопрос на русском Дальнем Востоке», в которой отмечается вся важность изучения различных племенных групп, населяющих эту окраину; в списке этих групп необходимо «даур» перенести, на основании данных языка, из перечня тунгусских племен в перечень монгольских. Из коллекций И. А. Лопатина даны образцы зооморфного орнамента гольдов и изображение их божества. Один выпуск (№№ 6—9) посвящен празднованию 1 мая в странах Дальнего Востока, при чем особенно подробные данные принадлежат Е. Г. Спальвину о Японии.

Весьма ценными являются данные о положении востоковедения на русском Д. В. и библиографические заметки. Было бы желательно дальнейшее развитие этого дела и, в частности, расширение его на соседние страны в виду тех затруднений, с которыми сопряжено в настоящее время получение сведений о проявлениях умственной жизни на Дальнем Востоке. *Вл. Котвич*

● *В. П. Бузескул.* Открытия XIX и начала XX века в области истории древнего мира. Часть I, Восток. Петербург—1923. Издательство «Academia», стр. 202.

Девятнадцатый век заслуженно получил название «исторического», ибо это было временем расцвета исторической науки, но с тем же правом ему можно присвоить и название «археологического», ибо он ознаменован поразительными открытиями, раскрывшими целый ряд новых культур, новых племен, государств и рас. Культуры древнего Египта, Сумера, Аккада, Вавилона, Ассирии, Хетов и Эгейского моря, доселе почти или совсем неизвестные, вышли из недр земли, взрытой заступами неутомимых исследователей-археологов. Теперь, когда уже собран значительный материал, когда большинство древних языков расшифровано, когда в крупных чертах восстановлена история этих отошедших в вечность культур, настало время подвести итоги той самоотверженной открывательской работе, которая легла в основу научного изучения древнего мира. Такой сводной работой, носящей несколько историографический характер, является труд проф. Бузескула, первая часть которого, прекрасно изданная петербургским издательством «Academia», лежит перед нами.

Несмотря на то, что она принадлежит перу видного специалиста по истории Греции, неискушенного в сложных и запутанных проблемах классического востоковедения, она в общих чертах может являться руководством или введением в изучение истории древнего востока, хотя отрывочность изложения не дает полной картины для неподготовленного читателя.

Сводка всей предыдущей работы и теоретическая, а также и практическая подготовка последующих работ — вот задачи разбираемой книги, главная ценность которой заключается в умелом комбинировании изложения двух моментов: истории археологических открытий и краткого очерка результатов этих находок в связи с общим изучением истории древнего востока. Обильно снабженная цитатами из работ крупных ориенталистов и выдержками из памятников, она ставит читателя лицом к лицу с изучаемыми эпохами и знакомит его с методами их исследований, что делает эту книгу и занимательной, и поучительной.

Посвященная обзору открытий, сделанных в области древнего востока, книга проф. Бузескула естественно распадается на три крупных отдела, носящие следующие подзаголовки: 1. Египет, 2. Ассиро-Вавилония, 3. Остальные страны Передней Азии. Странно лишь то, что самобытный и сплоченный мир Эгейских культур, так тесно связанных и по времени, и по духу с древним востоком, не нашел себе места в разбираемом очерке. Конечно, возможно, что автор предполагает отнести его рассмотрение ко второй части своего труда под названием «Древне-греческий мир», этим самым подчеркивая его более тесную связь с классической Грецией.

В первой главе, посвященной Египту, автор говорит об открытии Шампольона, о работе его последователей и учеников во Франции, в Италии и в Германии, об экспедиции Лепсиуса, о работах Бругша, Дюмихена, Эберса и де-Руже, об организационной, археологической и научной работе Мариэтта и Масперо, об основанной последним французской школе египтологии, об Адольфе Эрмане и берлинской школе его сотрудников и учеников, главная заслуга которых заключается в научной разработке древне-египетского языка, об английских и американских раскопках в Египте, о русских египтологах и, наконец, о самых последних открытиях, доходя до сенсационного открытия 29 ноября 1922 г. гробницы фараона 18-й династии Тутанхамона.

Как ни подробен местами этот очерк, он все же страдает некоторой неполнотой. Многое в нем опущено, а многое изложено неточно. Так, например, несколько преуменьшена колоссальная научная деятельность Бругша, которого можно считать одним из основателей современной египтологии и которому Бузескул посвятил всего одну страницу своего очерка. Бругш, обладая колоссальной эрудицией и большим историческим даром, вложил свою долю работы почти во все области египтологии, особенно много дав для изучения египетского языка и египетской религии. Ведь почти до самого последнего времени его египетский словарь являлся единственным пособием при чтении египетских текстов и теперь только отчасти вытеснен глоссарием Эрмана.

Затем проф. Бузескул совсем не останавливается на одной из крупнейших проблем египтологии, на вопросе о происхождении египтян, тесно связанном с последними раскопками в Абидосе, Коптосе и Негаде, на вопросе, который до сего времени не разрешен и посему является спорным и интереснейшим пунктом, на котором сталкиваются мнения виднейших египтологов. Автором совсем опущены работы в этом направлении де Моргана, Капара и Амелино, из которых последняя (E. Amelineau, Prolegomènes a l'étude de la religion egyptienne. Paris 1908 — 1916. Vol. 1—2), представляет особенный интерес по свежести материала, по удачному подбору аргументов и по тому искреннему энтузиазму, с которым Амелино отстаивает свою теорию о праафриканском происхождении египтян и о выходе их из центральной Африки. Наконец, проф. Бузескул почти ничего не говорит о раскопках Нью-Йоркского Музея Искусств в Лиште и Фивах, которые велись им вплоть до 1922 года и дали интереснейшие результаты, среди которых мы, например, можем отметить находку папи-

русов жреца Хеканахта, ярко обрисовывающих экономическую жизнь Египта в эпоху Среднего Царства. Мы здесь привели только несколько пропусков, список которых можно было бы сильно пополнить.

Перейдем теперь к неточностям и неправильностям, которые мы считаем необходимым отметить и исправить. Автор по-видимому не дает себе отчета о строении древне-египетского языка, когда утверждает, что для облегчения понимания и чтобы избежать недоразумения, прибавлялись отличительные знаки, указывавшие, есть ли данное изображение образное, идеографическое, или же слоговое, буквенное (стр. 13). Детерминативы или определители, как их принято называть, и о которых здесь, очевидно, говорит автор, ставились на самом деле безразлично при фонетическом или символическом комплексе, но всегда только после целого слова, указывая на его значение и являясь таким-образом, непроизносимой идеограммой. Следовательно, детерминативы служили не для отличения идеограмм от слогов, как то думает проф. Бузескул, а для более точного определения словесных групп. А следующее за этим категорическое утверждение автора, что «для употребления их (т. е. разных категорий знаков) существовали особые правила» (стр. 13) надо, конечно, понимать со значительной долей скептицизма. Бесконечное количество вариантов написания одного и того же слова, то полностью всеми звуками, то слогами, то одной только идеограммой, а то какой-либо комбинацией этих способов, заставляет нас сильно сомневаться в существовании таких «определенных правил» древне-египетской орфографии. Далее, на стр. 28, автор уверенно помещает Пунт, страну богов и благовоний, «у южной оконечности Чермного моря, на африканском берегу (Сомали)». Не споря против этого категорического утверждения, следует указать на то, что здесь возможны и другие географические комбинации, например, помещение Пунта в южной Аравии, как высказываются некоторые египтологи. Иногда можно исправить ссылки автора на местонахождение в настоящее время некоторых памятников. Стэла Хену, вельможи эпохи Среднего Царства, жившего при фараоне одиннадцатой династии, Иниотефе Великом, которая находилась в московском Румянцевском Музее, со всей египетской коллекцией отдела древностей Румянцевского Музея была передана еще в 1921 году в Музей-Институт Классического Востока, где помещается также и богатое собрание клинописных таблеток, о котором говорит автор на стр. 151, без указания его местонахождения.

Отмечу теперь еще один промах автора. Говоря об египетской и ассиро-вавилонской религии, он иногда характеризует все древне-восточное мистико-магическое миросозерцание насмешливым названием «господство суеверий и магии» (стр. 182) или «нелепые магические формулы» (стр. 41). В этом сказывается известное незнание эпохи, ибо нельзя мельком или с улыбкой проходить мимо той мощной стихии, которая владела душой древне-восточного человека, обусловливая весь склад его мышления и психики. Не понимая магии, нельзя понять ни египетской, ни вавилонской религии, искусства и науки, веры в силу слова и имени, в действительность магического ритуала и в загробную жизнь, нельзя понять и древне-восточной литературы, насквозь пропитанной магизмом, всего склада жизни того времени и всего строения души древне-восточного человека. Вообще проф. Бузескул с бо́льшим интересом останавливается на древне-восточной морали, чем на богатой и яркой мистике того времени, которая однако гораздо более характерна для созерцательного Востока.

В заключение отмечу еще одну маленькую деталь: в своем прекрасном и содержательном очерке панвавилонизма проф. Бузескул указывает на проф. Р. Ю. Виппера, как на сторонника этого теперь скомпрометированного научного направления. После того, как вышла любопытная брошюра Виппера «Кризис Исторической Науки» (Казань — 1922), было бы неосторожно делать такие утверждения, т. к. весьма возможно, что ее почтенный автор, отказавшийся в ней от бо́льшинства своих прежних исторических взглядов, вместе с тем изжил в настоящее время и свой ранний панвавилонизм, который следует считать результатом временного увлечения. В этом книгу проф. Бузескула упрекнуть нельзя, ибо, несмотря на неизбежные недостатки, пробелы и неточности, она все же остается хорошим, сжатым и содержательным очерком истории открытий XIX и начала XX века в области изучения древнего, вернее классического, Востока.

В. Авдиев

● *А. А. Васильев.* **История Византии.** Византия и крестоносцы. Эпоха **Комнинов** (1081 — 1185) и **Ангелов** (1185 — 1204). Петербург (Изд. Academia) 1923. 8° стр. 120.

Автор—историк византинист, хорошо известный востоковедам двухтомным исследованием «Византия и арабы». Настоящая работа примыкает не столько к этому труду, сколько к «Лекциям по истории Византии», опубликованным в 1917 году: изложение первого тома лекций было доведено до эпохи крестовых походов, и настоящая книга представляет полезную замену отсутствующего второго тома. Содержание обусловлено приблизительно тем же планом; главное внимание уделено внешней династийно-политической истории. Особый отдел посвящен все же очерку внутреннего состояния, хотя автор и оговаривается (стр 98 — 99) о невозможности в настоящей стадии разработки дать стройное представле-

ние в особенности относительно этой эпохи. Для востоковедов и эта книга представит интерес в частности потому, что в ней уделяется систематическое внимание отношениям к востоку, в особенности туркам-сельджукам. Арабы в Сирии и Палестине в эту эпоху уже выходят за круг зрения автора, поскольку они не сталкиваются непосредственно с Византией. Таким образом события крестовых походов, развертывающиеся в этих странах, освещаются лишь в общих чертах, преимущественное же внимание уделяется отношению их к Византии. Выяснение многообразных пружин и предварительных стадий часто помогает верной оценке дальнейшего развития на востоке. В этом смысле книга А. А. Васильева является полезным коррективом к работе О. А. Добиаш-Рождественской (Эпоха крестовых походов. Петроград, 1918), которая характерна преимущественно с западной точки зрения и мало считается с источниками восточными и даже византийскими. Особенно интересно освещение четвертого крестового похода (стр. 70 — 89), который непосредственно, казалось, не задел стран, служивших прямым объектом этого движения, а на самом деле совершенно изменил картину международных политических и экономических отношений. Было бы очень желательно, чтобы автор в дальнейшем довел свое изложение до падения Константинополя; тогда, благодаря его работам, мы будем располагать первым полным очерком истории Византии, написанным русским ученым. *И. Кр.*

● *П. Жузе.* Арабская хрестоматия. Баку, 6. г. 8⁰ стр. 50.

Число русских пособий для изучения арабского литературного языка крайне ограниченно, как в отношении грамматик, так и хрестоматий. Хрестоматия А. Болдырева, игравшая очень важную роль в первой половине XIX века, была вытеснена в 70-х годах большой хрестоматией В. Гиргаса и В. Розена, сохраняющей и до наших дней не только учебное, но и научное значение; об этом ясно говорит ее популярность на западе, несмотря на громадное количество аналогичных пособий, изданных европейскими учеными. К двум упомянутым хрестоматиям в 80-х годах прибавилась составленная М. Аттаей и служившая пособием преимущественно в Москве и Казани. В 1916 году она была заменена «Арабским изборником», составленным М. Аттаей и А. Крымским, который остановился на первом выпуске. Для учебных целей из большой хрестоматии В. Гиргаса была составлена начальная для 1-го курса, которая до войны выдержала 4 издания.

В нормальное время, при малом количестве востоковедных школ, эти пособия более или менее удовлетворяли насущным нуждам. Война и революция, нарушившие не только типографскую работу, но прервавшие регулярные сношения с западом и центром, поставили в безвыходное положение преподавателей восточных языков во вновь возникавших очагах востоковедения, обыкновенно на окраинах России. Приходилось думать о заполнении недостатка своими силами, и, естественно, появлявшиеся пособия носили на себе отпечаток условий, в которых зарождались.

В Ташкенте в 1921 году была переиздана учебная хрестоматия В. Гиргаса и В. Розена, но уже литографским способом и без словаря. Там же в 1923 году даны были с учебными целями выборки из одного раннего жития Мухаммеда. Нужды вновь основанного Бакинского университета вызвали появление работы декана Восточного факультета П. Жузе; отсутствие года на обложке не дает возможности установить, к какому времени она относится.

На внешности издания, конечно, сильно отразились типографские условия; мелкий шрифт, хотя достаточно четок, но для начинающих представит немало затруднений; отпечатки некоторых страниц (напр. 21 — 28) очень блеклы. С другой стороны, приятно радует необычно малое для провинциальных изданий количество опечаток.

Выбор текстов для хрестоматии [illegible] не может быть назван строго классическим, то отличается известной оригинальностью, даже несмотря на большое число аналогичных изданий на западе. После кратких фраз и пословиц (стр. 2 — 7) идут извлечения из корана (стр. 7 — 10), за которыми следуют, кажется впервые в арабской хрестоматии, отрывки из бехаидских произведений: «Священнейшей книги» (стр. 11 — 17) и посланий Абд-аль-Беха (стр. 17 — 20), о недавней смерти которого была речь в «Востоке» (№ 3, стр. 209 — 210). Так же необычно, если не считать «Арабского изборника», появление больших извлечений из арабской версии легенды о Варлааме и Иосафе — мировой повести индийского происхождения, популярной во всех литературах не менее Калилы и Димны (стр 21 — 36). Заканчивается хрестоматия отрывками из истории ат-Табари (стр. 37 — 50). Количество материала вполне достаточно для годового курса арабского языка, и можно надеяться, что новое пособие принесет свою пользу для востоковедения. *И. Кр.*

● Анналы. Журнал Всеобщей Истории. III. Петербург. 1923, стр. 304.

В разнообразно составленной, богатой по содержанию книге Анналов имеется ряд статей, относящихся непосредственно к Востоку. С. Ф. Ольденбург дает блестящую характеристику Эрнеста Ренана, основанную частью на личных воспоминаниях, по случаю столетия со дня его рождения (стр. 3 — 4). Ф. И. Успенский вновь возбуждает вопрос о научном значении записок известного еврейского путешественника XII века

Вениамина Тудельского (стр. 5 — 20). Анализ его сообщений о Константинополе заставляет подозревать, что они основаны не столько на личных наблюдениях, сколько на недостаточно проверенных, сбивчивых рассказах. Такое же впечатление производит и описание Багдада. Актуальный интерес представляет большая статья Е. В. Тарле «Англия и Турция. Исторические корни и развитие конфликта» (стр. 21 — 71). В ней дана характеристика ближне-восточной политики Англии с XVII века и всех перипетий турецкого вопроса вплоть до последнего времени. Материал привлечен богатый и свежий; изложение отличается свойственной произведениям автора живостью (хотелось бы видеть более точную передачу восточных имен вместо Гуссейн, Геджас и др.). В других отделах журнала обращает внимание рецензия В. Н. Бенешевича на книгу С. Лурье «Антисемитизм в древнем мире (стр. 246 — 248) и заметка В. М. Алексеева о золотой монете в Китае (стр. 299 — 300), впервые появившейся в 1916 г. за все многовековое существование Срединного Государства. Из библиографии узнаем (стр. 303) об издании во Франции трехтомной «Истории Азии», написанной Рене Груссе. Первый том посвящен древнему востоку, Исламу, латинскому востоку и крестовым походам, второй — древней Индии, древнему и средневековому Китаю и Индокитаю, третий — монголам, Персии, современной Индии и Китаю и Японии. Краткое содержание не дает, конечно, возможности составить представление о книге малоизвестного в востоковедении автора.

И. Кр.

● Туркестанский Восточный Институт. (1918 — 1922). Ташкент, 1922 (Издание Студенческого Комитета Т. В. И.). Литогр. 8⁰ стр. 15 + 30 + 101.

За последние шесть лет в области преподавания востоковедения в России замечается повышенный интерес к практическим институтам. Возникавшие в различных городах и в различной форме в зависимости от местных условий востоковедения, они не имеют еще сколько-нибудь длительного опыта. Самая жизнь их протекает до сих пор в ненормальных условиях постоянных реформ, не дающих возможности накопить этот учебный опыт в направлении определенного плана с тем, чтобы после длительного испытания его сознательно принять или, окончательно оставив, уже более не возвращаться по тому же направлению. В этом смысле полезно знакомство с опытом других заведений, и хороший почин сделали студенты Т. В. И., издав настоящую брошюру. Она содержит краткую историю возникновения и деятельности Института, приводит его положение, распределение предметов по курсам, программы, список преподавателей, условия приема. Четырехлетний опыт Института, переживавшего различные изменения, выяснил, повидимому, два основных положения, которые вытекают из всей брошюры: необходимость для практического учебного заведения теоретической научной базы и невозможность помимо обще-востоковедных задач по изучению страны и ее языка возлагать на Институт специально-ведомственные задания. Первое условие в Ташкенте сильно усложнено тем, что преподавание востоковедения в Ташкенте в университете почти совершенно прекращено и Институту приходится брать на себя, как видно из п. 1 «Положения», задачу учено-учебного заведения, чтобы не остаться без необходимой в практических целях научно-теоретической базы. Нарушение второго условия неизбежно влечет за собой перегруженность слушателей многопредметностью и вредит специально востоковедным занятиям, чем в корне подрывается и самый смысл Института.

Брошюра в силу технических препятствий издана литографским путем, не всегда достаточно четко; в интересах востоковедения было бы желательно ее переиздать в дополненном виде с расширением исторической части и большей систематичностью программ.

И. Кр.

● *Д. Валидов.* Татарская литература. Очерк истории образованности и литературы волжских татар. Выпуск 1-й, Госуд. Издательство, Москва-Петроград, 1923, стр, 106+1.

Судя по титульному листу, Госиздатом предпринята серия книжек «Татарская литература в переводах на русский язык под редакцией И. Радимова и Галимджана Шарафа». Очерк Джемаль-эддина Валидова, повидимому, служит как бы введением к этой серии. Ашмарин, Катанов, Вамбери, Вильямс и другие ознакомили уже европейских читателей с возрождением волжско-татарской культуры и с нарождением волжско-татарской литературы. «Всемирная Литература» в выпуске первом сборника статей «Литература Востока» (1919 г.) также представила схематический очерк по данному вопросу в связи с литературами других турецких народов. Повторяя и тем подтверждая в большинстве случаев сведения своих европейских предшественников, Д. Валидов сообщает немало и новых данных, и его популярно и интересно написанная, изящно и в общем аккуратно изданная книжка безусловно является положительным вкладом в популярную литературу о Востоке. Наименее удачной надо признать первую главу: «Турки и татары», дающую недостаточно правильное представление об этой группе народов и об ее численности, которая сильно преувеличена в согласии с ходячим среди турецких националистов мнением (около 70 миллионов). Мишари (стр. 5), вопреки утверждению

автора, называют себя в правобережной, по крайней мере, части Поволжья не татарами, а мишарями, и лексический состав их говора отличается от казанско-татарского, по отзывам самих мишарей, не только обилием русских слов. В последующих главах коротко обозреваются эпохи болгарского и казанского царств и время от покорения Казани до Пугачевского бунта, сообщается об основании духовного собрания и об усилении (автор пишет: о начале) сношений со Средней Азией, дается характеристика старометодных школ и очерк новометодного движения, отмечается очень крупная роль в истории культурного движения среди татар правительственной учительской школы (стр. 45) и затем изображается деятельность на поприще культуры, просвещения, науки и литературы отдельных лиц: Курсави и Мерджани («первые религиозные мыслители»); К. Насырова, Ф. Халитова и Ш. Рахматуллина (переводно-календарная литература); Исмаил-мирзы Гаспринского, Г. Баруди, Ахмед-бая; «защитников ислама и религиозных мыслителей нового типа»— Г. Баязитова, Р. Ибрагимова, Р. Фахруддинова, М. Бигиева и др. В последних главах (со стр. 77) рассматриваются отдельно деятели: просветительной и публицистической литературы (Ф. Керимов, Ю. Акчураоглы, Максутовы и др., а также участники журнала «Танг»), художественной прозы (Г. Исхаков, Ф. Алишаханов, Г. Ибрагимов и др.), поэзии (Акмулла, Гафури, Тукаев, Рамиевы), историографии (Мерджани, Р. Фахруддинов, Габаши, Атласов, З. Валидов и Г. Азиз). В заключение дается краткий очерк образования литературного языка и реформы правописания и алфавита.

К сожалению, в издании встречаются и иногда систематически повторяются некоторые досадные опечатки или описки: «джигатайский», вм. «чагатайский» (3,4), «ясан» вм. «ясин» (14,16), «хакмет» вм. «хикмет» (26), ориенталистка «Сарра Бернар» вм. «Гульнар» (Лебедева, стр. 64), «бей» вм. «бай» — «богач» (68,69). Слово «устаз», как известно, отнюдь не арабское (17).

Признавая серию «Татарской литературы» весьма полезной и желательной, мы надеемся, что последующие ее выпуски не заставят себя долго ждать и что они еще менее, чем настоящий выпуск, будут нуждаться в исправлениях.

А. Самойлович

● *Н. Сокольский.* Очерки современной Турции. Издание Закрайкома Р.К.П. Тифлис, 1923. Стр. IV + 207 с картой.

Очерки представляют собою предназначенную для широких читательских кругов компиляцию сведений только о политическом и экономическом положении Турции за время мировой войны, особенно же за период деятельности Большого Национального Собрания и Мустафы Кемаля, сведений, почерпнутых из русской и западноевропейской прессы с привлечением некоторых специальных работ. Вопреки допущению автора (стр. IV), очерки не «обладают весьма большими недостатками», и мы не нашли в них «много промахов», хотя и те и другие, конечно, в некотором количестве все же имеются. На ряду с другими аналогичными брошюрами, предназначаемыми для неподготовленных читателей, очерки действительно «явятся некоторым пособием для ознакомления с современной Турцией впредь до появления по этому вопросу более солидной и исчерпывающей работы, каковой в настоящее время вообще на русском языке не существует». Очерки написаны в спокойном тоне и довольно объективно, при чем автор учитывает, что «еще не настало время для подробного и всестороннего описания происходящих в Турции событий» (стр. III). Так, сообщая кратко о судьбе партии единения и прогресса после 1918 г. (стр. 46), автор, можно сказать, умолкает на самом интересном месте. Обилие затронутых в 23 очерках вопросов при небольшом сравнительно объеме брошюры побудили автора быть чересчур кратким в историческом введении (очерки 1 — 2) и, что особенно жалко, поскупиться на характеристики [illegible] политических деятелей Турции, из коих очень немногие попали в соответствующий очерк (стр. 55 — 58). Не уделено должного внимания таким первостепенным вопросам в деле возрождения Турции, как капитуляции — с одной стороны, и пути сообщения, — с другой; о тех и других говорится только попутно и вскользь (о первых стр. 92 — 94, 141; о вторых особенно на стр. 99). И в основной части, и в приложениях (стр. 182 — 205) приводятся статистические данные и официальные документы, при чем первые не новее 1918 года. Автор подробнее останавливается на событиях 1922 года, в исходе коего были закончены очерки.

А. С—ч

● *А. А. Диваев.* Киргиз-казацкий богатырский эпос: I — Копланды батыр (стр. 158), II — Нарик оглы Шора (24 стр.), III — Бекет батыр (27 стр.), IV — Камбар батыр (39 стр.), V — Шора батыр (59 стр.); VI — Алпамыс батыр (56 стр.), VII — Мирза Эдеге батыр (24 стр.). Ташкент, Туркгосиздат, 1922 г. Тираж 10.000 экз.

Журнал Нар. Ком. Просвещения Туркреспублики «Наука и Просвещение» (№ 2, окт. — дек. 1922 г.) дает ясное представление о тех трудностях, среди которых протекает самоотверженная деятельность работников школы и науки в Туркестане, и в частности — национальных научных комиссий: узбецкой, туркменской, таджицкой и киргизской (стр. 170 — 180). Тем более необходимо поведать свету о положительных достижениях этой деятельности. Пред нами — семь изящно изданных томиков кир-

гиз-казацкого богатырского эпоса, результат многолетней этнографической работы А. А. Диваева, собравшего эти тексты, и кратковременной (с 1921 г.) деятельности Киргизской научной Комиссии при Гос. Ученом Совете, содействовавшей чрез Госиздат опубликованию в интересах широких киргизских масс драгоценных памятников их народной словесности. Большая часть вышеназванных произведений в давние годы была напечатана в мало ныне доступных русских научных изданиях: «Сборнике материалов для статистики Сырдарьинской Области», «Ученых Записках Казанского университета» и т. п. Настоящее издание предназначается исключительно для киргизов, а потому не сопровождается русским переводом.

Необходимо оговорить, что в отличие от настоящих киргизов (кара-киргизов) киргиз-казаки, как это отмечено акад. Радловым и молодым туркологом проф. П. А. Фалевым (ум. 1922 г.), специалистом по эпосу турецких народов, не имеют самостоятельных крупных героических преданий, и большинство из вышеназванных былин — ногайского происхождения, что определенно явствует из их содержания. Из семи былин четыре принадлежат некогда господствовавшим в южно-русских степях ногайцам, остатки коих поныне уцелели в Крыму, на Северном Кавказе и в Астраханском крае и среди коих и поныне, судя по записям ак. Радлова (т. VII его «Образцов народн. литер. тюркских племен»), рассказывают о Копланде, Шорабатыре и Едигее [1]). *А. Самойлович*

Изучение и просвещение якутов

Э. К. Пекарский. Словарь Якутского языка. Издание Российской Академии Наук. Выпуск шестой. 1923. Стр. 160 in 4°.

С. А. Новгородов, Н. Е. Афанасьев, П. А. Слепцов. Якутский букварь с книжкой для детского чтения. Госпздат. 1923. Стр. 23 in 8°.

Якутская хрестоматия. Под редакцией *С. А. Новгородова*. Госиздат. 1923. Стр. 168 in 8°.

Рано погибший от туберкулеза талантливый студент-якут А. Н. Никифоров, приветствуя в 1912 г. акад. В. В. Радлова от имени якутского народа, говорил: «И чудится мне: чрез сотни... тысячи лет, когда нынешняя глухая якутская тайга, покоренная чудесами агрикультуры и техники, в состоянии будет питать многомиллионное густое население и рассадится многочисленными цветущими городами — о, я верю: настанет такое время! — тогда племя якутов или совершенно погибнет естественной физической смертью в неравной борьбе под гнетом тяжелой жизни, или якут, ассимилированный иноплеменным людским потоком, переработанный возрастающей культурой, забудет свой народный язык, потеряет даже свой физический облик и превратится во всемирного джентльмена, говорящего на общечеловеческом языке»... Минуло всего десять лет, и нынешняя якутская молодежь, ответственная за ближайшие судьбы своей родной молодой Автономной Якутской Республики, стоит уже лицом к лицу перед реальными задачами насаждения в «глухой якутской тайге» «агрикультуры, техники» и прежде всего — просвещения. И теперь еще явственнее, чем при жизни студента Никифорова, выступает значение «Словаря якутского языка», этого не только «поистине нерукотворного памятника «прочнее меди», который сохранит имя якутов на вечные времена, пока будет земля!» но и практически ценнейшего дара российских ученых и прежде всего Пекарского и Радлова сильному, жизнеспособному якутскому народу, в начале его национального возрождения.

Сорок с лишним лет с неослабевающим упорством трудится Э. К. Пекарский — сначала в якутской ссылке, а затем в Петрограде — над составлением, дополнением и печатанием своего замечательного словаря, пользующегося и в далеко не законченном виде мировой известностью среди специалистов. Радлов, Залеман, Готье дали уже самую высокую оценку этой образцовой по полноте и точности работе, история коей изложена в предисловии к первому выпуску (1907 г.) и в которой автор пользовался содействием ряда таких же, как и он сам, знатоков якутского языка во главе с недавно умершим крупнейшим якутоведом В. М. Ионовым.

Настоящий шестой выпуск (слова на буквы л, м, н, о), являясь первым за период с революции 1917 года, ни по внутренним достоинствам, ни по внешности (бумага, печать) не уступает дореволюционным и своим появлением обязан между прочим и Госиздату, который оказал автору и его сотруднику С. А. Новгородову материальную поддержку, выплачивая им в течение 1921 г. гонорар. Более половины словаря остается еще неизданной. Российская Академия Наук издательскими средствами весьма небогата, Э. К. Пекарский, перенесший тяжелую болезнь, более чем в прежние годы, нуждается для скорейшего окончания своего монументального произведения в освобождении от побочных заработков, и мы считаем своим долгом печатно заявить о необходимости специальных ассигнований на безотлага-

[1]) См. изданное на правах рукописи в Ташкенте (1922 г.) „Введение в изучение тюркских литератур и наречий» П. А. Фалева, стр. 12.

[1]) Интересная речь Никифорова издана в редкой брошюре: „75-летний юбилей дня рождения акад. В. В. Радлова", Петроград, 1912 г. (издание В. В. Святловского).

тельное и достойное завершение научно и практически важного издания.

С именами сотрудников Пекарского: В. М. Ионова и питомца Петроградского университета, начинающего ученого — якута С. А. Новгородова связан только что изданный «Якутский букварь», в основу коего положена рукопись В. М. Ионова и который имеет целью внедрить в якутские народные массы приспособленный С. А. Новгородовым при содействии проф. Л. В. Щербы и проф. Е. Д. Поливанова к якутскому языку международный лингвистический алфавит на основе латинского. Хотя предпринятые в этом направлении с 1917 года опыты в якутских школах дали уже по рассказам положительные результаты, все же пока преждевременно судить о том, насколько вводимый С. А. Новгородовым алфавит окажется практичным в своем теперешнем виде, но во всяком случае «Букварь» заслуживает внимания особенно потому, что в настоящее время у целого ряда восточных народов одним из животрепещущих вопросов является вопрос о реформе алфавита или о принятии нового, в частности—латинского, и игнорировать при этом якутский опыт было бы упущением. Букварь составлен применительно к современным приемам обучения детей грамоте, хорошо иллюстрирован, прекрасно издан и снабжен книжкой для детского чтения в условиях якутской жизни.

Отдельной книжкой под редакцией С. А. Новгородова издана подготовленная Комиссией по составлению учебников на якутском языке «Якутская хрестоматия», в коей применен вышеупомянутый алфавит и которая также снабжена хорошими иллюстрациями.

Материалом для хрестоматии послужили частью исполненные якутами переводы с русского языка (басни, стихи, мелкие рассказы), частью оригинальные произведения современных якутских писателей и педагогов. В отделе изящной литературы кроме переводов помещено несколько образцов народно-словесной литературы, стихотворения Анемподиста Софронова, одного из продуктивных якутских поэтов и драматургов, поэта-якута Алексея Кулаковского, супруги покойного В. М. Ионова — якутки Мар. Ник. Ионовой (проживает в Петрограде) и других. Исторический отдел, посвященный почти исключительно якутской истории, составлен К. В. Ксенофонтовым и С. А. Новгородовым. В. В. Никифорову принадлежит географический отдел (Россия, Якутия, общие географические понятия), за исключением статьи «Недра Якутии», написанной П. А. Харитоновым. Большая часть последнего отдела—медицинского—составлена врачом-якутом И. Н. Скрябиным, только статья о сибирской язве написана свободно владеющим якутским языком местным русским казаком, ветеринарным врачом А. И. Кондаковым.

Отлитый в Петрограде якутский шрифт отбыл в Якутию, и в ближайшее время издательская деятельность там, надеемся, разовьется. *А. Самойлович*

К столетнему юбилею дешифровки древне-египетского письма.

1. *И. Г. Франк-Каменецкий.* Гениальное открытие Шампольона. («Новый Восток» № 2 1923, стр. 456—493).

2. *Н. Д. Флиттнер.* Как научились читать иероглифы. Петроград, 1923, стр. 64.

3. *Adolf Erman.* Die Entzifferung der Hieroglyphen (Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften 26—1—1923. ss. 17).

4. *Adolf Erman.* Das Woerterbuch der Aegyptischen Sprache (Zeitschrift der deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft 1922. Band 76. Leipzig—1922. ss. 42—84).

27 сентября 1922 года исполнился столетний юбилей со дня открытия Франсуа Шампольоном ключа к чтению древне-египетского письма. Этот день следует считать первым вековым юбилеем молодой египтологической науки, сделавшей за это столетие громадные успехи и [illegible] на пороге истории новую невиданную культуру.

Статья И. Г. Франк-Каменецкого, посвященная этому юбилею, отличается самостоятельностью, содержательностью и богатством фактических данных. Автор с большой эрудицией раскрывает корни шампольоновского открытия и указывает на все попытки, делавшиеся до него в этом направлении. Перед взором читателя проходит ряд ученых, тщетно или с незначительными результатами пытавшихся проникнуть в тайны иероглифического письма древнего Египта, начиная от полумифического символиста Гораполлона и кончая трезвым естественником, англичанином Юнгом. Особенно подробно останавливается автор на споре Юнга с Шампольоном, отдавая пальму первенства талантливому французу, истинному отцу египтологии—Франсуа Шампольону. Наконец, последняя часть статьи Франк-Каменецкого вскрывает самый процесс работы Шампольона, подробно выясняя все переходные стадии его работы, все его неудачи и все его достижения.

Статья Н. Д. Флиттнер, приуроченная к тому же юбилею, носит иной характер и преследует, очевидно, иные цели. В ней говорится просто, кратко и сжато об открытии Шампольона, а затем дается краткий очерк древне-египетского письма. Эта последняя часть указанной работы, снабженная соответствующими иллюстрациями, обнаруживает популяризационные намерения автора. Научного и оригинального характера брошюра Н. Д. Флиттнер не имеет и не может быть сравнена в этом отноше-

нии с чрезвычайно интересным очерком Ф анк-Каменецкого.

Две статьи профессора Берлинского университета Адольфа Эрмана, крупнейшего современного германского египтолога, также вызваны этим египтологическим юбилеем. В первой из них автор кратко и компактно, но с обычной для него яркостью и силой излагает историю дешифровки иероглифов, приводя интересные данные о работах в этой области в XVIII в. де-Гиня и Карстена Нибура, о которых Франк-Каменецкий в своем подробнейшем очерке не говорит ни слова. А в своей второй статье Адольф Эрман дает всему ученому миру отчет о своих собственных работах в области изучения древнеегипетского языка, обнаруживая этим свою грандиозную, чисто-германскую трудоспособность. Дело идет о составлении полного словаря древне-египетского языка, предпринятого Эрманом в сотрудничестве с рядом немецких и иностранных египтологов. Работы в этом направлении начаты были Эрманом в Берлине в 1898 году и скоро достигают собственного четверть векового юбилея. В этих работах участвовало за это время 40 ученых, из них 29 немцев и 11 иностранцев. На первом плане стоят имена Эрмана, Брестеда, Гардинера, Юнкера и Сете; интересно отметить здесь также и участие нашего отечественного египтолога Голенищева, предоставившего Эрману в пользование свое богатейшее собрание египетских папирусов. В настоящее время собрано около полутора миллиона слов, извлеченных цитатами из подлинных текстов, и три четверти всей работы уже таким образом закончено. В случае окончания всей работы Эрман считает, что ее результатом будет словарь, размером в 2.000 страниц in-folio, и приложение к нему соответствующих цитат в размере 5.000 страниц in-folio. Таков тот грандиозный лексикографический труд, который предпринят германской школой египтологов и который обещает дать такие изумительные результаты. Невольно вспоминаются научные подвиги бенедиктинцев и Дюканжа, когда читаешь отчет Эрмана в его интереснейшей статье.

Несомненно, что появление этого словаря сильно подвинет вперед египтологию и вызовет ряд новых работ в этой области, но уже теперь авторы берлинского свода могут похвалиться большими достижениями благодаря их неутомимой и объединенной лексикографической работе. Так, например, именно из нее выросли большие публикации Сете «Тексты пирамид», Штейндорфа «Источники», Гардинера «Admonitions» и ряд других работ, еще не вышедших из печати. Таким образом, вспоминая о гениальном открытии Шампольона, мы должны признать, что дело его не умерло, а получило блестящее продолжение в руках европейских и американских ученых, непрерывно раскрывающих перед нами все новые и новые страницы из жизни величайшей культуры древности—Древнего Египта.

В. Авдиев.

● *В. Минорский.* «Цена крови» Грибоедова. Неизданный документ. 1923. 8° стр. 15 (Оттиск из «Русской Мысли», кн. III—V).

Литература о смерти Грибоедова достаточно обширна; это объясняется тем обстоятельством, что мы располагаем в данном случае не только русским и европейским материалом, но также и персидским. Последний неоднократно привлекался к исследованию; новый штрих в эту область вносит статья востоковеда В. Минорского. Благодаря содействию бывшего персидского министра народного просвещения, он знакомит (в переводе) с неизвестным до сих пор письмом шаха Фетх-Али-Шаха своему сыну принцу Али-Накы-Мирзе, вскоре после убийства Грибоедова. Принц в это время был губернатором в Казвине и, пользуясь переговорами с Россией, хотел получить с отца значительную сумму денег якобы в уплату за «цену крови» Грибоедова. В ответном письме шах, пораженный размерами этой суммы, излагает свои соображения о том, сколько можно было бы уплатить. Документ интересен для характеристики как тавризской жизни Грибоедова, так и обстоятельств, при которых произошло убийство. Издатель подробно комментирует письмо на основании печатных материалов, персидских источников и архивов миссии в Тегеране и консульства в Тавризе. В введении дана живая характеристика персидского периода Грибоедова и его отношения к востоку.

И. Кр.

● В журнале «Научное Обозрение» (№ 1, стр. 26—32) помещена статья проф. *П. Жузе.* «Из истории коммунистического движения в Исламе». В статье дается общий очерк исмаилитского и карматского движения с характеристикой внутреннего строя общины карматов в Бахрейне. Интересны цитаты из сочинения о сектах Абу-Мансура багдадского (XI в.), на которого только недавно обращено серьезное внимание европейской наукой.

И. Кр.

● Акад. *Агатангел Кримський.* Історія Персії та її письменства І. Як Персія, звойована арабами, відродилася політично (IX та X вв.) Київ 1923. 8° стр. 131 + III (Збірник Історично-філологічного відділу Української Академії Наук № 3, вып. 1, стр. 1 — 132).

В изданиях Украинской Академии Наук, благодаря вхождению в число ее членов б. профессора Лазаревского Института А. Е. Крымского, с самого начала уделено известное внимание востоковедению. В настоящее время, кроме отмечаемой вместе

с этим его работы о Хафизе, в Петрограде получена и первая часть Истории Персии. Для истории украинской науки работы А. Крымского составят несомненно эпоху даже в смысле выработки научной терминологии и языка: он — первый украинец, который имел возможность подойти вплотную к восточным источникам и стал излагать материал на родном языке; не бесполезны окажутся его работы и для нас, так как аналогичных общих обзоров в России почти не имеется. Данное произведение по существу не ново: оно представляет переработанное и дополненное издание первого выпуска «Истории Персии», которая вышла на русском языке в изданиях б. Лазаревского Института (в 1909 году, стр. 40 — 61). С той поры опубликовано немало новых источников, появились некоторые общие обзоры на европейских языках, принесшие целый ряд дополнений и поправок. Персия понимается автором не в ее нынешнем политическом смысле, а несколько шире; таким образом, в книге попутно захватывается история Туркестана, Закавказья и Месопотамии. По содержанию она посвящена преимущественно мелким династиям, начавшим приобретать более или менее самостоятельный характер в пределах бывшей Персидской империи. Первая глава дает общий обзор восточных источников и европейских пособий, вторая — обзор Ирана под управлением арабских наместников, третья посвящена династии тахиридов, четвертая — саффаридов, пятая — саманидов, шестая — мелким династиям на западе и юге Персии (алидам, зияридам) и началу буидов, седьмая — буидам в Багдаде. Кроме династийной и политической истории, сообщаются данные о культурной и бытовой. Особенное внимание уделено, естественно, саманидской династии в Бухаре, сыгравшей важную роль в развитии персидской литературы; приводится подробное описание известной бухарской библиотеки. Интересен обзор торговых сношений саманидов с Русью и славянскими странами. История династии буидов прервана в изложении на половине, так как автор получил известие, что в Англии издан ряд важных арабских текстов, относящихся к той же эпохе (см. Восток № 1, стр. 120); когда станет доступным это издание, он рассчитывает докончить работу отдельным выпуском. *И. Кр.*

● Акад. *Агатангел Кримський.* Хафіз та його пісьні (бл. 1300 — 1389) в його рідній Персії XIV в. та в новій Європі. Київ 1923. 8° стр. 1—192 (Збірник Історично-філологічного відділу Українськоі Академіі Наук № 9).

Во второй книжке «Востока» (стр. 148), давая отзыв о сборнике украинских стихотворений акад. А. Е. Крымского «Пальмове Гилля», я отмечал, что некоторые части благодаря вступительным статьям об отдельных восточных поэтах легко могли бы превратиться в самостоятельные монографии. В настоящее время одна из таких монографий «о Хафизе и его песнях» лежит перед нами в издании Украинской Академии Наук. Отсутствие какого бы то ни было предисловия не позволяет судить о тех, вероятно, технических препятствиях, которые заставили ограничить выпуск 12 листами, оборвав печатание в средине фразы на стр. 192. Работа, таким образом, не закончена, но так как она прервана на 2-м добавочном экскурсе, то общий план достаточно ясен и теперь.

Весь выпуск распадается на три части: биография Хафиза с общими замечаниями о его поэзии и библиографией (стр. 1—49), антология из переводов на русский и украинский язык (стр. 50—121) и начало добавочных экскурсов (стр. 122—192). Первая часть в некоторых деталях представит интерес не только для общего круга читателей, но и для специалистов, так как в ней использован ряд новых источников с подробным анализом их в первом добавочном экскурсе «Об источниках для биографии Хафиза» (стр. 122 — 143). Не нужно добавлять, что монография является первым в России опытом сведения в одно всех данных о Хафизе, добытых европейской наукой; с этой стороны она послужит очень полезным и полным итогом. Сила А. Крымского в библиографии, и поэтому обзор русской библиографии про Хафиза, начиная с 1810 г. (стр. 45 — 48) немало поможет детальной разработке темы о персидских влияниях в русской поэзии, затронутой в общем масштабе в предшествующем номере «Востока» (стр. 113 след.).

Стихотворные переводы из Хафиза распадаются на несколько отделов. Украинские (стр. 51 — 63) принадлежат исключительно самому А. Е. Крымскому и знакомы уже читателям его сборника «Пальмове Гилля»; в эту книгу включены переводы только тех стихотворений (около 15), которые не приводятся дальше в русской передаче. Русские стихотворные переводы (числом 65), за исключением трех, в печати появляются впервые и принадлежат как самому А. Е. Крымскому, так и его ученикам. Составителю пришла удачная мысль—в дополнение к ним присоединить в выборках наиболее популярные из существовавших на русском языке переводов Прахова и Фета (39 номеров), которые руководствовались не оригиналом, а преимущественно немецким переводом Даумера. Их завершают две недавних (1918 г.) попытки В. Тардова с сохранением одной рифмы во всех строфах. Таким образом, весь этот отдел дает интересный материал преимущественно для истории русской поэзии и восточных мотивов в ней.

Гораздо шире, чем можно предполагать по теме, разработан второй, к сожалению еще не законченный, экскурс «История иссле-

дования Хафиза в Европе XVII—XVIII в.» (стр. 143—192). Того, кто знаком с работами акад А. Крымского, не удивит, что попутно с Хафизом он приводит данные и относительно Саади или, анализируя какую-нибудь работу о Персии, иногда на протяжении нескольких страниц, в конце констатирует, что о Хафизе в ней ничего не говорится. Не экономное в этом смысле привлечение материала оказывается, однако, очень полезным для тех, кто интересуется изучением Персии вообще. Автор дает полный анализ почти всех подорожников в Персию или посвященных ей работ не только за период XVII—XVIII века, но и за предшествующий, не забывая и нашего Афанасия Никитина. Библиографический талант его обнаруживается здесь в полной мере, и можно с уверенностью сказать, что не с одним именем или не с одной книгой впервые столкнется здесь и человек, много работавший над Персией. Изложение доведено только до путешествия шведа Энгельберта Кемпфмера (1684—1688), и по плану автора впереди еще весь XVIII век, который доставит гораздо более обширный материал. Остается только пожелать, чтобы обстоятельства возможно скорее позволили автору довести до конца его работу, за которую будут благодарны не одни украинцы.

И. Кр.

● Китайское издание старых текстов.

Соединение в одном издании драгоценных текстов, осуществленное буддистами (Трипитака, Саньцзан), а за ними даосами (Дао-цзан), подсказали и прочим китайцам верную мысль о необходимости собирать в одно издание разобщенные тексты. Начались обильные перепечатки старых ксилограмм и рукописей, так что в настоящее время, если иметь нужные для этого суммы, можно, не утруждая себя трудною поездкой в далекий Китай, выписать по каталогам все имеющиеся на рынке издания этого типа и быстро составить превосходную библиотеку, состоящую из воспроизведения редких изданий, с одной стороны, и полезных научному исследователю справочных, с другой. Весь вопрос в том, насколько воспроизведение надежно, насколько точно оно воспроизводит хорошее издание и насколько это издание действительно хорошо. Здесь уже надо быть осторожным и при тщательном пополнении библиотеки выбирать да выбирать, что по каталогу сделать никак невозможно.

Упорядочить это дело и дать читателю превосходный выбор надежных изданий, перепечатанных фоторепродукцией в одной серии, взялось, как ни странно, на первый взгляд, издательство, известное под названием Commercial Press в Шанхае, которое, как будто, преследует лишь практические цели, а на самом деле ставит себе и общекультурные задачи. Располагая огромными средствами, это издательство устроило особую библиотеку отличных старых изданий литературных текстов, так наз. Хань фэнь лоу, которые и задалось целью воспроизвести.

Эта высокая задача привлекла к издательству симпатии выдающихся современных научных и культурных деятелей, среди которых видим, например, почтенное имя археолога Ло Чжэньюя и которые принесли для переиздания в Commercial Press (кит. Шан у инь шу гуань) свои собственные коллекции, хранившиеся доселе за семью замками и печатями, никому не показывавшиеся. Получилось колоссальное издание 347 старых книг в 2100 томах, обнимающих собою все наиболее достойное и важное из всей китайской литературы, Издание называется «Собрание перепечаток четырех отделов литературы», т. е. классиков, историков, философов, поэтов (Сы бу цун кань). Примечательно, что эта задача, казалось бы, столь чуждая новому Китаю, ищущему спасения в европеизации, только ему и могла быть по силам, так как успехи техники, с одной стороны, и любовь к старине, пробудившаяся с необузданной силой у крупных культурных людей с недюжинной энергией, могут делать чудеса.

И действительно, вся эта масса книг была издана в течение 4 лет (1919 — 1922) при посредстве самых современных наилучших технических приемов, что дает каталогу-оглавлению повод радоваться завершению предприятия, давшего возможность «в эти тревожные для Священной Страны (Китая) дни ее унижения, без всякой помощи государства сохранить знаменитые произведения и не дать прерваться великим истинам, речам великих тайн». Это издание имеет перед бесчисленными прочими ему подобными целый ряд преимуществ.

Здесь собраны, прежде всего, произведения, в достоинстве которых никто никогда не сомневался, а не мелкие заметки полиграфов, зачастую наводняющих серии других издательств. Все эти издания являются самой отборной пищей для культурного китайца, который, как известно, читает произведения III в. до Р. Хр. с одинаковою эмоциею, как и произведения XX в. по Р. Хр, (речь идет пока о произведениях старого типа).

Затем, здесь собраны произведения в интегральных репродукциях, а не частичных извлечениях, наполняющих, как известно, огромные китайские энциклопедии (Юн Ло дадянь, Тушу цзичэн).

Издание состоит исключительно из старопечатных книг, по традиции восходящих ближе всех других к оригиналу. Впрочем, издатели не руководились одним лишь соображением даты, а делали предварительно критическую оценку издания и определяли его пригодность к репродукции (в смысле, например, читаемости, ненарушаемости текста и т. д.).

Технические приемы дали возможность соединить самые разнообразные форматы оригиналов в один и напечатать всю серию с таким расчетом, что каждый том столь достойного издания обходится читателю дешевле первого попавшегося на рынке литографированного.

Принцип репродукции соблюден со всею строгостью, по завету Конфуция «передавать, а не сочинять» (шу эр бу цзо), так что книга есть фотокопия оригинала. Комментаторов также брали исключительно старых.

Наконец, старались давать оригинальные вещи, а не их фиксированные ассортименты типа «Полного сборника Танских стихотворений», как бы совершенны эти сборники ни были.

Нечего и говорить о том, что приобрести это издание, которое я видел в Британском Музее Лондона, значит создать надежный фонд библиотеки, которая обычно состоит из подозрительных новейших изданий, основанных неизвестно на какой традиции. С этим изданием в большую библиотеку входит научная лаборатория, а это задача всякого востоковедного ученого учреждения. *В. Алексеев.*

● Новое издание даосского канона.

— Чун инь Чжэн Тун Даоцзан ян бэнь (кит. иерогл.)

— Reproduction of the Chêng-tung library of Taoist literature (перевод). 1923.

Огромная философская и религиозная литература даосов, осложнившаяся подражанием буддийской, потребовала каталогизации, которая в 1346 году и была сделана в виде каменописной стэлы - памятника. В 1445 году (Чжэн Тун, 10 год) каталогизация коллекции была изменена, и все томы расположены в системе известного «Тысячесловия» (Цянь цзы вэнь) — текста, состоящего из неповторяющихся слов, а в 1607 году система была закончена в виде 520 томов, содержащих 5485 отдельных томиков (тетрадей в папке). Клише для этих текстов портились и исчезали, пока, наконец, не были уничтожены окончательно в пожарище 1900 года. Тогда оказалось, что кроме известного даосского монастыря «Белых облаков» (Бо Юнь Гуань), что под Пекином, нигде и ни у кого нет полного канона. Да и этот последний, при многих своих достоинствах—в смысле несомненно древних изданий во многих своих частях,— насчитывает немало позднейших реставраций.

Несмотря на всю свою важность в историческом и литературном, не считая всех других, отношениях, императорская библиотека Цянь Луна этот канон,—как, впрочем, и буддийский, — целиком не поместила, что не помешало, однако, ученым этой эпохи оценить многие отдельные произведения — части этого канона — по достоинству и тщательно работать над критикою их текста и изданием его. Издания эти по условиям того времени могли быть лишь частичными, ибо сильный и совершенный в этом отношении императорский патронаж не распространялся на даосскую литературу. Теперь, с усвоением китайцами европейского взгляда на науку и служение ей, группа просвещённых китайцев, во главе с бывшим президентом республики Сюй Шичаном, финансировавшим предприятие, затем реформаторов Кан Ювэя и Лян Цичао, политических деятелей Чжао Эрсюня, Сюн Силина и др. издаёт при помощи известного шанхайского издательства Commercial Press (Шанхай Шан у иньшу гуань) литографское воспроизведение полного даосского канона по сохранившемуся в означенном монастыре экземпляру, изменив прежний стиль книги-складки (гармоники) на более удобный, тетрадочный. Эти тетради небольшого размера чёткого письма со всеми нужными библиографическими обозначениями. Вся библиотека (ибо иначе это собрание нельзя и назвать) будет содержать в себе 1.200 томов и около 200.000 страниц. Предположено издать 100 экземпляров. Цена издания (408 америк. долларов), конечно, многих отпугнёт, но что касается Европы, то Берлинская и Лондонская библиотеки уже заказали себе по экземпляру, и если сейчас же не заказать такового в Петрограде, то придется попрежнему ездить за китайской книгой в Европу. А между тем, для изучения даосизма наступает новая эра. Парижская школа синологов, имея, к тому же, в своем распоряжении часть оригинальных ксилограмм, уже вводит даосские тексты в научные университетские программы, и синология, вообще, принимается за даосизм с серьезным филологическим подходом. Многочисленные синологи немецких школ тоже используют это издание, как следует, ибо и у них есть поддержка в части ксилографической. В Петрограде же есть лишь извлечения из канона (Дао цзан цзи яо), не имеющие серьезного значения.

Новый Китай, хотя пока еще в лице старых деятелей, начинает быстро выполнять свою научную миссию и долг перед страной. Европейской синологии остается лишь воспользоваться представляющимся случаем и итти вровень с китайцами по пути к освещению сложных вопросов даосизма, основная проблема которого: учение Лаоцзы (Дао дэ цзин) волновала и волнует европейцев самых противоположных направлений: и ученых (около 100 переводов), и теософов, и беллетристов, и разных мыслителей, в роде Толстого. Однако, религиозная часть даосизма (напр., литургическая) еще сложнее.

В. Алексеев

● Chinese Paintings by Madame *Wu Hsing-fên*, the most distinguished painter of modern China. (Чжун Го цзиньши нюйцзе

да хуацзя У Синфэнь хуа: кит. иерогл.).—With coloured and collotyped reproductions, and described in Anglo-Chinese. 1915. (Шанхай).

В Шанхае давно уже существует ряд издательств, выпускающих репродукции знаменитых китайских мастеров старого времени. Более счастливым из библиотек, например американским, удалось уже закупить всё, что было выпущено, и в этом, конечно, будут каяться в свое время не они. Эти воспроизведения, к сожалению, не всегда первоклассные, но мастера, ими представленные, говорят за себя и, наконец, находят себе изумительные воспроизведения в Японии, а за последнее время и в Лондоне (Брит. Муз.).

К сожалению, методом лучших начинаний стремятся пользоваться и спекулянты, или в лучшем случае пошлые люди. Вслед за размахом богатых шанхайских фирм, многое проработавших для того, чтобы собрать свою жатву, идет и мелкая сошка, желающая собрать то же, но более легким путем.

Перед нами альбомчик произведений «знаменитой» художницы-живописца, дамы У (по мужу Тан) по имени Синфэнь. Из предисловия некоего ЧэньГо цюаня и некоего Ян И узнаем, что она—дочь богатой и культурной семьи, в которой живопись была удел[illegible], в том числе отца У, и что она вместе с мужем, собрав огромную коллекцию наилучших мастеров, издала каталог их (Худе Цючжай гуцзинь минхун), и что ее собственные произведения в Китае ценятся знатоками, которые даже целые книги написали по поводу ее картин. Наконец, на выставке в Риме (1919) ее картины приобрела итальянская королева, и притом за большие деньги. Таким образом, мы имеем дело с патентованною знаменитостью.

Самый альбом состоит из сорока картин, написанных на старые темы (пейзажи, цветы, птицы) и старыми приемами. Оказывается, художница только к этому и стремилась, и ее копии, как уверяет каталогизатор, трудно отличить от оригиналов. Да они так и называются: копия с такого-то, в духе такого-то... Конечно, для китайского живописца прославление его копии едва ли не лучше прославления его оригинальности, но est modus, и торопиться с величанием кописта никогда не следует.

К картинам приложен комментарий, состоящий из английских выдержек из книги проф. Джайлза («Введение в историю китайской живописи») и соответствующих им текстов китайских художественных трактатов (биографии Пейвэньчжай—шухуа пу), говорящих об оригинале, а не о подражательн[illegible]

В [illegible] введении Чэнь Гоцюань, между прочим, говорит о выгоде иметь у себя эту книжку-каталог, отличительной чертой которой (remarkable and special features) является несомненная дата—современность, тогда как картины старых мастеров часто являются подделками, и каталоги их, в силу этого, ненадежны. Кроме того, старые артисты слишком часто являлись узкими специалистами, замыкаясь в свои любимые темы и области, а мадам У пишет на самые различные темы, так что ее искусство должно считаться наиболее типичным всекитайским. Кроме того, она часто пишет с натуры, и «я,—восторгается Ян,—сравнивал ее картины гор Хуан с фотографией одного японца, но нашел, что ее картина живее, чем японская фотография». Наконец (Чэнь) долг каждого артиста воспроизвести в привлекательной форме наиболее высокие идеалы, вдохновить публику к действию и помочь Китаю выйти из нынешнего положения, устроив, т. обр., некий Ренессанс, и т. д. и т. д.

Этот бред досужих рекламистов в соединении со скверным воспроизведением посредственных копий, которые дама У сумела окружить подходящею литературой,—лучше было бы оставить в китайском виде, ибо не всякий легко переварит умозаключение Чэня, гласящее, что этой книжке надо было придать англо-китайский вид для того, чтобы поощрить других, особенно женщин-живописцев, которых в Китае так мало!

В. Алексеев

● *C. A. Kincaid.* Tales of old Sind. Oxford University Press 1923. Стр. VI+148 in 4°.

Сборник рассказов Кинкэда не научно составленный сборник и рассказан он даже в значительной мере по-европейски, и тем не менее мы бы посоветовали прочесть его всякому, кто хочет прочитать индийские сказки и войти в этот своеобразный мир. Дело в том, что рассказчик жил в Индии, общался с туземцами, читал их книги, слушал их рассказы и сказки, которые он любит. Все это дало ему, не специалисту, особое чутье и понимание, которые заменили знание. В книге не сказки, а легенды—рассказы.

Это рассказы о пламенной любви, о геройских подвигах индийцев и мусульман, темы баллад и героических песен. Этот богатейший материал только в незначительной еще мере затронут в превосходном издании сэра Ричарда Темпля «Пенджабские легенды», где даны тексты и переводы. К сожалению, число лиц, хорошо знающих туземные языки Индии, очень невелико, а сами туземцы только понемногу начинают собирать драгоценные памятники своей народной словесности, которая, как и в Европе, начинает исчезать под напором цивилизации, мало интересующейся старину. Надо пожелать, чтобы драгоценный материал, открывающий нам доступ к более глубокому пониманию Индии и индийцев, сохранен был нам не только в европейских пересказах, как в настоящей книге, но в подлинных записях из уст народных певцов и рассказчиков.

Пока будем все же благодарны и за такие сборники, как настоящий, которые дают возможность читателю узнать хоть что-нибудь о героической поэзии Индии.

Сергей Ольденбург

● *Gauranganath Banerjee* India as known to the ancient world Oxford 1921. II + 73 in 8°.

За последнее время, вместе с оживлением интереса к истории Индии, появилось и появляется немало книг, разбирающих вопрос об отношении Индии к Западу в древности. Сравнительно скудные греко-римские источники усердно изучаются и толкуются в свете новейших открытий. Чем больше изучаются эти источники, а также и богатый нумизматический материал, тем более становится очевидным, как обширны были в определенные периоды сношения Индии с Западом вообще и с греко-римским миром в частности.

К сожалению, на ряду с ценными и обстоятельными трудами общего характера и монографиями появляются книги, написанные весьма поверхностно и потому мало содержательные; ярким примером подобных книг является разбираемая здесь книга Г. Банерджи, носящая чисто компилятивный характер. Автор много работал над вопросом о Востоке и Западе, как видно из другого, более обширного его труда, и потому мало понятно, зачем он выпустил в свет столь бессодержательную книгу, как указанная в заголовке нашей заметки; мы не можем рекомендовать эту книгу.

Сергей Ольденбург

● *H. Clive Barnard.* India in Pictures. Containing fifty-three illustrations, thirty two of which are in colour, and also thirteen maps and diagrams. London 1922. Стр. 64 in 4° (Из серии Pictorial Geography).

Нельзя не приветствовать желания дать понятие о стране и ее жителях продуманным подбором рисунков, сопровождаемых кратким текстом. Так как главное в книге рисунки, то начнем прежде всего с указания недостающего: нам, кажется, следовало бы дать несколько образцов индийских архитектурных памятников до мусульманских и памятников индийского искусства и письма. Совершенно лишней являются фантастическая картинка войска Александра Македонского. В остальном прекрасный подбор картин сельской и городской жизни и природы самых разных частей Индии; красочные изображения оживляют книгу.

Карты менее удовлетворительны: нет ни общей политической карты, ни племенной, особенно интересной в Индии.

Текст без притязаний, местами очень удачный, как напр., в описании деревни и базара. Но текст мог бы быть значительно сокращен в некоторых частях, если бы автор прибег к цифрам, которые очень показательны; это дало бы ему возможность дать и немного исторических сведений.

Надо пожелать, чтобы и у нас появились скорее такие общедоступные описания стран и народов. *Сергей Ольденбург*

● *C. H. K. Marten.* Hints for Lectures on India. Prepared for the Visual Instruction Committee of the Royal Institute. (Visual Instruction Committee Handbooks № 1. New Series. London [1922] Pp. 40 in 8°. Price Sixpence.

Комитет наглядного обучения при английском Министерстве Колоний поставил себе задачею ознакомить широкие круги английского народа с английскими владениями при помощи лекций, сопровождаемых показанием картин при помощи волшебного фонаря. Лекции эти должны ознакомить с географией, общественной жизнью и экономическими возможностями соответствующих стран; из них 8 посвящены Индии, 6 Морскому пути на Восток, 8 Австралазии, 7 Канаде и Ньюфаундленду, 7 Южной Африке и 6 Вестиндии и Гвиане. Программа обширная и требующая большого умения использовать обширный материал так, чтобы заинтересовать мало подготовленного читателя. В 1919 г. устройство лекций и соответствующ[illegible] были переданы Министерством Колоний Королевскому Колониальному Институту, и тот решил несколько сократить программы для большого успеха лекций. Специальный Комитет заготовил и соответствующие тексты лекций, и диапозитивы, а кроме того рекомендует отдельные брошюры, особенно подходящие для лекторов. Сверх всего этого он издает книги, в роде настоящей, для руководства лекторов и в помощь им.

Темы, которые предлагают затронуть для Индии: Народы Индии, География Индии, Религии Индии и империя Великих Моголов, Северная граница и горы, Туземные государства, Города Индии, Деревенская Жизнь, Европа и Индия, Английское управление Индией.

Большое внимание, как и справедливо, предлагается уделить географии, и потому много диапозитивов-карт. У нас обыкновенно очень плохо себе представляют, где находятся страны, города, реки, горы, и приучить слушателя представлять себе карту дело крайне полезное. Большое внимание предлагается обратить на различные народы, населяющие Индию и на картины их повседневной жизни: как они добывают себе средства существования и чем живут материально и духовно. В этой важнейшей части лекций приходится сделать существенное замечание: Индия, о которой здесь говорится (хотя книга вышла недавно) это в сущности довоенная Индия, нечто совершенно иное, чем Индия сегодняшнего дня — гораздо более городская, промышленная и менее патриархальная.

Несмотря на это существенное замечание, книга интересная и полезная.

Сергей Ольденбург

● *Colonel T. C. Hodson.* The primitive culture of India. London 1922 (Royal Asiatic Society. James G. Furlong Fund vol I). Стр. 133 in 8°.

Настоящая книга представляет ряд лекций, читанных в Лондоне в 1922 году в «Восточном Институте» (School of Oriental Studies), входящем в состав Лондонского университета. Идеи, положенные в основу книги, интересны, автор собрал большие материалы и, видимо, много читал. Но, к сожалению, он совершенно не успел использовать собранный материал, постоянно перебрасываясь от одного вопроса к другому, часто повторяясь. Он страдает полной бессистемностью и никакого ясного представления о первобытной культуре в Индии не дает. Затронута масса вопросов, ни один не разъяснен и ни по одному ничего даже сколько нибудь похожего на исчерпывающее объяснение не дано. Трудно себе представить аудиторию, которая должна была воспринимать эту массу некоординированных фактов.

Иностранные цитаты приведены небрежно, также небрежны ссылки на литературу, и еще более небрежно составлен указатель. Идеи, из которых исходил автор, повторяем, интересны, но исполнение задуманного неудовлетворительно.

Сергей Ольденбург

● The Spirit of Islam. A history of the evolution and ideals of Islam with a life of the Prophet by *Ameer Ali,* Syed etc. London 1922. 8° LXXII + 516.

Амир Али — очень видная фигура среди индийских мусульман. Юрист с европейским образованием, он занимал ряд ответственных судебных и административных должностей в самой Индии, а последние годы живет преимущественно в Англии, сохраняя прежнее влияние как в мусульманском, так и в английском обществе. Известностью своей он обязан, конечно, не чиновной карьере, а литературным и публичным выступлениям, которые выдвинули его на одно из первых мест среди «модернистов» - мусульман, «новых мутазилитов», как они любят себя сами называть.

Это новое течение возникло в XIX веке при ближайшем соприкосновении с духовной европейской культурой у тех мусульман, которые желают остаться на почве ислама. Они стремятся доказать, что ислам, как религия, не носит в себе начал, противных прогрессу обще-человеческой культуры. Новым условиям жизни он может соответствовать не меньше, а иногда даже и больше, чем христианство. Путем критического отделения разных исторических наростов обнаруживается здоровое зерно; в прошлом оно вызвало мусульманскую культуру, абсолютное значение которой не отрицается и противниками ислама; такие же возможности несет это зерно и для будущего.

Апологетические задачи очень часто вызывают у модернистов большие увлечения; их тенденциозное рационализирование ислама редко удовлетворяет требованиям исторического рассмотрения. Однако, заслуг в поднятии общего уровня культурности в средних классах населения за ними никак отрицать нельзя. Благородная фигура Ахмеда Хана Бехадура (1817 — 1898) уже принадлежит истории; основанный им университет в Алигаре (1875) немало содействовал сближению индийских мусульман с Европой, так как среди преподавателей там часто бывали западно-европейские ученые. Выразителем духовных стремлений модернистов в печати с 70-х годов явился Амир Али; благодаря ему и Европа могла ближе познакомиться с этим течением, тем более, что его главные работы напечатаны на английском языке.

Число их достаточно велико: «Краткая история сарацин», «Мухаммеданское право», «Юридическое положение женщины в исламе» и др. Самым популярным является несомненно «Дух ислама», одно из переработанных изданий которого и является объектом настоящей заметки. Книга имеет за собой почтенную давность: первым изданием она вышла еще под другим заглавием в 1873 году; с той поры переиздавалась неоднократно как в Индии, так и в Англии (1891, 1895, 1904). Существует даже и частичный русский перевод, напечатанный в Берлине в 1902 году.

Книга захватывает предмет очень широко. Наметив в предисловии основные линии развития предшествовавших исламу религий в своей концепции (стр. XVII — LXXI), первую часть автор посвящает истории Мухаммеда (стр. 1 — 133), вторую обрисовке развития духовной эволюции ислама до наших дней (стр. 137 — 478). В отдельных главах второй части иногда чувствуется неравномерность и отсутствие внутренней связи между темами. Несмотря на это, она благодаря своему плану дает очень полное и яркое представление об отношении «модернистов» почти ко всем вопросам ислама в его прошлом и настоящем. С этой стороны мы имеем материал первостепенный и очень важный: все его значение хорошо учтено покойным Гольдциэром в его «Лекциях по исламу» и особенно в «Лекциях по коранническому экзегезу» (на шведском языке). Однако было бы очень опасно на основании книги Амира Али судить об историческом исламе: отсутствие критического подхода и апологетические тенденции сказались в ней так же ярко, как и полная убежденность автора, которая не может не вызвать уважения. Показателен даже самый повод к новому изданию: автор полагает (стр. VII), что теперь, после недавнего мирового катаклизма именно в исламе человеческий ум

может найти конструктивную основу для создания новой опоры духовного бытия. Едва ли, однако, реальные условия дают возможность ожидать обновления мира от каких бы то ни было религиозных учений. Личная убежденность и вера автора и в других местах заменяет объективные научные данные. История Мухаммеда излагается на основании легендарных источников с субъективным рационализированием их; развитие ислама дается в том аспекте, который автору кажется морально-желательным. С европейской научной литературой он хорошо знаком, но выбор ее крайне случаен; только мельком упоминается Гольдциэр, результаты исследований Вельхаузена, Каэтани, Ламменса, Беккера прошли для книги совершенно бесследно. Апологетическая тенденция иногда влечет несколько оригинальные следствия. Автору известны методы библейской критики, и он их применяет, поскольку речь идет о христианстве или иудаизме, но совершенно забывает, когда изложение переходит к исламу. Миссионерские трактаты против ислама Мьюра и Звемера часто вызывают его внимание; полемизируя с ними, он применяет их не всегда научные методы, и в результате некоторые главы его книги напоминают перевернутого на изнанку Звемера. Искренность автора, несомненно, подкупает читателя в его пользу, но все же по его книге можно составить представление только об одном из современных течений в исламе, а не о «духе ислама» в его исторической эволюции.

И. Кр.

● *Hsu Shih-Chang* (вместо Su Cheu-Tch'ang = Сюй Шичан), Président de la République de Chine. La Chine après la guerre, Paris 1922. Стр. 191.

Бывший президент Китайской республики написал эту книгу, как публицист-информатор и публицист-идеолог. В первой части он делает очень обширный, хотя в то же время чисто литературный обзор последствий войны и попыток к восстановлению политико-экономического равновесия. Только во второй части (со стр. 67) он начинает говорить о Китае, считая нужным дать нечто в роде беглой энциклопедии китайской цивилизации и культуры.

Так, он толкует о древности кит. цивилизации и экономической организации, включая сюда национальную характеристику: о китайских искусствах и богатствах, о производственных организациях и, наконец, об образовании. Третья часть посвящена идеологии и говорит о «жадных надеждах мира на Китай», о возможностях китайского прогресса, о «секрете постоянного мира» и надеждах Китая на будущее.

Основною задачей своей Сюй считает доказательство, — вернее, пропаганду той мысли, что Китай зависит от мира одновременно с зависимостью от Китая этого последнего в своей совокупности. Миссия Китая, при этом, оказывается, велика. «Война показала ярче, чем когда-либо, до какой степени Восток и Запад друг от друга зависят, и эта очевидность потрясла обе стороны. Никогда еще не представлялось более счастливого случая осуществить полную гармонию двух типов цивилизации. Кто же, спрашивается, в этой крайней необходимости лучше других может по своему положению эту гармонию вызвать к жизни? Наш ответ: Китай, и только Китай; Китай — это восточная цивилизация, и именно на него, непременно на него падает долг облегчить создание этой гармонии. Мы должны привить западную цивилизацию нашей, ибо последняя, как чисто интеллектуальная и моральная, не может длительно существовать, не опираясь на достаточное экономическое развитие. Но и мы должны распространить нашу собственную цивилизацию на Западе, ибо материалистическая философия кончила бы тем, что погубила бы весь мир, в том числе и Китай. Вот почему мы верим, что, ради собственного благополучия, или из альтруизма, наш народ выполнит свою миссию в точности».

Эта тирада покоится на определении Востока и Запада (стр. 166), перед которым президент не отступает, несмотря на вековечность проблемы. Ему все совершенно ясно, хотя он и признает, что говорит общими словами. «Интеллектуальная формация Запада, большею частью, порядка объективного (!) и материального, хотя она имеет и свою духовную сторону. Она придает значение вещам, ощущаемым и видимым, и основа ее прогресса в соревновании... Формация же Востока, наоборот, настаивает на нематериальной стороне цивилизации и думает, что социальная база есть самообладание и соподчинение людей». Возражений, очевидно, не предвидится, и это к лучшему, по крайней мере, для тех издателей, на которых Сюй рассчитал свою книгу.

Он, между прочим, не отказывается и от характеристики своего народа (стр. 68), которую делает не хуже любого миссионера из европейцев, привлекая к блестящим аттестациям и Конфуция, и легенды, ему предшествующие, и многое прочее, нужное для адвокатуры. Но человеку науки приходится пожалеть, что столь редкий случай появления книги, принадлежащей видному политику, не принес с собою объективности, которую, казалось бы, как ученик европейцев, он, по собственному же рецепту, должен бы был усвоить.

Единственным утешением для читателя является вывод самого Сюя, что урок дерущейся Европы должен подсказать Китаю, что и ему пора перестать драться. Но эти «должен, мы должны» наполняют ритмически-монотонно слишком много страниц для того, чтобы можно было поверить в осуществление всех этих долженствований. И чему могут тут помочь великолепные фразы, в роде следующей: «Будущее Китая

зависит от его народа, и каждый из нас должен (!) сознать важность роли, которую ему придется играть»?

Обильная фразеология скрывает, однако, в себе много полезного, в смысле информации, и может быть некоторым комментарием к China Year Book 1921/22. Но и только!

В. Алексеев

● Madame *Juliette Adam* (Juliette Lamber) L'Angleterre en Egypte. Paris 1922. 8⁰, страниц 416.

Книга принадлежит известной политической и общественной деятельнице, журналистке, долгое время издававшей собственный орган «Новое Обозрение». Ее первые выступления, обратившие внимание Европы, «в защиту угнетенных наций» относятся еще к 70-м годам: объекты ее интереса неоднократно менялись, но неизменным оставался живой отклик на обращенный к ней зов и умение итти вровень с событиями. Новая книга служит этому очень хорошим подтверждением. Египет близко привлекал симпатии Ж. Адан с 80-х годов после английской оккупации, но особенный толчок к интересу дало личное знакомство в 1895 году с Мустафой Кямилем, будущим основателем национальной партии, до последнего времени игравшей важную роль. В 1904 году Адан посетила Египет и, таким образом, почти в течение 50 лет с напряженным вниманием следит за его судьбой. Национальная партия, особенно на первых шагах, немало обязана ее содействию, как неоднократно заявлял и Мустафа Кямиль.

Книга преследует вполне определенные задачи: цель ее — «защита Египта с политической точки зрения» (стр. 12). Научного значения она, конечно, не имеет. Исторические экскурсы в область древнего Египта иногда могут вызвать улыбку; повторяется и отвергнутая наукой легенда о сожжении александрийской библиотеки Омаром (стр. 11). Нельзя требовать от нее и научной объективности: слишком близки все события последнего времени и слишком близкое участие принимал в них автор.

Значение ее — в первостепенном материале, приводимом в виде различных документов, писем, журнальных статей о Египте за последние 30 — 40 лет. Если очерк истории Египта до 80-х годов и в первое время после оккупации достаточно бледен и лишен выдержанного плана, то личные воспоминания о Мустафе Кямиле и создании национальной партии играют роль очень важного источника. Во многом они дополняют письма М. Кямиля и Ж. Адан, которые были изданы в 1909 году в Каире с арабским переводом. Такое же значение имеют документы по истории Египта после 1914 года; в приложении приводятся целиком и меморандум Мильнера 18 августа 1920 г., и Керзона 10 ноября 1921 г., равно как соответствующие заявления официальной делегации. Полностью во французском переводе дана и английская белая книга со всей дипломатической перепиской, предшествовавшей снятию протектората с Египта 28 февраля 1922 г., и объявлению его королевством. Помимо приложения, вся часть книги, посвященная этому периоду, содержит очень много данных и подлинных документов, впервые попадающих в Россию. Для установления правильного хода событий она будет очень полезна уже тем, что даст возможность внести некоторый корректив в материалы с более распространенной английской точкой зрения.

И. Кр.

● Abû Dolâma. Poète bouffon de la Cour des premiers Califes abbassides par *Mohammed Ben Cheneb*. Alger 1922. 8⁰ стр. 168.

Одна из французских диссертаций, о которых была речь в прошлом номере «Востока» (стр. 167), в настоящее время получена в Петрограде. Тема выбрана удачно и представляет интерес не только для узкого круга специалистов по арабской поэзии, но и для всех желающих ближе познакомиться с культурной жизнью халифата накануне его расцвета. Абу Дуляма стоит на рубеже двух династий — омейядской и аббасидской, при которой протекло около 25 лет его жизни (ум. в 777 г.); эпохи Харуна ар-Рашида он уже не дождался. По своему облику личность его мало симпатична: он представлял тип распущенного придворного шута, все помыслы которого направлены на подачки. Проделки окружают его ореолом бродячего литературного типа, такого же как Ходжа Насреддин или Джуха; историчность их очень часто подвержена сомнению, так как с одинаковой легкостью они приписываются разным лицам. Самые анекдоты, однако, очень живо рисуют эпоху со всеми ее неприглядными сторонами морального упадка в городских крупных центрах. Для поэзии они дают меньше: Абу Дуляма звезда не первой величины, и среди его современников нам известны более славные имена, более благодарные для литературного анализа. В полном отсутствии таланта его обвинить, конечно, нельзя, и, например, чертами неподдельного юмора он, несомненно, превосходит многих известных нам поэтов того же периода. Живой рассказ про купленную в долг невольницу (№ 44) заставляет забыть и про то, что цель его — получить средства на уплату этого долга; знаменитое описание мула, объединявшего в себе все пороки (№ 45), трудно читать без улыбки.

Перед автором диссертации—природным арабом, известным уже ученым и профессором в Алжирском Медресе, стояла трудная задача: дивана (собрания стихотворений) Абу Дулямы до наших дней не сохранилось, и его отрывки приходилось собирать

по различным источникам. Большая начитанность позволила ему объединить около 50 отрывков, составляющих больше 270 стихов — материал, вполне достаточный для суждения о личности и творчестве. Главное внимание обращено на биографию поэта (стр. 19 — 102), меньшее—анализ стихотворений (103 — 129). В приложении дан текст собранных отрывков (131 — 160); все они переведены в соответствующих местах исследования. Работа производит вполне добросовестное и серьезное впечатление; с основной мыслью автора, что лишь путем аналогичных монографий выработается научная история арабской литературы, нельзя не согласиться. Для аббасидского периода, благодаря его труду, мы делаем шаг вперед.

И. Кр.

● *H. Lammens, S. J.* La Syrie. Précis historique. Volume I — II. Beyrouth, 1921. 12°, стр. X + 280 + 278.

Среди богатой уже литературы, вызванной интересом к странам ближнего востока в связи с событиями последних лет, книга Лямменса по праву займет одно из первых мест. Она одинаково интересна и как результат самостоятельной разработки отдельных вопросов или исторических периодов, и как живо написанный учебник, и как едва ли не первое связное изложение истории Сирии за последнее десятилетие. Автор — один из крупнейших авторитетов по истории Сирии за омейядский период; его работы в этой области по заслугам ставятся на одну линию с трудами Вельхаузена, Медникова, Каэтани. Он не меньший знаток Мухаммеда и ранней истории ислама, — один из тех, чьи труды знаменуют первый крупный шаг вперед в исламологии после Гольдциэра. Нельзя не вспомнить и мастерской дар изложения, одинаково свойственный ему и в строго специальных исследованиях, и в популярных обзорах. Постоянное внимание к культурно-бытовой стороне истории поддерживает интерес и случайного читателя; иллюстрирующие цитаты из арабских и европейских первоисточников умело оживляют изложение, дающее местами художественные картины. Для данной работы большим преимуществом является и то, что Лямменс — наполовину сириец. Бельгиец по рождению, он уже с 80-х годов живет в Бейруте, который кроме случайных поездок покидал только на несколько лет для Каира и Рима, где был некоторое время профессором библейского института. О событиях последних лет в Сирии он может говорить поэтому, почти как очевидец, и это придает соответствующей части книги двойную цену.

Материал, доставляемый ею, в некоторых отношениях уже заглавия, в других шире. Это — история Сирии собственно в мусульманский период: всему предшествующему периоду, начиная с третьяго тысячелетия до Р. Хр., посвящено только 29 страничек. В дальнейшем зато мы находим целый ряд глав, которых от обычной истории Сирии нельзя было бы требовать. Эта часть открывается мастерской характеристикой до-исламской Аравии, которой посвящен один из капитальных трудов автора; в общих чертах излагается история Мухаммеда и первоначального распространения ислама. Только с завоеванием Палестины и Сирии автор сосредоточивается на поставленной в заглавии теме. Центром его изложения является период омейядов, и эти главы книги — едва ли не лучшие во всем труде. Здесь очерчена вся культурная и экономическая жизнь эпохи; отчетливо обрисована и выяснена постепенная исламизация и арабизация страны. От периода аббасидов почти до крестовых походов Сирия оказывается в положении провинциальной области; к этому отделу Лямменс приурочивает характеристику общей эволюции ислама с развитием его догмы и появлением различных сект. Крестовые походы он считает первым этапом проникновения «франкского» элемента на арабский восток и поэтому обрисовывает ранние фазисы еще в предшествующую эпоху, начиная от сношений с Европой при Карле Великом. Период крестовых походов — такая же яркая глава книги, как и эпоха омейядов. Второй том посвящен последующим векам с подчинением Сирии первоначально Египту, затем Турции. Среди многочисленных местных династий за это время Лямменс особенно выделяет манидов с фигурой знаменитого Фахр-ад-дина (1585 — 1635), хорошо знакомого Европе той эпохи. В попытке его объединения Сирии автор видит идею осуществленного позже «великого Ливана» и формулировку «полной программы ливанского национализма». Изложение дальнейших судеб Сирии и особенно Ливана в XIX и XX веке будет прочтено и не специалистами с особенно живым интересом. Здесь затрагиваются вопросы, уже близкие к современности: французское влияние с 1860 года, различные политические течения в Турции, период младо-турков и развитие пантуркизма или туранизма, пробуждение арабского национализма, события 1914 — 1918 года, операции маршала Алленби, «авантюра» Фейсаля, занятие французами Дамаска 25 июля 1920 г., образование сирийской конфедерации и великого Ливана 20 июня 1921 г. с мандатом Франции.

Вся книга проникнута некоторыми обобщающими идеями, которые проходят через все произведение, как своеобразные лейтмотивы. Одной из них является положение об историческом единстве Сирии (вместе с Палестиной); нарушение этого единства влекло, по мнению Лямменса, расстройство в нормальном развитии, и, наоборот, получение самостоятельности Сирией содействовало проявлению всех заложенных в ней возможностей. Свою теорию Лямменс старается подтвердить доказательством, как

территориального единства страны, ограниченной морем, горами и пустыней, так и единством этнического состава, проявление которого он видит в ассимиляции чуждых элементов. Если эта основная идея его работы требует все же дальнейших обоснований, несмотря на соблазнительную внешность, то еще более шатка вторая — об исключительно благодетельных результатах «франкского» влияния на арабском востоке. Относительно эпохи крестовых походов Лямменс, быть может, даже несколько односторонне подбирает доказательства, пользуясь одними сообщениями путешественника Ибн Джубейра, но оставляя в стороне другие сообщения его же или почти современного ему Усамы ибн Мункыза.

Таким образом, при чтении книги надо помнить не только про то, что она написана выдающимся ученым, но и про то, чем она была вызвана и какие цели преследовала. По инициативе генерала Гуро в Сирии в 1920 — 1921 году предполагалось устроить краткосрочные курсы для офицеров-администраторов. На этих курсах Лямменсу было предложено прочесть ряд систематических лекций по истории ислама, Сирии и французского проникновения на восток. Малое количество отведенных лекций заставило объединить изложение в одну схему. Курсы не состоялись, но подготовленный для лекций материал дал Лямменсу возможность выпустить настоящую книгу. При тройной предстоявшей ему задаче делается понятной известная непоследовательность плана, которая была отмечена. Определенная французская ориентация сказалась в том, что роль французского воздействия на Сирию представлена в слишком ярком свете сравнительно с общим масштабом европейского влияния. Совершенно затушевана роль Италии, в сущности подготовившей дорогу для Франции к 60-х годов. В книге общего характера нельзя было бы не оттенить значения для Сирии непосредственной связи со средневековыми итальянскими торговыми республиками, деятельности итальянских францискан, влияния различных коллегий в Риме и т. д. Не мог автор отрешиться и от известных политических пристрастий при оценке событий последней войны и восстановления Сирии. Военная деятельность английского генерала Алленби систематически затеняется для выдвигания на первый план роли французского отряда под начальством капитана Пизани; личность эмира Файсаля (нынешнего короля Месопотамии) обрисовывается с плохо скрываемым недоброжелательством, иногда прямой насмешкой и т. д. Темперамент автора здесь оказывается сильнее объективности ученого, но едва ли в современной истории можно найти книгу очевидца рассказываемых событий, которая не выдавала бы тех или иных симпатий писавшего ее лица. Имеющему в виду это обстоятельство не трудно будет учесть абсолютное достоинство книги; несомненно, что с указанной оговоркой новую работу Лямменса можно признать лучшим в настоящее время общим очерком истории Сирии от седой древности до 1922 года.

И. Кр.

● *P. J. André.* L'islam et les races. Tome premier. Les origines, le tronc et la greffe. Paris (Paul Geuthner) 1922. 8° XXVI + 270.

Франция всегда была богата так называемой «колониальной» литературой по мусульманскому востоку. Главными ее поставщиками и потребителями являлись обыкновенно деятели в находящихся под протекторатом Франции областях: офицера, администраторы, дипломаты. Из многих вырабатывались впоследствии солидные ученые, и немало представителей Collège de France или Школы Живых Восточных Языков прошло в молодости этот стаж. Преимущественно их трудам обязана своим богатством литература по Алжиру или Марокко; в тех случаях, когда они касались известных им областей или сообщали личные наблюдения, наука от этого только выигрывала. К сожалению, нигде так, как в той же колониальной литературе, не развито стремление к широким обобщениям по истории ислама, к новым теориям, захватывающим не только хорошо знакомые автору области, но и требующим большой предварительной работы и полного знакомства со всей научной литературой не только на французском языке. Обыкновенно научное значение таких работ, в противоположность личным наблюдениям автора, совершенно ничтожно.

Эта колониальная литература особенно разрослась за последнее десятилетие, и ярким образчиком ее отрицательных сторон может служить настоящая книга, хотя автор обладает большими положительными данными для другого рода работ. Из несколько рекламного предисловия Henri Froidevaux мы узнаем, что в 1909 — 1910 году он работал в алжирской Сахаре и на границах с Марокко, в 1911 — 1912 г. у африканских и аравийских берегов Индийского океана от Маската до Занзибара и страны Наталь, в 1913 — 1915 г. в Марокко, где изучал область Таза и, наконец, в 1919—20 г. в Киликии во время ее оккупации французами. Ему принадлежат несколько работ географического, этнографического и политического характера, которые, по отзывам специалистов, принесли пользу для знакомства с соответствующими областями.

Данная книга должна, судя по предисловию, представлять руководство преимущественно для колониальных деятелей по вопросам, связанным с мусульманским миром в его настоящем (стр. IX—X). Однако, построение задумано автором едва ли удачно: он предполагает осветить историю мусульманских сект, как отражение различных

рас, вошедших в ислам. Развитию этой темы должен быть посвящен второй, пока не вышедший том. Не говоря о шаткости самой расовой теории, неудачное применение которой к исламу вызвало оставленное теперь мнение о шиитстве, как отражении иранского народного духа, едва ли автор достаточно подготовлен к трактовке таких сложных и неразработанных вопросов. Настоящий том посвящен общей истории ислама и мусульманского мира от Мухаммеда до современной Турции и восточного вопроса, но некоторый интерес представляют только изредка встречающиеся параллели из хорошо знакомой автору кочевой африканской жизни или данные о последних политических событиях в Турции, свидетелем которых он был. Историческая часть обличает недостаточное знакомство с европейской научной литературой; автор без разбора пользуется очень разнообразными пособиями самого различного научного достоинства. Особенно опасно для руководства плохое знакомство с фактами и частые элементарные ошибки. Корану приписывается (стр. 21) упоминание матери пророка Амины, хотя о ней нигде нет речи; известный дядя его Абу Талиб назван (стр. 22) Абу Бекром; абиссинские христиане считаются (стр. 27) несторианами вместо монофизитов; город Басра упоминается при Мухаммеде (стр. 35); угрозы огнем и адом в Коране связаны с влиянием мединских евреев (стр. 47), хотя они появляются, главным образом, в мекканских сурах; мусульманскому праву приписывается (стр. 50) фантастическое требование, чтобы еврей для принятия ислама обратился раньше в христианство; сунна поясняется (стр. 78) как Коран и хадисы и т. д. Автор, повидимому, плохо владеет арабским языком; об этом говорит очень искаженная в зависимости от его пособий передача терминов и имен: географ аль-Якуби переделан (стр. 135) в Ибн Якуба, династия хамданидов смешана (стр. 161) с хаммадитами, и даже основатель омейядской династии систематически называется Маовия (стр. 107, 108, 109 и др.). При невозможности пользоваться непосредственно источниками, сомнительно, чтобы второй, более ответственный том, где автор собирается развить новую теорию, оказался сколько-нибудь полезным руководством для неподготовленных читателей. *И. Кр.*

● *Jouveau-Dubreuil.* L'Inde et les Romains. Paris, 1921. Стр. 7 in 8°.

Интересная брошюра Жуво-Дюбрёля принадлежит тому новейшему течению в индийской историографии, которое стремится показать, как неправильно было наше старое представление об обособленности Индии с древнейших времен. Чем больше мы изучаем историю Индии, тем больше мы видим доказательств тому, как многообразны и обширны были сношения Индии с Западом, Севером, Востоком и Югом. Разбираемая брошюра касается одной из сторон этих сношений, сношений Индии с Римом.

Древнейшие сношения у Рима были с югом, — мы постоянно находим большие клады римских монет, золотых и серебряных, на юге Индии, чем оправдывается негодующее замечание Плиния, что Индия выкачивает из Рима все золото. Эти сношения были торговые: Рим поставлял западные предметы роскоши, одежду, стекло, некоторые металлы, кораллы, мази, духи и т. п.; Индия посылала жемчуг, драгоценные камни, перец, слоновую кость, ткани, в особенности эти тончайшие, прозрачные ткани, почти ничего не весившие, секрет изготовления которых принадлежал Индии и которые так ценились римскими женщинами. В южно-индийской литературе в очень старые времена говорится и о западных кораблях, и о западных войнах, и о товарах Запада. Римская монета одно время была несомненно единственной ходившей в стране монетою. Расцвет сношений, если судить по монетам, относится к I веку н. эры. С конца этого столетия возобновляются сухопутные сношения Севера Индии с Западом, которые были так обширны до появления парфян в Персии. Здесь главной передатчицею становится Сирия, сношения с южной Индиею постепенно падают. Усиливается опять греческое влияние, влияние греко-римского мира. Недалеко уже то время, когда сношения Индии с Западом выяснятся для нас вполне, и мы тогда несомненно убедимся, что и Индия дала много Западу и много получила от него.

Интересно, живо и компетентно написанная брошюра Жуво-Дюбрёля прекрасно дополняет известную книгу: E. Goblet d'Alviella. Ce que l'Inde doit à la Grèce. Paris 1887. Для тех, кто заинтересуются вопросом об отношениях Индии к Греции и Риму, мы рекомендуем книги M'Crindle; Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. L. 1877, Invasion of India by Alexander the Great 2 изд. Westminster 1896; Ancient India as described in Classical Literature. Westminster 1907; соответствующие главы в Cambridge History of India vol I. Ancient India. Cambridge 1922. и G. Rawlinson. Intercourse between India and the western world. Cambridge 1916. *Сергей Ольденбург*

● *A. Foucher.* Lettre d'Ajanta. Journ. As. Avril-Juin 1921 стр. 201 — 245.

Под этим скромным и мало говорящим читателю названием скрывается прекрасная работа о знаменитых пещерах Аджанты, фрески которых являются одним из замечательнейших памятников древней индийской живописи.

Впервые эти знаменитые фрески были осмотрены и изучены на месте высококомпетентным специалистом по буддийскому искусству, притом столь исключительно

компетентным как А. Фушэ [1]). Читая эту превосходную работу, специалист переживает те же тяжелые ощущения, какие переживал автор, когда на каждом шагу убеждался, сколько драгоценнейших памятников этой столь мало известной древнеиндийской живописи погибло в Аджанте, благодаря неумению во время сохранить и предохранить от порчи фрески.

Приходится с горечью признать, что как в Восточном Туркестане европейские археологические экспедиции были в общем весьма неудовлетворительно оборудованы, так и в Индии дело сохранения памятников до-последнего времени оставляет во многом желать лучшего. Эта критика не упрек, а только констатирование факта, объяснение которому очень просто: хорошее техническое оборудование стоит очень дорого, а ни одно государство в мире не научилось еще достаточному уважению к тому, что является делом рук или таланта человека, ибо все эти произведения «искусства», как в сущности их и произносят «в кавычках», не представляют той материальной выгоды, которая является решающей при расходах со стороны государства, пока по крайней мере.

Сейчас благодаря просвещенной энергии сэра Джона Маршалля, стоящего во главе археологического дела в Индии и издавшего недавно небольшое, весьма ценное руководство по охране памятников, уже кое что делается. Повторяю, не вина выдающихся предшественников Маршаля — Кеннимгэма Бёрджесса и Флита, если им не была предоставлена возможность должным образом охранять памятники древности в Индии.

В Аджанте надо спасать, что еще возможно спасти, и прежде всего описать все, по примеру Фушэ, который приступил к рассмотрению сцен из жизни Будды и предшествовавших этой последней жизни перерождений (джатаки). Отсылая читателя к его интересным и поучительным описаниям, мы не можем не указать на два, чрезвычайно важных, сделанных Фушэ замечания.

Напрасно искать во фресках Аджанты, как это были часто склонны делать до сих пор многие, изображения исторических сцен. Таким образом нам приходится, несомненно, расстаться с легендою об изображении персидского посольства к индийскому царю, с высадкою Виджая на Цейлоне, не приходится более искать в Аджанте портретов Хосроя и прекрасной Ширин. Мы имеем дело с буддийской иконографиею и легендою, и только.

Другое очень любопытное замечание: Фушэ касается художественного приема мастеров Аджанты группировать вместе сцены по месту действия, а не только по времени, по хронологической последовательности. Замечание это особенно ценно тем, что несомненно позволит нам теперь истолковать правильнее многие буддийские художественные композиции.

Если бы выходило больше работ в области буддийского искусства, подобных только что рассмотренной работе Фушэ, то мы могли бы скоро сказать, что знаем буддийское искусство. Но, как известно, хорошие работы редки. *Сергей Ольденбург*

[1]) Превосходно снятые фотографии фресок Аджанты принадлежат нашему известному соотечественнику В. Голубеву.

● В новом издании «Bulletin de l'Université de Tiilis» (т. II, стр. 178—196) помещен некролог известного историка искусства *акад. Я. И. Смирнова* (ум. 23 октября 1918 г.). Некролог принадлежит ученику покойного д-ру Г. Чубинашвили (Чубинову) и дает обстоятельную характеристику его научной и преподавательской деятельности, а также работы в Эрмитаже, где Я. И. Смирнов заведывал средневековым отделением. *И. Кр.*

● Aegyptishe Sonnenlieder. Uebersetzt und eingeleitet von *Alexander Scharff*. Mit 8 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. (Kunst und Altertum. Alte Kulturen im Lichte neuer Forschung. Band 4), SS. 108. Verlag Karl Curtius Berlin — 1922.

Последние довоенные годы были ознаменованы рядом крупных изданий, старавшихся познакомить как круг ученых специалистов, так и широкие слои населения с наиболее выдающимися памятниками классического востока, изданными либо точно текстуально, либо в переводах на европейские языки. Целый ряд многотомных серий на западе, «Культурно-исторические памятники древнего востока» и хрестоматия «Древний Мир» под общей ред. проф. Б. А. Тураева дают нам возможность ближе познакомиться с литературой древнего востока. Мировая война внесла некоторый перерыв в эту широкую научно-издательскую деятельность, и только теперь понемногу в связи с общим оживлением научной деятельности начинают постепенно выходить интересующие нас издания древневосточных памятников, и среди них мы с удовлетворением отмечаем выход в свет интересной, живой и богатой материалом книжки Шарффа под заглавием «Солнечные песни Египта».

Ее задачей является дать наиболее полный, яркий и в то же время строго сжатый подбор древне-египетских солнечных гимнов, песен, молитв и словословий в немецком переводе, подбор, который мог бы удовлетворить и даже заинтересовать новизной и свежестью своего материала строгого специалиста и который в то же время был бы понятен и для неподготовленного читателя. Нас приятно радует полнота, цельность и систематичность этого подбора, особенный интерес которого для нас заключается в том, что его главной целью

является показать эволюцию в египетской религии с древнейших времен тех религиозных взглядов, которые в своем конечном результате привели к Амарнской реформе, и, с другой стороны, переживание того же круга идей в после-Эхнатоновской египетской религии. Таким образом основным стержнем работы Шарффа является развитие солнечного единобожия в древнем Египте.

Книге предпослано автором обстоятельное введение, переводы обильно снабжены примечаниями, наконец в ряде иллюстраций читателю даны также и некоторые наглядные представления о египетской культуре.

Обратимся сперва к разбору вступительной статьи автора. Избравши, очевидно, своей специальностью древне-египетскую религию, автор несомненно является крупным специалистом в данной области, обладая большими знаниями, которые он и обнаруживает в настоящем очерке. Однако нас сразу же неприятно поражают его основные методологические взгляды, которые он открыто высказывает в начале своей статьи. Говоря о происхождении солнечного культа в Египте, он особенно подчеркивает естественные, физико-географические моменты в вопросе о возникновении египетского культа божественного солнца; Ра, Гор, Атум, Амон — в их яркой и красочной мифологичности, в их конкретной и стихийной космичности, в их многогранной разноликости являются для Шарффа лишь бледным и скудным представлением о естественном и зримом солнце, ведущем постоянную борьбу с божеством тьмы Апофисом, чей своеобразный мифологический облик Шарфф легко и быстро отождествляет с простой грозовой тучей. Сведение всего богатства мысли и фантазии египетской солнечной религии к одной лишь ежедневной борьбе солнца с мраком (стр. 22) приходится считать большим упрощением интереснейшего вопроса древне-египетской культурной истории.

Некоторой неясностью и неполнотой страдает также и та характеристика, которую дает автор циклу верований, относящихся к Гору, одной из центральных фигур древне-египетского Пантеона. Остается совершенно непонятным, почему Шарфф отождествляет одного лишь Гора Эдфуского с божественным Соколом, нигде не указывая на то, что Гор Царский, государственный и клановый, также имел своей эмблемой и своим символом то же самое сакральное изображение особенно почитаемого в Египте сокола. Далее, говоря о синкретизме солнечных и теогонических мифов уже в древнейшие времена, автор приводит в доказательство своего положения целый ряд выдержек из памятников, которые однако не могут вполне удовлетворить, ибо они все относятся к довольно позднему времени, а именно к времени 18-й династии, являлись связанными с циклами Амона и Гатор. Гораздо интереснее были бы аналогичные места из древнейшей религиозной литературы Египта, из текстов пирамид и саркофагов или из гимнов цикла гелиопольского божества единого солнца Ра.

Недурно иллюстрируют текст вступительной статьи те рисунки, которые тут же приведены автором. Жаль только, что им не указаны те источники, откуда им заимствованы соответствующие изображения, — так, например, остается неизвестным происхождение любопытного чертежа открытого и закрытого горизонта и небесных врат (стр. 7). Тут же следует отметить и недостаточное использование приведенного автором пиктографического материала. Не указана яркая и своеобразная раскраска рисунка, изображающего восход солнца и заимствованного, очевидно, автором из лондонского папируса Ани. Зелено-малахитовые, золотисто-желтые и ярко-красные цвета на этом рисунке несомненно символизируют переливы тонов и красок, наблюдаемые в момент солнечного восхода. Не отмечена и иероглифическая символика рисунка, заключающаяся в пяти выростающих друг из друга символах. Знак озирийской крепости — знак жизни — знак посмертного бытия и духовного двойника человека, — знак солнечного диска — и знак небесного свода — стройно соединенные, почти слитые между собой, образуют своеобразную картину духовного мира, воспринятого сознанием древне-египетского художника.

Наконец, так же неполно и так же упрощенно очерчен автором интереснейший цикл верований древних египтян в загробную жизнь и в посмертные судьбы души покойного. Картина загробного мира, страны западной — Аментет, лишь в нескольких словах, бегло и схематически нарисована Шарффом, при чем он совсем не использовал всего того богатого материала, который сохранился в заупокойной литературе древнего Египта, в Книге Мертвых, в Книге Ам-Дуат и в Книге Врат и который дает нам возможность довольно точно восстановить топографию загробного мира, по верованиям древних египтян. Все эти своеобразные моменты древне-египетского миросозерцания изображены Шарффом с присущим ему натурализмом; так, например, шакалы, влекущие солнечную ладью в подземном мире, являются для него лишь специфическим способом передвижения, а не олицетворением звероподобного бога Анубиса, покровителя мумифицированного покойника и отчасти путеводителя душ в загробном мире. Также и самый термин «выхождение днем» — можно толковать не только в смысле постоянного стремления души покойного к дневному солнечному свету, но и как достижение высшей способности плотского и духовного превращения и преображения, венцом которого является

полное воскресение человека из тьмы смерти к солнечному свету жизни. Нельзя богатый своей символикой загробный мир древних египтян сводить к простым и элементарным формам земного бытия.

Вторая часть книги Шарффа заключает в себе перевод 26 солнечных гимнов, из которых 17 было известно раньше, а 9 опубликовано впервые. Больший интерес, конечно, представляют переводы второй группы памятников, впервые издаваемых Шарффом и находящихся в Берлинском Музее. Все они исполнены Шарффом очень точно, с большим старанием передать по возможности близко древне-египетский подлинник. В этом их большое научное значение и их крупный для нас интерес.

В. Авдиев

● *Der Neue Orient.* Monatsschrift für das politische, wirtschaftliche und geistige Leben im gesamten Osten. 7 Jahrg. 1923. Heft 1—4. Berlin.

Берлинский «Новый Восток» вступил в седьмой год своего существования и, перейдя к более удобному формату небольших книжек, окончательно упрочил состав содержания и постоянных сотрудников. Среди редакторов мы видим Е. Миттвоха, нынешнего директора берлинского Семинария восточных языков; в числе постоянных сотрудников названы такие почтенные имена, как исламовед Беккер, семитолог Литтман, историк искусства Херцфельд, хотя в находящихся перед нами четырех книжках помещена статья только одного из них. Центр тяжести журнала лежит, повидимому, в политико-экономической области; ей в каждом номере посвящается четыре-пять статей с интересным и живым материалом. Своевременно отметить, что серьезное внимание привлекает и советская политика на востоке, обсуждаемая в достойных тонах иногда с легко-понятными недоразумениями, но без специфического зложелательства. Неоднократно дебатируется вопрос о тибетской экспедиции П. К. Козлова, который превращен (стр. 59) в генерала. «Духовная жизнь» в статьях представлена слабее: в четырех книжках ей отведены только две работы—Литтмана (перевод одной палестинской сказки) и Биссинга (Колонна в искусстве переднего востока). Отдел мелких заметок и рецензий составлен несколько богаче и разнообразнее: в нем уделяется место и отзывам о чисто научных работах. Помимо отдельных рецензий даются иногда общие обзоры по странам. Из статьи о новой литературе по Индии узнаем (стр. 38) о переводе на немецкий язык сочинения «лучшего знатока буддийской философии» акад. Щербатского. В мелких заметках иногда чувствуется слишком большое доверие к источникам: трудно говорить (стр. 40) об «открытии» в Азиатском Музее Российской Академии Наук проезжим персом неизвестных рукописей, раз существует их печатное описание и посвященные им работы русского ученого.

В основной части — политико-экономической—журнал информирован, повидимому, хорошо, хотя и основывается преимущественно на изданной в Европе литературе. Доступность цены позволяет рекомендовать его всем интересующимся современным востоком с указанных точек зрения.

И. Кр.

● *A. Siddiqi, M. A.,* Dr. phil. Studien über die persischen Fremdwörter im klassischen Arabisch. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1919. 118 стр.

Исследование словарных заимствований одного языка из другого весьма важно в культурно-историческом и чисто лингвистическом отношении. В культурно-историческом — такой анализ вскрывает часто неизвестные и подтверждает засвидетельствованные другими документами иногда весьма интимные стороны взаимоотношений двух народов. В лингвистическом — обогащает научную грамматику обоих языков, освещая и помогая устанавливать фонетические законы, утверждая вехи исторической грамматики. И исследование заимствованных слов из персидского в арабском обещает в этом отношении быть особенно плодотворным. Культурное влияние Персии на Аравию было довольно сильно и проникало туда различными путями, сухопутным и морским, непосредственно и через сирийский язык; начинаясь в до-мусульманское время, оно продолжается вплоть до нынешних дней. С момента завоевания Персии арабами начинается обратный переход арабских слов в персидский язык и становится все более интенсивным по мере усиления мусульманизации Персии. Вопрос о заимствованных словах волновал арабских ученых с самого раннего времени вплоть до нынешних дней (см. статью И. Крачковского в XIX томе «Записок Вост. Отдел. Арх. Общ.»). Этой же темой интересовались и ей посвящали свои труды и европейские ученые. Но не существовало до сих пор работ, специально освещающих и исчерпывающих лексические заимствования персидского в арабском. Такой труд может быть удовлетворительно выполнен только ученым с одинаковым интересом работающим в области арабской филологии и иранского языкознания, — условие, в настоящее время специализации, сосредоточения внимания на одном предмете, трудно выполнимое; лексическим заимствованиям из персидского языка были посвящены работы де Лагарда (в сирийском яз). и Хюбшмана (в армянском; последняя работа, бывшая для своего времени образцовой, ныне, с развитием соответственных дисциплин, нуждается в дополнении, если не в переработке).

Исследование Сиддики подготовляет почву для соответственного исчерпывающего труда о заимствованных из персидского яз. словах в арабском, указывая методологические пути. И в этом—его основная задача. Автор исследования, индус-мусульманин, еще на родине получил основательную подготовку в соответственных дисциплинах, в особенности в арабистике, которой он занимался у известного ученого Хоровица; последний и внушил ему мысль заняться этой темой. Приехав затем до возникновения мировой войны в Германию, он слушал лекции в Геттингене у Литтмана и известного ираниста Андреаса, следы влияния которого на молодого ученого сильно заметны в его работе. Как результат его занятий, была написана диссертация, позволяющая надеяться, что автору ее в будущем труде удастся удовлетворительно выполнить стоящую на очереди задачу — выделить из арабского словаря персидские заимствования. Но уже в этом исследовании приведено некоторое количество интересного материала в качестве примеров, долженствующих иллюстрировать тезисы.

Все заимствования делятся автором на четыре группы: 1) слова, перешедшие в арабский язык до завоевании Персии арабами (651 г.), 2) до падения династии Омаядов (750 г.), 3) до уничтожения династии Аббасидов монголами (1258 г.) и 4) от монгольского владычества до нынешних дней.

Удастся ли автору весьма трудная задача — установление времени после-сасанидских заимствований — покажет его будущая работа; засвидетельствование впервые тем или другим арабским автором какого-нибудь персидского слова не может еще служить достаточным доказательством, что данное слово не было заимствовано раньше; вполне надежным критерием здесь может быть только правильный анализ самих заимствований на основе персидской исторической фонетики; поэтому выделение самых ранних заимствований — до 651 г.— является задачей наиболее благодарной, так как для выполнения ее больше отправных пунктов в персидской грамматике. И с этой частью своего ценного научного предприятия, как показывает настоящее исследование, автор справляется вполне удовлетворительно. Источником для этого периода служат ему древнейшие памятники арабской поэзии. Основною частью диссертации является краткий критический обзор арабских филологов в отношении чуждых элементов и в результате его исследование изменений, которым подвергались персидские слова при их заимствовании в арабский. Примеры, приводимые автором в доказательство своих тезисов, в общем убедительны. Книжка читается с интересом и оставляет в читателе желание поскорее увидеть самый словарный материал, который покажет, как автор в частностях справится со своей задачей, применяя методы, в правильности которых он нас убедил настоящим предварительным исследованием.

А. Фрейман

● Die Welt des Islam von *Friedrich Delitzsch.* Berlin — Wien. Verlag Ullstein. 1915. 16°. pp. 189.

Известный ассириолог Фридрих Делич, панвавилонист (хорошо знакомый русской публике своей брошюрой «Babel und Bibel»), выпустил во время войны книжку, посвященную исламу. Уклоняясь от прямой специальности, Делич, конечно, не мог дать здесь ничего нового (наоборот, суждения его иногда односторонни, стр. 111, 127); сведения, сообщаемые им, стоят на уровне среднего образованного (немецкого) читателя и отражают настроения воинствующей Германии. Однако в книжке есть прелесть непосредственного знакомства и даже увлечения Востоком, которое приводит автора к несоразмерно высокой оценке нравственного значения ислама. Изложение непропорционально: часть религиозная (анализ Корана) занимает две трети книжки, обзор мусульманской науки и искусств — краток и неполон (большое внимание уделено модному в Европе персидскому поэту Омару Хайяму); чувствуется также отсутствие главы о современном исламе. Книжка украшена восемью фототипиями, воспроизводящими бытовую и религиозную стороны жизни восточных народов.

Вл. Гордлевский

● Die türkische Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts von *Dr Otto Hachtmann.* Leipzig C. Amelang. 1916. 8°. pp. 64.

Брошюра О. Хахтмана (составляющая дополнительный выпуск к IV тому серии «Die Literaturen des Ostens», где, между прочим, был помещен и очерк Н. Хорна. Geschichte der türkischen Moderne, 1902) — выгодно отличается от работы предшественника тем, что здесь делается попытка раскрыть основные моменты современного литературного развития в Турции. Изложение у Хахтмана разбито на три части: сперва он характеризует пассивно-сентиментальных писателей, так сказать «полутурок» — Иж. Шехаб-эд-дина, М. Реуфа (умер в 1918 году), Х. Джахида (возобновившего недавно издание газеты «Танин»), Ф. Али, находящихся под идейным французским воздействием; во второй группе: Я. Кадри (своеобразный талант которого интересен подходом психологическим), М. Акиф, Дж. Сахир, А. Джанаб — заключено сочетание элементов европейских и турецких, она стоит как бы на перепутьи к «ново-турацам» — к тому национальному движению, которое возвещает в Турции утреннюю зарю: А. Хикмет, Халидэ-Эдиб, «гениальная писательница»; Ака Гюндюз, М. Эмин, «сердце националистов», и

Зия Гёк Алп, «идеолог туранизма» (род. в 1875 г. в Диарбекре).

Таким образом, изучение османской литературы выходит в Германии из стадии простого описания, но это еще рассмотрение не эволюции литературной формы, а эволюции литературных идей, литература все еще — служанка общественных воззрений. Распределение писателей на группы, первую и вторую, все-таки условно и сомнительно; так, Фаик Али, по форме, — типичный представитель школы старой, персидской; но со стороны содержания, насколько он выявляется в последних произведениях («Песни родины», 1915), видно, что сердце его горячо бьется за родину. Когда в октябре 1914 года Турция вовлечена была в войну, он разразился в газете «Танин» стихотворением, обличавшим в нем османца панисламиста: султан Селим I для него — идеал османского государя. Есть в книжке и пропуски (так, напр., бледно освещена роль органа националистов «Тюрк Юрду»).

Построение очерка и изящество выражения (автор предлагает и собственные стихотворные пробы) заставляют с нетерпением ожидать, чтобы поскорее осуществилось намерение его дать полное обозрение новой османской литературы, начиная с Ибрагима Шинаси.

Вл. Гордлевский

● Новый востоковедный журнал. Дороговизна издательского дела заставила группу норвежских, датских и голландских востоковедов основать совместно орган, который бы обслуживал востоковедные общества трех вышеуказанных стран. В результате перед нами новый журнал: *Acta Orientalia* ediderunt Societates Orientales Batava, Danica, Norvegica curantibus F. Buhl, Havniae, C. Snouck Hurgronje, Lugd. Bat., Sten Konow, Christianiae, Ph. S. van Ronkel, Lugd. Bat. Redigenda curavit Sten Konow. Vol I, Pars I. Apud E. J. Brill, Lugduni Batavorum 1922. В журнале, как явствует из написанного по-латыни обращения к читателям, будут печататься статьи, по преимуществу, востоковедов датских, голландских и норвежских; но не исключаются и другие. Статьи должны писаться на английском, французском и немецком яз. Редактором журнала является Стен Конов. В первом номере помещены статьи: W. Caland, Ueber das Vâdhulasutra; Sten Konow, Some problems raised by the Khâravela inscriptions; Arthur Christensen, Les sots dans la tradition populaire des Persans, F. Buhl Alteste keilinschriftliche Erwähnungen der Stadt Jerusalem und ihrer Göttin?

А. Фрейман

● В издательстве Walter de Gruyter & Co (Vereinigung wissenschaftlicher Verleger) в Берлине вышло второе издание *Нельдеке* Das iranische Nationalepos (первое издание входило, как часть, в иранскую энциклопедию «Grundriss der iranischen Philologie»). Содержание и распределение материала в книге в общем то же самое, что и в первом издании. Значительно дополнены и изменены только отделы о языке и метрике Шахнаме и об отношении Шахнаме к сохранившимся в арабской литературе выдержкам из средне-персидской «книги царей».

А. Ф.

● Собрание сочинений *Снука-Хюргронье.* Германским издательством Курта Шрёдера выпускается в свет собрание отдельных работ крупнейшего западно-европейского исламоведа лейденского профессора Х. Снук-Хюргронье. Это собрание отвечает давно чувствовавшейся научной потребности, так как большинство его произведений разбросано по различным журналам, сборникам и сериям. В издание не войдут крупные произведения, выходившие несколькими томами или большими книгами: работы о Мекке, Атье, Гайоланде, лекции по истории ислама, читанные в Америке. Все издание расчитано на шесть томов, с хронологическим порядком внутри каждого тома. Первый посвящен исламу и его истории, второй — мусульманскому праву, третий — Аравии и Турции, четвертый — исламу в нидерландской Индии, пятый — лингвистическим и литературным работам, шестой — рецензиям, некрологам и смеси. К последнему тому будут приложены различные указатели (в том числе к невошедшим в собрание работам о Мекке и Атье) и полная библиография. Всего войдет около 180 произведений за время с 1880 г. по 1923 г. Работы будут напечатаны на том языке, на котором были впервые опубликованы; при наличии авторизированных переводов (на французский, немецкий или английский языки) ими будет заменяться голландский оригинал.

За научное достоинство издания ручается имя редактора-профессора в Лейдене А. Венсинка.

И. Кр.

ХРОНИКА

ИЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ [1])

(Заметки)

I

КУЛЬТУРА.

● Поэт *Мехмед Акиф*, редактор богословско-литературного журнала «Себильур-Решад», автор сборников «Сафахат» («Фазы»), заключающих стихотворения на религиозные темы, написал недавно стихотворение «Независимость», которое звучит горячей верой в красное, османское, знамя; лейтмотив пьесы определяется стихами: «Свобода — право моего знамени, жившего свободно, независимость — право моей нации, преклоняющейся перед правом!» Председатель Общества восточной музыки *Али Рифат* переложил это стихотворение на музыку, но «Марш независимости», с европейской точки зрения, однотонен и как со стороны ритма, так и со стороны мелодии бледен.

● На столбцах газеты «Ачик Сез» (издающейся в гор. Кастамуни) учитель истории местного лицея *Исмаил Хакки* поместил серию статей (до 30) под заглавием «Кастамунийские знаменитости»; здесь он набрасывает биографические контуры лиц, родившихся или действовавших в Кастамуни, — поэтов, дервишей, каллиграфов, правителей города и т. д. Со стороны архитектоники построение архаично, статьи заключают, однако, цепный материал; автор, видимо, начитан в литературе и нередко ссылается на «диваны» и сочинения, находящиеся в константинопольских книгохранилищах.

● В газете «Трапзон» («Трапезунт») *Хаммами-заде Ихсан*, местный житель, живо интересующийся научными вопросами, напечатал старое описание города, составленное Мохаммед-ибн-Омар-ибн-Баязидом Аль-Ашиком.

● По инициативе городского головы М. Мухлиса в Конии была образована специальная комиссия из членов думы и местных преподавателей, которой поручено было составить путеводитель по городу. Это — первый опыт гида, и инициаторы полагают, что путеводитель послужит примером для других городов.

● На летнем семестре (1923 г.) «Свободного университета» в Ангоре читался ряд курсов, знакомивших с турецким культурным миром; так *Хамдулла Субхи* (председатель национально-политико-общественной организации «Турецкий очаг») читал историю искусств и промышленности у турок, *Риза Нури* (плодовитый писатель-социолог, турецкий депутат на Лозаннской конференции) — общую историю турок, *Рамазан-задэ* (потомок владетельных малоазиатских князей *Ниязи*) — историю западных турок и краеведение.

● Общество учителей и учительниц в Ангоре также живо пропагандирует интерес к туркологии. Так, *Сойсаллы-оглу Исмаил Субхи* читал лекцию о среднеазиатских турках, *Бесим Аталай* (депутат от Кутахьи) сделал доклад о малоазиатском турецком языке. Лектор начал с заявления, что малоазиатские турки явились в Малую Азию из Средней Азии — из «Великого Турана» — лет восемьсот тому назад. Как и в настоящее время, среднеазиатские турки делились, очевидно, на городских (уйгуров) и на кочевых («туркмены» — «огузы»); первые были культурнее вторых. Арабское завоевание уничтожило совершенно уйгурскую культуру (национальную литературу, ремесла и т. д.), как об этом с горечью заявляли известные арабские писатели

[1]) Отрывочность и недоговоренность моих заметок о Турции проистекает, частью, от скудости того газетного материала, который попадает в мое распоряжение. Оторванный давно от Турции, я должен пока отказаться от связного обзора, но, несомненно, со времени общеевропейской войны и в культурной жизни страны наблюдаются большие неожиданные перемены.

Ибн-Котейба (в IX в.) и Бируни (XI в.). Таким образом, явившиеся в Малую Азию турки оказались под арабо-персидским культурным воздействием, однако благодаря разобщенности географической они сохранили индивидуальные отличия отражающиеся в языке. На эти отличия языковые обращает внимание автор «Диван-и-ль Лугат-и-тюрк», *Махмуд Кашгарский* (XI в.) Важно поэтому знать, где какое племя в Малой Азии осело; так, в Адане, Мараше, Аинтабе — племена: «карсак». «савджылы», «ильбейли»; в Ичь-иле, Текэ, Ментеше — текинские туркмены («теке»); в Айдыне, Смирне, Пергаме, Кутахье — узбеки (автор считает слово «зейбек» искажением «узбек»); в северной Анатолии — «чинни», в средней Анатолии — «афшары», «каджары», «карекечили», «ак-кечили»; в восточной Анатолии — «ак-коюнлу», «хорзумлу». В общем, число диалектов малоазиатских доходит до 7; константинопольский и румелийский диалекты приближаются, как пытается утверждать Бесим Аталай, к кипчацкому и северному турецкому языку.

● Находящийся в Ангоре со времени восстания в Конии против кемалистов в 1920 г., *Велед-челеби*, глава дервишей мевлеви, закончил громадный этимологический «Турецкий словарь», который принят министерством народного просвещения к печати. Составитель во время работы старался использовать всю доступную ему литературу. Так, он давно уже познакомился с «Арабом-филологом» проф. П. М. Мелиоранского и сделал большие извлечения, восторгаясь, как я припоминаю, трудом русского турколога.

● *Мехмед Али Айни* поднимает вопрос об очищении языка и предлагает арабо-персидский лексический элемент заменять старыми турецкими словами; таким образом, будет подготовлено культурное объединение между турецкими народами.

● Автор, скрывающийся под инициалами «*Х. Н.*», составил букварь; исходя из непригодности арабского алфавита для османского языка, он указывает, что у турок есть свои национальные шрифты (уйгурский и орхонский) и, в пылу национального увлечения, предлагает ввести в Турции орхонский алфавит, как наиболее точно передающий звуки турецкого языка.

● В последнее время в Константинополе стали понимать важное значение архивного материала. По инициативе бывшего великого везира Тевфика-паши для описания Государственного Архива, хранящегося в библиотеке Высокой Порты, образована была Археографическая Комиссия. Председателю ее известному османскому филологу *Али Эмири* (издателю словаря Махмуда Кашгарского) удалось в короткий срок привести в порядок тысячи документов, написанных старинным почерком; среди них встречаются фирманы султанов XV — XVI вв. (Мехмеда II, Селима I Явуза, Сулеймана Великолепного), жалованные грамоты на землю («зияметы», «тимары»), вакуфные дефтери, грамоты православному греческому духовенству и др.

● Министерство народного просвещения в Ангоре предполагает издать иллюстрированный археологический путеводитель по Малой Азии.

● Директором музея при вакуфном управлении назначен директор художественно-промышленной школы *Сами-бей*; он известен как художник, но он также и большой специалист по музееведению.

● Словесный факультет Константинопольского университета ввел публичную защиту докторских диссертаций. Первый почин сделан был окончившим университет Али Нахадом, который избрал тему «Лейла и Меджнун в мусульманских литературах».

● В газетах сообщены были любопытные цифры о количестве поступивших в университет в 1922/3 акад. г. и о распределении их по факультетам. По аттестату принято: на медицинский факультет 7 мужчин, 1 женщина, на словесный — 3 м., 8 ж., на естественный — 12 м., 20 ж., на юридический — 76 м., 1 ж.; по экзамену: на медицинский — 28 м., на словесный — 2 м., на естественный — по 5 м. и ж., на юридический — 13 м., 1 ж.; не выдержало вступительного экзамена 93 м. и 2 ж.

● Константинопольские студентки обратились к ректору университета Бесиму Омеру-паше (профессор медицинского факультета) с петицией о введении какого-нибудь отличительного знака для слушателей университета; предполагается установить единообразие и в женском одеянии,—в «Чаршафах».

● Победы османцев над греками, в течение трех лет поправшими Анатолию, вызвали всюду среди населения большой патриотический подъем. Из Константинополя предпринимались экскурсии и поездки в воссоединенные малоазиатские города. Во время посещения учителями и учительницами Брусы их встретил там герой освободительной войны, председатель Великого Национального Собрания, *Мустафа Кемаль-паша*, и обратился к ним с речью, в которой говорил о великом значении зна-

ния, ибо в знании скрывается тайна победы над греками.

● Ангорское правительство, сохраняя внутреннюю свободу, упраздняет капитуляции—права и привилегии иностранцев и иностранных учреждений в Турции, и доказывает правоту этой точки зрения для суверенного государства. По поводу различных слухов об иностранных школах в Турции министр народного просвещения *Сафа-Бей* заявил сотруднику (официальной) газеты «Хакимийет-и Миллийэ» («Народоправство»), что школы иностранные будут подчинены местным, турецким законам, и в число обязательных предметов преподавания должны быть введены: османский язык, история и география Турции. Турции, естественно, принадлежит право контроля над иностранными учреждениями, но и для иностранцев, для детей, обучающихся в иностранных школах, также проистекает несомненная польза и выгода от знания страны, в которой они живут. — Ряд школ в Малой Азии уже закрыт за уклонение от правительственных распоряжений.

● Министерство народного просвещения в Ангоре разослало приказ о ведении торговыми обществами в Малой Азии торговой корреспонденции, бухгалтерских книг на османском языке.

● Всюду в Малой Азии открываются вечерние курсы и школа для ликвидации безграмотности, привлекающие большое число слушателей.

● Тунисский богач Салих Рашид-бей (у которого в Нормандии—большие земли) предложил ангорскому правительству, через французского представителя, полковника Мужена — дать за свой счет сорока мальчикам практическое агрономическое образование в течение трех лет.

● При министерстве народного просвещения несколько лет тому назад учреждена Комиссия по составлению и переводу научных сочинений. Собираясь еженедельно два раза, Комиссия успела рассмотреть свыше ста трудов, главным образом, это переводы с западно-европейских языков (Кант, Конт, педагогический словарь и др.), частью с восточных, с арабского (имамы Абу-Ханифа, VIII в. Шафии, IX в.,—основатели наиболее популярных в мусульманском мире правоверных толков), есть также и оригинальные труды. Одобренные Комиссией работы впоследствии печатаются, а авторам присуждаются премии (денежные).

● Усилиями *Али Эмири* в Константинополе при медресе Фейзийэ организована была «Национальная библиотека», где собрано до 20-ти тысяч книг, имеющих отношение к Турции; там хранится и единственная коллекция официальных календарей-справочников, столичных и провинциальных. Эту библиотеку владелец жертвует в Ангору, куда переезжает и сам, будучи назначен пожизненным ее директором.

● В Ангоре министерством народного просвещения открыта публичная библиотека, в которую должны поступать от издателей книги и периодические издания. Администрация библиотки надеется и на частные пожертвования; как припомнят, конечно, востоковеды, бывший в России года два тому назад И. Субхи собирал книги для библиотеки также в Москве и Петрограде. Несмотря, однако, на гражданские права, отвоеванные в Турции женщиной со времени общеевропейской войны, совместное нахождение в библиотеке мужчин и женщин, очевидно, недопустимо; для женщин библиотека открыта в специальные дни, когда мужчинам доступ воспрещен.

● Общественные библиотеки открываются и в глубине страны, — так, в Кастамуни (город на пути в Ангору, с моря) под председательством губернатора образован специальный комитет по сбору и приобретению книг для библиотеки; в Константинополь с этой целью командирован местный учитель Исмаил Хакки.

● Во время обсуждения в Великом Национальном Собрании сметы на печать возникли оживленные прения по вопросу о свободе прессы; большинство депутатов решительно осуждало стеснения печати, от которых страдают интересы народа, когда газета нередко закрывается за то, что осмеливается возвысить голос против произвола местных властей. Хамдулла Субхи (председатель национальной лиги «Турецкий Очаг»), отмечая крупные суммы, какие затрачивает Англия на пропаганду, указывал на скромные размеры ассигновок в Турции, а между тем печать — могучее средство для направления и освещения общественного мнения в стране, и путем субсудий, понижая расходы на издание, правительство способствует повышению тиража газеты. Естественно, что направление газет различно, но государство должно предоставлять возможность выражать свои мнения. Подходя с этой точки зрения к задачам управления печати, Х. Субхи одобрял ту линию поведения, которая взята нынешним директором печати Ахмедом Агаевым (давно уже эмигрировавшим из России в Турцию). Однако деятельность А. Агаева, видимо, вызывает среди депутатов разногласия. В защиту его выступил председатель совета министров Реуф, который заявил, что Агаев — человек в высшей степени ценный; он владеет европейскими и восточными языками, политическая борьба на Кавказе (в 1905—1906 г.) хорошо подготовила его к малоазиатской

современной обстановке, и в своей работе он неуклонно проводит национальную турецкую идею. А. Агаев наладил в Ангоре издательство, и благодаря ему стали выходить написанные простым, ясным языком журналы и газеты: «Себиль-ур-Решад («Правая стезя»), «Кеи Ходмасы», («Деревенский Наставник»), «Тербийэ» («Воспитание»), «Зараат» («Земледелие»), «Ватан» («Отчизна»), «Илим ве фенн ве фелсефе» («Знание, Наука и Философия»), «Кючюк Меджмуа» [1]) («Сборничек»),—органы, откуда статьи перепечатываются и в константинопольской, и в анатолийской прессе. Словом, А. Агаев стоит на страже османских интересов; недавно еще он опубликовал большую книгу (до 500 стран.), заключающую материал о греческом повстанческом движении на побережьи Черного моря («понтусчилык»).

● Во время оккупации греками «гяурской», как говорит народ, Смирны (интеллигенция ввела новый эпитет, «гюзель» — «прекрасная» Смирна), — некоторые газеты, вместе с потоками беженцев, перенесены были в глубину Малой Азии, — так, напр., «Анадолу» («Анатолия»), «Йени Измир» («Новая Смирна») издавались в Адалии (Конийского вилайета) и продолжали отстаивать свободу и независимость народа; но большинство все-таки осталось на своем посту — в Смирне, подвергаясь неоднократно, как выяснилось теперь, опасностям: «Ахенгь» («Эхо»), «Шарк» («Восток»), «Садайи Хакк» («Голос Правды»).

● Редактор-издатель старой газеты «Кейлю» («Крестьянин») в Смирне, Рафет, по занятии города освободительной армией (в 1922 г) был повешен, будучи обвинен в измене отечеству. Как сообщают газеты, Рафет цинично заявляя: «У меня есть только брюхо, и кто его наполнит, тот мне и господин», — вел антикемалистскую пропаганду и служил интересам врагов, внешних (греков) и внутренних (одно время газета выражала мнения черкеса-сепаратиста Эдхема, поднявшего в 1920 г. восстание).

● В Адане для защиты местных нужд образовано отделение Общества печати (центральное бюро которого находится в Ангоре). В состав его вошли представители газет: «Йени Адана» («Новая [т.-е. Освобожденная] Адана»), «Хайят» («Жизнь»), «Теджеддюд» («Возрождение»), журнала «Милли Мефкюре» («Национальный Идеал») — в Адане; «Догру Ўз» — в Мерсине, «Тарсос» — в Тарсосе.

● Театр в Турции зародился в эпоху султана Абдул-Азиза (1861—1876). Армянин Кюлли Агоп устроил в Константинопольском квартале «Гедик-паша» театр; при содействии османских и армянских писателей составился быстро репертуар; там ставились патриотические пьесы, мольеровские комедии (переделка большого театрала Вефика-паши, организовавшего театр в Брусе во время генерал-губернаторства), комическая опера «Леблебиджи Хорхор» (выдержала в Турции до четырехсот представлений) и др. В первые же годы царствования султана Абдул-Хамида (1876—1909) театр закрылся; Агоп был взят в султанский оркестр. Но остаткам труппы удалось все-таки сорганизовать «Османский театр», протянувший дни до конституции (1908 г.): репертуар, впрочем, изменился, — ставившиеся пьесы представляли исключительно переделки уголовно-бульварных романов. Восстановление конституции оживило театр. Решад Ридван основал кружок любителей-актеров, просуществовавший, однако, только два года; сюда вошли и старые артисты, из пьес большой фурор производила четко написанная старая пьеса Сами-бея «Беса или верность слову», из албанских нравов. В это время вернулся из Парижа профессиональный актер Бурхан-эд-дин, образовавший новую труппу, которая должна была поднять в публике театральные вкусы. При содействии Решад Ридвана армянин Бинлиян составил также труппу «Национальная османская оперетка». Так возникали все новые и новые товарищества и компании, но все это были пустые затеи. После Балканских войн (в 1913 г.) городской голова Джемиль-паша задумал основать в Константинополе консерваторию, вызвав специально из Парижа Антуана. В консерватории было сначала два отделения, театральное и музыкальное (во время войны закрывшееся). Консерватория, однако, не улучшила положения; актеры все так же соперничали друг с другом, репертуар был плохой, и в публике успехом не пользовались. Основанный в 1921 году «Турецкий театр» нанес сильный удар консерватории; он удачно отобрал старые пьесы, обновил репертуар (оперетка из местных нравов «Маджун хоккасы») «Чашечка с мажуном» [1]) и реформировал музыкальную часть (введением «саза»).

● Во время общеевропейской войны в Константинополе возникло (в 1915 г.) Общество османских художников под покровительством царственного художника, принца Абдул-Меджида. Общество устраивает уже четвертую выставку картин. В выставке приняли участие: Халиль-паша, Джемиль, Авни, Шевкет, Хикмет, Ибрагим Сами. Ф. Рухи, Нам. Исмаил и др.; выставлено было до 300 картин, здесь и на военные сюжеты «Штурм на р. Закарпя» — (Сами); Абдул-Меджид изображает музыкальный

[1]) Это — еженедельный журнал, выходивший в Диарбекре под редакцией Зии Гек Алпа.

[1]) Месиво, особое „возбудительное средство", продаваемое на улицах Константинополя.

интимный вечер в турецком доме; кроме того, выставлены были архитектурные проекты (Седада-бея), работы из перламутра (Васыфа-бея) и др. Наибольшее внимание привлекали картины (Чаллы) Ибрагима, свидетельствующие о хорошей технике (он учился в Париже). На чистый доход с выставки Общество приобрело картины, заслужившие в публике успех (для чего образовано было специальное жюри из художников, поэтов и др.), и пожертвовало их для будущего национального музея

● Мой старый учитель и друг в Конии *Хамди-задэ Абдул-Кадир* скорбит в газете «Бабалык» о том, что у мусульман упала теперь художественная промышленность, в частности, забыто ювелирное искусство, а между тем, некогда, в эпоху сельджукидов, оно процветало в Конии. На это встречаются указания в житии Джеляль-эд-дина Руми; из вакуфной (дарственной) записи эмира Алтун-па от 597 года хиджры (начала XIII в.) явствует, что знаменитый улема Юсуф Куневи (Конийский) и шейх Осман Увейси были и ювелирами, Сельджукидские малоазиатские султаны нередко посылали халифам аббасидским в Багдад мечи и кинжалы, искусно украшенные драгоценными камнями. В монастыре Джеляль-эд-дина Руми находится старая люстра, окна и двери, интересные с художественной стороны. Абдул-Кадир останавливает внимание на серебряной двери, сработанной по заказу Соколлу-задэ Хасана-паши в XVII в. диарбекрским мастером («уста»), Ахмедом.

● Перепуганный толками об исключении французского языка из программы анатолийских школ, видный писатель *Сулейман Назиф*, по форме (стилю) поклонник старой школы, по убеждениям — патриот, написал в газете «Йлери» («Вперед») горячую статью о французском языке и культуре; он доказывает, какое громадное значение имел французский язык для развития современной османской литературы, ибо через посредство французского языка в Турцию проникала западно-европейская культура. В Париже учился «отец современной литературы» И. Шинаси, духовным учеником и преемником его был Намык Кемаль, учитель М. Экрема (ум. в 1913 г.), поэта Абдул-Хакка Хамида-бея, Абу-з-Зии Тевфика (ум. в 1913 г.) и Сами-паша-задэ Сезаи. Абдул-Хакк Хамид-бей сознался однажды Сулейману Назифу, что мысль о драме «Тарик» зародилась у него в Париже под влиянием пьес В. Гюго. Не получивший систематического (школьного) образования, С. Назиф рассказывает, как трудно приходилось ему учить французский язык. Поэтому сына своего он, одновременно с османским, заставлял изучать и французский язык, и последний стал для него как бы вторым материнским языком. И вообще, уверяет С. Назиф, для всякого образованного османца французский язык должен быть родным. Во время всеобщей войны С. Назиф. выпустил (в (1916 году) национально окрашенный сборник «Батарья-иле атеш!» («Батарея, пли!»); там были помещены и два перевода из «Impressions de la guerre» — эпохи франко-прусской войны— Сюлли-Прюдома («Кровавые цветы», «Раскаяние»), где поэт отрекается от космополитизма. «Эти стихотворения, пишет автор, не понравились немцам, которые тогда засели прочно у нас на земле и в мозгу». Военное министерство купило две тысячи экземпляров сборника и послало на фронт по частям. После один офицер, бывший в Дарданеллах и читавший книгу под грохот неприятельских орудий, передавал С. Назифу о сильном впечатлении, произведенном С. Прюдомом, который внушил офицеру пламенную любовь к Франции. Для османца французский язык не менее важен, чем арабский или персидский, и устранение его из преподавания внесло бы непоправимое зло, открыв пропасть между Турцией и Западной Европой. «А я хочу,—заявляет С. Назаф,—чтобы османцы среди мусульманских народов были самым просвещенным и сильным народом».

● В небольшом городе на Черном море, Керасунте, под редакцией А. Нури-Ахмеда уже четвертый год издается двухнедельный журнал «Ышык» («Огонек»). Небольшой по размерам (всего восемь страниц в нумере), журнал заключает разнообразный литературный материал в прозе и стихах, критику, общественно-исторические статьи (напр., о греческом восстании 1821 года). В одном из нумеров (56-м) дан перевод двух стихотворений в прозе Тургенева: «Воробей» и «Нищий». Перевод, очевидно, сделан с французского, но в первом стихотворении почему-то опущен последний стих о силе любви. Переводу Зия-эддин Джемиль предпослал предисловыце, где Тургеневу приписываются «Детские воспоминания», рисующие «невыразимые мучения детской души».

● В константинопольском журнале Йени Меджмуа («Новый Сборник») печатаются «Записки из Мертвого Дома» Достоевского.

II

ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ

● В газетах кратко описан был последний «селямлик» — публичная пятничная молитва, на которой присутствовал ех-султан Мехмед VI Вахид-эд-дин,

одетый в генеральскую форму. Когда имам произносил в мечети Илдыз обычную молитву за «повелителя правоверных, халифа (заместителя) посланника господа миров»— имя султана халифа не было упомянуто. Султан Мехмед VI вскоре бежал из Константинополя и, после короткого пребывания на острове Мальте, направился по приглашению Корол Хусейна — в Мекку.

● На место отрешенного султана Великое Национальное Собрание в Ангоре избрало халифом Абдул-Меджида (сына султана Абдул-Азиза (род. в 1867 году), сохраняя право старшего в роде Османской династии. Халиф-османец утратил, таким образом, права светского правителя, султана, исконно присущие туркам и определявшие политический рост Османского государства. Светская, султанская власть официально перешла и узаконена за Великим Национальным Собранием или за народом, осуществляющим «народоправство» («хакимийет-и миллийе»). Великое Национальное Собрание присвоило себе также и право религиозной мусульманской общины (мусульманского мира) и халифом—духовным владыкой, избрало человека, которому, согласно старинному османскому закону о престолонаследии (начала XVII в.), принадлежит светская султанская власть. Упразднив то, что имело под собой историческую почву, Великое Национальное Собрание как бы сохранило фикцию о преемственности от Аббасидов халифской власти в Османском роде.

● Политико-общественные перемены, связанные с отделением светской власти, усиленно дебатируются в печати. Газеты развивают мысль о том, что Вахид-эддин—«незаконный халиф». В течение веков османские султаны были халифами, и они заслужили это, потому что подняли западных турок на значительную политическую и культурную высоту, но впоследствии они изменились. Теперь народ восстал и захватил власть в свои руки. Бывший султан (Мехмед VI) предал нацию иностранцам; таким образом, он освободил народ от обязательств, какие были у него по отношению к династии.

● Поэт *Абдул-Хакк Хамид-бей* (проживавший в Вене) назначен первым секретарем халифа.

● Перемена халифа видимо ставит в мусульманском мире на очередь вопрос о духовной реформе. С одной стороны, в Индии раздаются голоса, что халиф должен ведать исключительно духовные дела; политика светская, все мирское должно быть с него снято. С другой стороны, жизненные интересы Турции требуют, чтобы халифом оставался Османид, чтобы центром попрежнему была Турция. И вот, предупреждая недовольство, государственные османские люди проектируют образовать в Ангоре совет из известных представителей духовных ученых мусульманских стран (Индии, Афганистана, Египта), который будет подготовлять реформы и направлять духовно-религиозную жизнь мусульман.

● При министерстве духовных дел («шариатном») существует по образцу Комиссии по составлению и переводу научных книг, также специальная Комиссия из известного богослова Исмаила Хакки, Ферид-бея и Абд-ул-Чавиша-Эфенди, в задачи которой входит рассмотрение религиозных сочинений и согласование их с современными научными воззрениями.

● Ученый духовный Комитет по исследованию и изучению мусульманских памятников постановил собирать все духовно-религиозные статьи, появляющиеся в повременной печати (газетах и журналах).

● Великое Национальное Собрание, признавая большую потребность и нужду в образованных духовных лицах, реформирует духовные школы («Медресэ») в соответствии с требованиями времени. Студентам медресэ предоставляются льготы по отбыванию воинской повинности.

● Малая Азия постепенно превращается в оплот и убежище для мусульманских ученых, которые все более и более чувствуют неприязнь к Европе. Так, из Сирии в Адану прибыл эмир и улема из Феца, шейх сейид Мохаммед Аль-Китани. Когда он со свитой ехал в шлюпке с парохода в Мерсинский порт, он распевал духовные стихи. Находится в Малой Азии и сенуссийский шейх, сейид Ахмед Эш-шериф. Он отзывается с большой похвалой о патриотизме османцев, вставших на защиту родины от посягательств иностранцев. По мнению шейха, европейская политика, клонившаяся к уничтожению Турции, наоборот, вызвала во всем мусульманском мире сильный подъем.

● Египетский ученый *Ахмед Шакир* утверждает, что независимость Египта, дарованная англичанами, отнюдь не означает вхождение Египта в орбиту интересов империалистической европейской державы; наоборот, как мусульманское государство, Египет, естественно, тяготеет к мусульманским странам, и прежде всего к главе мусульманской семьи,—к Турции.

● В газете (официальной) «Хакимийет-и-Миллийе» напечатано было окружное послание главы ордена бекташи Вели-эд-дина челеби. Подчеркивая, что толки о приверженности бекташи к шиитству — сплошная клевета, порожденная желанием злоумышленников, которые сеют рознь между мусульманами, — он горячо призывает братию помогать всячески освободительному движению. Он вспоми-

нает легендарную роль Хаджи Бекташа, благословившего, будто бы, османское войско — янычар. Во время всеобщей войны, покойный брат его Джемаль-эд-Дин [1]) (член Великого Национального Собрания) образовал из бекташи специальный отряд. Словом, бекташи постоянно шли навстречу государственным нуждам, и правительство ценило бекташи. Во время посещения Вели-эд-дином Вел. Нац. Собрания в Ангоре ему были оказаны большие почести. Конечно, послание Вели-эд-дина есть акт политический, обусловленный вступлением его в члены Вел. Нац. Собр., а по существу, орден, или секта бекташи больше связана с верованиями шиитов, а не суннитов.

● **Глава малоазиатской православной церкви**, отколовшейся от Константинопольского патриарха, митрополит Эфтим-Эфенди (Евфимий), пребывающий в Кескине (Кыршехирского уезда Ангорского вилайета), давно уже неустанно разъясняет в посланиях обо всех ухищрениях Фанара, который через послушное ему духовенство в течение ста лет (со времени образования Греческого Королевства) проводит в малоазиатских школах «великую греческую идею», заставляя детей изучать греческий язык, в ущерб родному — османскому. А между тем язык турецкий есть главная сила турецкого племени; где бы и когда бы турки ни сталкивались с чужими культурами (буддийской, христианской, мусульманской), они с пылом воспринимали новую религию, но сохраняли нерушимо родной язык. В этом была и есть основная национальная доблесть. Так и теперь, несмотря ни на что, малоазиатские «православные турки» остались верны своим братьям, — туркам-мусульманам, и Великое Национальное Собрание должно пойти им навстречу и освободить их от вредного влияния константинопольского греческого духовенства. Оно должно разрушить басню о преследованиях христиан в Турции и уничтожить ту опеку над христианами, которую издавна взяла на себя Европа. — Послания митрополита Эфтима печатаются в официальной газете «Хакимийет-и Миллийе».

● **В Кайсара** (Каппадокийской Цезарее) **закончилась** VII сессия съезда «православных османцев» (греков), вынесшая решения, о которых духовенство оповещено окружным посланием митрополита Эфтима-эфенди (Евфимий). Молитвы должны читаться исключительно на «материнском языке» — османском, по-османски же должна вестись вся официальная переписка. Для паствы в Кайсара издается газета «Анадолу ортодокс-седасы» («Голос анатолийских православных христиан»).

Вл. Гордлевский

[1]) О нем см. у меня в статье „Из религиозных исканий в Малой Азии": „Русская Мысль" 1916, № 11, стран. 88.

НОВАЯ РЕСПУБЛИКА

После падения Сибирского правительства буряты оказались разъединенными на 2 части, соответствовавшие прежнему делению на иркутских и забайкальских, с тою однако разницею, что граница была передвинута к востоку, к реке Селенге. Обе эти части получили права автономных областей, из которых одна относилась к Сибири, а другая к Дальне-Восточной республике. Национальное единство поддерживалось только в культурно-просветительной области путем создания в г. Иркутске Бурят-Монгольского национального комитета по культурным делам. Упразднение ДВР поставило на очередь вопрос и об административно-территориальном объединении всего бурятского народа, и с 1 августа 1923 г. оно стало совершившимся фактом: возникла, на основании постановлений ВЦИК, Бурят-Монгольская автономная социалистическая советская республика, во главе которой стал временно, до созыва 1-го съезда советов новой республики, революционный комитет, и таким образом, на ряду с существовавшими до сих пор Сибревкомом и Дальревкомом, образовался равноправный им Бурревком. В состав республики подлежат включению все земли, где русский элемент не превышает 43%. Из городских поселений вошли Верхнеудинск, который будет административным центром республики, Троицкосавск со слободой Кяхтой и Селенгинск. Председатель и большинство членов Бурревкома первого состава — буряты; в число членов вошел бурят ориенталист Б. Б. Барадийн, б. лектор Петроградского университета; его усилиями была создана единственная у бурят школа II ступени в с. Аге; теперь он будет стоять во главе Наркомпроса бурятской республики. В число ближайших задач Наркомпроса входит создание национальной типографии для более широкого развития издательской деятельности и учреждение педагогического техникума.

Ко дню возникновения объединенной республики вышло описание одной из прежних ее частей: «Бурят-Монгольская Автономная область Д. В. (Краткий обзор области в хозяйственном, административном и др. отношениях к 1 июля 1923 г.), Чита, Госуд. типогр., 1923 г. 120 стр., 8. Изд. бур. револ. комитета». Этот обзор основан главным образом на данных исследований 1916 и 1917 гг., но по многим сторонам бурятской жизни отчетные данныя доходят до последних дней. Это сборник весьма полезных сведений о состоянии забайкальских бурят за новейшее время, и можно лишь пожалеть, что переживания бурятского народа за революционный период изложены недостаточно полно и очень односторонне.

Вл. К.

НЕКРОЛОГИ

Кемаль-паша задэ Саид-бей

Скупо и случайно проникают вести из Турции. Уже в 1921 году скончался писатель и журналист «Ластикли» (Гутаперчевый) Саид-бей (Кемаль-паша задэ). В свое время я дал в «Очерках по новой османской литературе» (М. 1912, стр. 102 — 103) краткую характеристику Саида-бея. Прибавлю, что это был хорошо образованный человек. Он преподавал основы права в юридическом лицее, и его курс очень ценился в Турции; он написал также книгу, заключающую обзор обычаев народов земного шара. Особенно заметный след Саидом-беем оставлен в журналистике. Кроме газеты «Ватан» («Отечество»), он был главным руководителем и других периодических изданий — газет «Вакт» («Время»), «Таракки» («Прогресс»). По складу ума, Саид-бей был сатирик; в подражание «Персидским письмам» Монтескье он одно время еженедельно печатал фельетонами переписку между двумя персами, высмеивая восточные порядки. Кончил он плохо, сосланный, как известно, за народническое стихотворение в Йемен. С восстановлением конституции (в 1908 году) он вернулся в Константинополь, но разрушенное здоровье уже не позволяло ему принимать участие в литературной жизни страны. Это был ветеран османской журналистики, начавший писать еще в 70-х годах прошлого столетия.

Вл. Гордлевский

Решад Фуад-бей

Недавно (в 1921 году) скончался Решад Фуад-бей, долгое время занимавший место секретаря турецкого посольства в Париже. Он получил образование во Франции и, естественно, большой поклонник всего французского, — основал в Константинополе, для объединения, Общество учившихся во французских школах. Он также очень любил старину. Вместе с женой Бомпара, бывшего французским послом до войны, он явился учредителем Общества любителей Константинополя. У него были определенные археологические интересы, и после его смерти осталась большая археологическая коллекция, которая, кажется, пошла с молотка.

Вл. Гордлевский

Редакционная коллегия: проф. В. М. Алексеев, проф. Б. Я. Владимирцов, акад. И. Ю. Крачковский, акад. С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов.

Редакция и контора: Ленинград, Моховая, 36.

СОДЕРЖАНИЕ

стран.

Отрывки из Авесты. Перев. с языка Авесты *Е. Бертельса* 3

Повесть о Гэндзи, блистательном принце. Роман. Перев. с японского *Н. Конрада* 12

Из книги Edinna Usagga. Обрядовые песни. Перев. с вавилонского *В. Шилейко* 21

Орел и змея. Из поэмы об Этане. Перев. с вавилонского *В. Шилейко* 24

О том как Юй Бо-я, лютню разбив, простился с „понявшим звук". Новелла. Перев. с китайского *Б. А. Васильева* 28

Из области ведийской поэзии. Гимны. Перев. с санскритского *Б. А. Ларина* . 46

Шанфара. — Песнь пустыни. Перев. с арабского *И. Крачковского* 58

Дандин. — Приключения десяти принцев. Роман (Продолжение). Перев. с санскритского *Ф. Щербатского* 65

И. Крачковский. — Арабская поэзия 97

М. Шагинян. — Армянские сказки 113

В. Бартольд. — Мусульманский министр-философ 126

Иосиф Орбели. — Сасанидское искусство 139

Сергей Ольденбург. — Странствование сказки 157

В. Авдиев. — Раскопки в Фивах 161

И. Крачковский. — Шейх Абу Наддара 165

Востоковедение: Сообщения *Вл. Гордлевского, В. Крачковской, А. Фреймана, П. Воробьева, И. Кр.* и др. 169

Библиография: *Н. Конрада, Вл. Котвича, В. Авдиева, И. Кр., А. Самойловича, В. Алексеева, Сергея Ольденбурга, А. Фреймана, В. Гордлевского* . . . 174

Хроника: Из жизни современной Турции. Заметки *Вл. Гордлевского.* Новая республика. *Вл. К.* 204

Некрологи: Кемаль-паша-заде Саид-бей. Решад Фуад-бей. *Вл. Гордлевского* 211